Былинка в поле

Григорий Иванович
Коновалов

SHOUT
SHARE
IT

- Коновалов Григорий Иванович

Коновалов Григорий Иванович Былинка в поле

Григорий Иванович Коновалов
БЫЛИНКА В ПОЛЕ
РОМАН

Имя Григория Коновалова широко известно читателям. Его романы "Истоки", удостоенные Государственной шэемии, "Университет", "Степной маяк" не раз переиздавались в нашей стране и за рубежом.

Г. Коновалов изображает характеры сильные, самобытные, пристально изучает перемены в человеческих отношениях, вызванные процессом преобразования страны.

В книгу вошли роман "Былинка в поле", повесть "Вчера" и новая повесть "Как женились Чекмаревы", рассказывающая о героизме и мужестве земляков-волгарей в годы Великой Отечественной войны.

Часть первая

1

Грех гнал Власа Чубарова вместе с самыми отпетыми и неприкаянными на Хиву. Умершие от шанцы у высосанных до каплп бурдюков солдаты вешками промереживали гибельную тропу в сыпучих песках. Хивы с чайханами и глазастыми девками в штанах ц с деньгой в косах не достиг Влас, зато свою Хлебовку увидел он вечером под Новый год.

Давно забрали его вместе с конем для окараулпвання крестьянского живота от белого, а ежели понадобится, то и от красного огня одновременно. Свою борозду норовили резать в стороне от белых и красных, да что-то не получалось.

В Сыртовском межгорье захлестнули сотню конных лавины, разметали саблями; одно крыло завихрили дут овцы, другое втянул в себя эскадрон Ильи Цевнева. Но нп те, ни другие не откололи Власа от Уганова. Сузилось с того дня поле угановской крестьянской правоты до размера овчпнки, с нее-то и оступился Влас незаметно для себя...

Отбиваясь вполсилы, сотни уходили от красных через прикаспийские степи. Уральские казаки-староверы велела свопм семьям вернуться; если гибнуть всем до малого, так уж у родного куреня. Глядишь, посекут лишь вершинки, а корни уцелеют. Не раз косила уральцев смерть руками царей и цариц, митрополитов и чиновников. После Пугачева пораскидали кулугуров по Зауралью, по бухарской стороне. Пороли плетьми с потягом,

потом связывали спина к спине, а на утро отдирали. Угадай тут, твоя ли кожа ноет на твоей сппне, или товарища клочья остались.

...У овражного закрайка отвердел песчаный бархан, затравел живущими кореньями, и там, на дне, сонно ворочались, обламывая ледок, солоноватые ключи пз-под закамепелнпы. Перед смертью дозволили командиру Волчьей сотни смочить меловые губы из того родничка, вывели за верблюжью кочку бархана.

Уганов в окружении своих близких сидел на поджаром текинском жеребце, сосал щипавший под языком нас, веселыми до жути шуточками отводил командиру налитые смертной тоской глаза, а Влас в это время и рубанул клинком наотмашку по красному напряженному затылку - привел в исполнение вынесенный ночью приговор.

Мусульманский полубасмаческий отряд Бекназарова заметался в тесном кольце конников, норовя вырваться.

Уганов привстал на коротких стременах, по-верблюжьему выплюнул табачную зелень на снежок. Сузив желтые кипчакские глаза, оскалив зубы, он бросил трескуче, будто орех раскусил:

- Руби предателей!

Окружили отбившихся в песчаной котловине, секли пулеметным огнем, рубили саблями. Поскольку на многих были ватные шапки вроде башлыков, надежно защищавшие затылки и шеи, рубили их сподннзу, по зубам... Когда в мерцании клинков оборвался последний крик и посеченные, как бы прислушиваясь к тишине, припали тяжело к пескам - только пальцы одного все еще ощупывали кустик жухлой травинки, - Уганов снова натрусил из двугорлой медной протабашшщы на ладонь паса, кинул было под язык, но промахнулся, озеленил тугую коричневую скулу.

Бекназарова и трех телохранителей его Уганов взял живыми, суля им сохранить жизнь, отпустить на все четыре стороны - вот только нужно подписать кое-какпе бумаги.

На окраине аула их разоружили, заперли в подвале купеческого дома. Пока заседал наверху наспех созданный ревтрибунал, Уганов велел Власу подслушать, не договариваются ли азиаты убить недругов в дороге.

- Да разве нам попутно с басмачами, Митрии Иннокентьевич?

- Помалкивай, Власушка, может, и придется бежать вместе с ними в Афганистан. Смотря как примут нас красные.

В подвале тюрки распахнули халаты, сняли с бритых голов и потрясли белые папахи из каракуля-переростка, - посыпался песок родных пустынь.

Тюрки спросили своего главаря, долго ли будут держать их тут, вернут ли им коней? Бекназаров молчал. Непроницаемо

спокойным было сухое, с печальными и строгими глазами лицо его. Он первым, сняв с чресел платок, расстелил на кирпичном полу, сел и начал творить намаз. Помолившись, они затянули песню, и воинственную, и печальную, которую исламисты поют лишь раз в жизни, когда они окружены, нет выхода и надо умирать.

В песпе они называли себя посланцами ангела смерти Азраила. В ауле родном за зеленым холмом воин оставил своп дом с молодою женой.

Прочь мысль о ней,
Солдат ничей,
Посланник грозного аллаха.
Не знать ни жалости, ни страха
Таков удел солдата и вождя.

Не столько слова, сколько заунывный напев песни смертников растревожил Власа, и он с жалостью и тоской вслушивался в их голоса, высокие и напряженные:

Завтра солнце взойдет,
Сотворим мы намаз.
И обрушится враг
Черной тучей на нас...

Загремел снаружи замок, Бекназаров побледнел, по глаза его загорелись жарче. Он провел ладонями сверху вниз по бороде, зажмурившись, сказал своим спокойно:

- Если меня поведут на расстрел, я вам крикну. - И устремил взгляд на открывавшуюся дверь.

Уганов оглядел всех щурко:

- Бекназаров, айда за мной.

Бекназаров сделал порывистое движение, но тут же, нахмурясь, медленно поднялся, запахнул халат, повязал платком высокий и тонкий стан, надвинул на брови папаху и, поклонившись товарищам, легко ступая на носки, пошел к дверям. У порога он остановился, еще раз оглянулся, напрягая мускулы могучей шеи.

Бекназаров долго не давал связать руки, а его нарочно разжигали в борьбе, и, когда грудь заходила мехами, а сердце билось так, что плотно облегавшая, взмокшая от пота рубашка не скрывала мелкую дрожь грудных мышц.

Уганов сунул ему в рот тряпку. Бекназаров упал. Наорав носом полную грудь воздуха, он надулся изо всех сил и замычал. Из ноздрей хлынула кровь, глаза вылезли пз орбит.

Этот тревожный нечеловеческий мык услыхали в подвале его товарищи. Подперли дверь "ломом. Старик снял с керосиновой лампы стеклянный пузырь, разбил аккуратно и каждому дал по

осколку. Тюрки начали молиться и резать себе лицо и грудь. Они все больше возбуждались, ьсе глубже наносили раны, и молитва их звучала громче ц ожесточеннее.

Всю ночь они молились, истязая себя. Залитые кровью, измученные лица их напугали даже Уганова, пробившегося через баррикады в подвал с двумя стрелками и Власом.

- Что вы хотите доказать своим шахсей-вахсеем? Разжалобить? А вы думали о жалости, когда убивали красных аскеров? Лучше отдайте себя в руки справедливого суда, - быстро и зло говорил он.

Старик сказал, что они на все вопросы будут отвечать, если им дадут возможность повидаться с аксакалом. А без этого они не пойдут отсюда, и пусть их убивают тут. И они взяли по кирпичу в каждую руку.

- Аксакал ждет вас наверху. Идите по одному, - сказал Уганов со сдержанной улыбкой.

Во дворе у глинобитного дувана им заломплп руки, связали, посадили на двугорбых верблюдов.

Уганов повел сотню на запад, громя мелкие отряды белых, казня офицеров, забирая с собой рядовых. Но, переправляясь вброд на европейский берег Урала, сотня попала под огонь неприятеля - едва спасся каждый четвертый.

...Кормились маханом, лузгой. Жестокий сыпняк косил наповал. Хлестанула песчаная со снегом буря, в сухой камыш загнала косяк чьих-то лошадей и стадо сайгаков.

Угановцы рыли ямы, вшивыми кошмами заслонялись от стужи. В клочья рвало дым, пахнувший паленой шерстью.

Медленно разгоралась в холодной желтизне заря. Влас откинул войлок, зябко стуча зубами. Уганова нашел на арбе с поломанным колесом - дрог под белым войлочным потником, перекатывая голову по седлу, искусанными в кровь губами просил пить. Беззаботным ягненком свернулась рядом с бритой головой курчавая в седом инее папаха.

Влас наскреб с наклесок снегу, положил в полуоткрытый рот Уганова. Опамятовался тот, сел. По-детски потер глаза кулаками, слез с арбы, качнувшись. Еще с вечера припасенные кони ждали в камышах. Только смутно было на душе Власа оттого, что вдвоем с командиром спасались, оставляя измаянных хворью товарищей.

Весь день, где наметом, где иноходью, текли к Чпжинскому болоту, лишь на час остановились покормить коней.

Не принимала душа Уганова поджаренную конину - мутпла вконец ослабевшего тошнота. Воспаленные, с желтым блеском в сузившихся прорезях глаза смыкались.

По воротнику шинели ползали вши. Влас уравнял коней,

поддерживая в седле Угапова, квело валившегося навзничь. Он был тонок и легок, как отрок, его командир и учитель. А когда пришел в себя, вытащил из-за голенища широких сапог документы: извещение родным о смерти красноармейца Власа Чубарова, подписанное еще летом.

Подавая Власу удостоверение личности красноармейца Василия Калганова, сказал:

- Давно заготовил. Много их тогда, помнишь, на Чагапе порубили. Будь Калгановым, а я - Халыловьш буду.

Пока поживем под чужими именами, а там видно будет.

Помирать раньше времени грех.

С утра выслеживали их конные - сторожко мелькали из-за холмов островерхие лисьи шапки.

- Митрнй Иннокентьевич, недобрые крадутся за нами. Я буду отстреливаться или затягивать переговоры с ними, а вы скачите ложбиной...

- Нет, Власушка, умирать будем вместе. В тебе моя вера и надежда.

- Служил я вам всей душой, и вы должны исполнить мой наказ: вырывайтесь на волю. Дозволит бог повидать моих родных, поклонитесь пм от меня. - Влас уже не слышал своего голоса из-за шума в налитой жаром голове.

Положил он смышленого коня, залег за ним с винтовкой. Оглянувшись в последний раз, увидел, как прочертила голубую стынь серая папаха Уганова, как вызменлся над пей кинутый погоней аркан. Но-резвый текинец вынес Уганова на простор, стремительно растягивая расстояние между ним и джигитами...

Влас выламывал пальцами льдинки из ямки, сосал воспаленным ртом. Все силы выдыхая в рывке, сел на каурого, припал к холке. Посвистывание пуль слышал в бреду смутно. Опамятовался, а голову поднять не смог - кровью спекся чуб с гривой коня. Лаяли собаки, ржали лошади. Старик казах с редкой седой бородой обрезал ножом слипшийся с гривой коня чуб Власа...

Б себя пришел Влас только весной. Меж высоких Сыртовских гор, облитых по склонам розовым цветом бобовника, затопленных у разножья волнами черных тюльпанов, дымил кизяк у войлочной кибитки, на низинке паслись овцы. Молодая казашка в черном кафтане долго разглядывала Власа:

- Ай-вай, плохой джигит шибко.

Выбрала пз отары барана-годовика.

- Караша? Секнм башка!

Маленькими руками взяла барашка за рога, запрокинула голову и, улыбнувшись, полоснула длинным ножом по горлу.

Освежевала быстро. Гусёк бросила собаке, грудинку - в котел, мясо с лопаток распластала лентами, нанизала на шпагат, развесила вокруг кибитки.

- Ашай, давай знаком. - Подала Власу грудинку с жирным наваром.

Ел он одни, она сидела неподалеку, изредка поглядывая на него. Потом посмотрела на тучу на закате, покачала головой.

- Ночуй в кибитке, знаком человек. Ехать тебе плохо сейчас.

Влас пошел собирать котяхп по склону. "Бегать мне надоело. Наймусь к ней в работники. А выдаст, так пусть уж к одному концу", - думал он, высыпая котяхп у кибитки.

- Живи, бабай, ешь много, сила будет. Сила нада.

Пока он кипятил чаи, она играла на дутаре, глухо звенели струны из оболони с бараньих кишок. Только и понял из ее песни: пусть лицо мое будет копытом твоего коня...

Я ресницами выну занозу из твоей ноги... Я тонка, как шелковая нитка.

Велела она ему спать в кибитке у входа. Сама, маленькая, свернулась на своей постели в глубине кибитки.

Стороной шумел дождь, тут же лишь редкие капли мягко и примпренно падали на крышу. Ночью коснулась его щеки холодным браслетом, отпрянула, откинув войлок, глядела на гаснувшие в тучах звезды.

Он сел, высунул голову наружу. Смутно виднелись пасшиеся в западне кони. Шелестели травы по ребристому окоему балки.

- Спи, я посторожу скотину. - Влас слегка плечом оттеснил ее от просвета.

"Буду кочевать, пока не сузится круг, а если подопрет - ни вздохнуть ни охнуть, пспью чашу до дна", - думал Влас. Подполз на локтях к постели хозяйки, уткнулся лицом ей под мышку, заплакал. Поначалу даже не разобрал, что была она нагая. Приподняла его голову, подсунула свое лицо под его лицо.

- Жить долго хорошо! Бедовать плоха! Бог и любовь один, вера разная.

Проснулся утром, а она уже сидела перед ним в новом бешмете, отяготив косы серебряными монетами, держала в одной руке -кумнаг с водой, в другой - чистую утирку.

Маково цвели смуглые скулы, текуче блестела горячая медь глаз.

Как-то под вечер наехали конные табунщики бая Джамурчина, увели Власа на аркане из конского волоса. Даже за холмом он, едва поспевая за спорой иноходью коней, все еще слышал замирающую голосьбу молодой казашки...

Откочевал бай к границе Китая, продал Власа синьцзянцу.

Новые хозяева возили на нем воду из озера, на ночь сажали в глубокую яму, примыкали цепью к дубовому бревну... Выкупил его белый миссионер-католик.

...Грех и жажда искупления кружными путями привели Власа в родную землю после долгих скитаний. Когда благостная, щемящая сердце новогодняя ночь залила лунным половодьем дома Хлебовки, седые стога деревьев, он по насту добрался до скотного двора отчего дома, в потемках обнял теплую голову лошади и, подгибая колени заплакал.

2

Вечером накануне Нового года в просторной горнице Чубаровых девки собрались гадать. Верховодила ими поворотливая киргизоватая жена Власа Фиена, сноха Чубаровых.

- Ох, господи, ни черта не кумекаете, девоньки. Бестолочь гольная. Сказано вам: бескрестатые пойдем.

Фиена подсеменила к божнице, где перед образами теплилась, попахивая деревянным маслом, лампада на темных цепях, приколенилась на застланный соломой пол.

- Миколай Угодник, прости темных дур. Не терпится знать наперед свою судьбину. - Прижала к груди ладони и, устремив на бородатый лик заискивающий взгляд узких, с припухшими веками глаз, призналась с покорным вздохом: - Ведь бабы мы...

Тени цепей качнувшейся лампады поползли по белой скатерти стола, по золотистой соломе на полу. Передоверив угоднику тяжесть грехов своих, Фиена легко вскочила, стряхивая травинки с подола шерстяной юбки,

- Снимайте кресты, девки.

Перешептываясь, девки робко расстегивали кофты, клали на ладонь Фиены кресты. Она сняла со своей смуглой шеи латунный самодельный крест на медной согревшейся цепочке, завязала в платочек вместе с крестами девок, прижала к щеке.

- Отходил мой Власушка резвыми ноженьками по земле... Паука в горшке завязывала, паутину не раскинул... Издо-о-ох! - Фиена завыла жалобно, как волчоноксосунок.

С улицы постучалась в проталину окна досиня зазябшая рука, и стуженый бас требовательно вопросил:

- Выдают аль сватают?

- Выдают! - закричали девки.

Тогда в проталинке ласточкой затрепыхалась тонкопалая девичья кисть, и несмело взмолился ломкий голос вызревающей невесты:

- Неужели не сватают?

Фиена склонилась к окну:

- И сватают, миленькая! Не замела вьюга дорожки.

не застудила сердце!

Фиена нагловато оглядела девок узкими, с желтыми огоньками глазами:

- Не приведи бог пристигнет кого из вас жить под одной крышей с моей свекровью - с потрохами слопает.

Деверя-то Автонома Кузьмича женить собираются. На базар за кладкой поехал сам Автоном. Отец-то Кузьма Дапплыч б лапшой, одному Автоному и верит Василиса Федотовна.

- Строга Василиса-то Федотовна, строга...

- Сам окаянный не угодит. Только я, смиренная, уживаюсь. Пойду отпрошусь у нее, а то ведь как надуется, весь год в молчанку будет играть.

Фиена, виляя узкими бедрами, простучала каблуками, как коза копытцами, на кухню.

Под портретом Карла Маркса угнездился за столом свекор Кузьма, отодвинув от себя на длину вытянутых рук Библию в кожаном переплете, вглядывался в бородатого и гривастого святого Авраама, занесшего нож над опрокинутым навзничь обнаженным сыном. Ныло у Кузьмы сердце от этой жестокой Авраамовой верности богу...

- Батюшка, Кузьма Данилыч, отдыхали бы, - льстиво молвила Фиена, ластясь к свекру. - А то будете весь год читать да страшные картинки разглядывать.

- Норовлю, Фиена, угадать, какие муки приготовлены мне тама, - указал Кузьма большим пальцем в пол. - Нагрешил я - на фургон не покладешь.

На лавке пряла поярковую шерсть осанистая пышнотелая Васплиса, затенив платком глаза.

- Матушка, дозвольте навестить тятю? - едва слышно из-за жужжания прялки спросила Фиена.

Василиса повела на сноху отяжеленными невеселой мудростью глазами, плюнула на питку. Быстрее завертела ногой прялку, сливая стальные спицы в сплошной мерцающий диск. Не любила праздники: бездельники веселились, а у нее ералаш подымался в душе, работала с мрачноватым вызовом людскому легкомыслию. Фиена переглянулась со свекром, тот подморгнул ей: мол, не отставай.

- Тятя простудился, поясница отнялась... Скотина не поена.

"Твой тятя и в петровки мерзнет. Натрескается винища мерзлозубый балабон, а последняя телушка подыхай не емши. И ты такая же бездельница, прощелыга)) - с холодным презрением думала Василиса.

- Загородился святой книжкой, не видишь, телок помочиться норовит, окатила она Кузьму укоряющим взглядом.

Кузьма подставил под теленка щербатую махотку.

- Мамушка, схожу, что ли, к тяте? Или Власа нет, так и мудрить надо мной можно?

Свекровь выдернула из донца гребень и, упруго ступая полными ногами по скрипевшим половицам, прошла к печп, засучила рукава на красивых руках, принялась класть в печь кизяки, надрубая их косырем с одного удара.

Фиена махнула подолом, вскочила на нары за печь.

Слепнувшая мать Кузьмы бабушка Домнушка коротала свой затянувшийся век в темном запечье, на опгупь вязала снохе Василисе шаль козьего пуха. В глохнувших ушах нет-иет да и воскресал жалобный крик козы, когда по весне драли с нее пух, а Домна грела на солнышке заледеневшие колени. Забыла, какой весной сидела она на бревнышке, обливаемая солнцем, и сидела ли, а может, нежнейший козий пух с запахом пота и степного разнотравья навеял дивные сны?

Фиена приласкалась к бабке, жалуясь на Василису.

Домнушка судорожно вцепилась в плечи ее, ощупывая костлявыми пальцами лицо, поглаживая горячий атлас тугих щек и, припав губами к уху, запричитала тоненьким голоском девической чистоты:

- Погадай о муже, бог даст счастья. А еще постой под тем дубом на задах, послушай - не стучат ли топоры? Па перекрестке Ташлинской да Самарской дорог не сробей, припади ухом к земле накатанной: на тройках ли мчатся, поют ли молитвы? Иди с богом, касатка. А ты, Васена, отпущай сноху в младостный погул.

Фпена спрыгнула на пол, шлепнула ладонью по влажной морде теленка, ткнувшегося в ее колени, и стриганула в горницу.

- Гоголка! - с яростной певучестью послала ей вслед свое презрение Василиса.

Кузьма захлопнул Библию, как ставни перед градом, а бабушка Домнушка боязно, будто в грозу, перекрестилась за печью.

- Кто из вас коса, а кто камень - не пойму. Только Бласушка был трава беззащитная промеж вас, - сказал Кузьма.

- Молчал бы. Вовсе омладснился умом. Ты сосватал эту жужелицу. Аль забыл?

Помнил Кузьма: как-то под Новый год выпил со своим бывшим супротивником Карпухой Сугуровым, расходилсярасхвастался: "Не сумел ты, Карп, жениться на Василисе в дни молодости, так мой сын возьмет твою дочь Фиену". "Храбрый, пока бабы твоей нет рядом", - усмехнулся Сугуров, травя подавленное на веки вечные самолюбие Кузьмы. В душе Карпуха ничего так не желал, как бы поскорее выдать замуж

свою отчаюгу. "Ставь вино, запой сделаем!

Моя власть в семье берегов не знает!" - безудержно храбрел Кузьма. Домой вернулся в одной рубахе. Шубу из добротных овчин густошерстных романовских овец оставил в залог. Вместе с хмелем покинула его смелость. "Влас, сыпок родной, возьми Фиену, ради бога. А то вить шуба-то пропадет и честь моя развеется дымом". Покладистый Влас согласился - Фиена нравилась ему.

- С Власом промахнулся. А вот Автоному подыщу смирную нанпутевейшую девку, - сказал Кузьма.

- Ищи блох в своей овчине. Автонома сама женю.

Прости меня, о господи! Опять ввела во грех сношенька...

Я-то, старая, зачем окрысилась на ветреную, уронила себя? Уж пора бы знать людей...

Василиса надела шубейку, на голову - шаль. В сенях отодрала от полки припасенные днем два куска бараньей ляжки и, сунув под шаль, хоронясь, подошла к избенке бедной вдовы, постучалась в окно.

- Возьми, у сеней, - изменив до неузнаваемости голос, сказала встревоженной хозяйке.

Многодетного мужнина брата Егора встретила у его ворот, молча сунула в руки мясо и ушла без оглядки. Такмолча, не выдавая себя, помогала она людям то куском мяса к празднику, то мукой в самое трудное перед новым урожаем время. Вернувшись домой, велела Кузьме взглянуть на Пестравку.

- Должна вот-вот разрешиться.

3

Кузьма вышел во двор босиком, в посконных портках и длинной рубахе навыпуск, перехваченной по высокому поджарому стану сыромятным ремешком.

Новогодняя ночь так изукрасила все вокруг инеем да лунным светом, что Кузьма не узнавал своего просторного двора. Тень колодезного журавля выгибала длинную шею на заиндевелой стене дома. За постройками в степи сизовато-дымчато переливался снег, тревожа сердце, а по берегу гулко трещавшей льдом реки искристо стыли мохнатые деревья. Подошел ростом с теленка поседевший от мороза зверь, и Кузьма лишь тогда узнал матерого волкодава Наката, когда кобель потерся осыпающейся инеем шерстью о его ноги и стал черным со спины. Кузьма смахнул ладонью холодное серебро с его большелобой башки с янтарно блестящими глазами. Накат фыркнул и устремил взгляд за реку, куда глядел и Кузьма. Доносились с того берега ядреный скрип снега под полозьями сапей, бодрые голоса извозчиков. На перекрестке улиц раздвинул темное небо новогодний

соломенный костер.

Одобрительно улыбнулся Кузьма: сам когда-то парнем жег костры под Новый год, таскал не прибранные хозяевами сани да телеги на перекресток улиц пусть утром поищут... Кузьма вздохнул примирение и, поманив за собой Наката, пошел под сарай, скрипя босыми пятками по снегу, приговаривая под каждый шаг: "Сусек, мешок".

Если последний шаг у стены совпадет со словом "сусек", урожаем порадует лето, но Кузьма переступил косую тень сарая и уперся лбом в стену на слове "мешок". Поскучнев, он открыл скрипнувшие ворота и вошел в пригон. Шарахнулись овцы, хрустя бабками, тускло прожигая тьму фосфорическими глазами. Овцы пригляделись, обступили присевшего Кузьму, тычась в бороду влажными мордами.

Как только Кузьма увидел в латунном свете взволнованно перешептывающихся гадальщиц и узнал среди них Марьку Отчеву, он забыл о своей старости. С ласковой задумчивой улыбкой смотрел на девок, милых своим трепетным ожиданием завтрашнего дня.

Молодцом привиделся он себе, и не тут, под сараем, а в церкви: стоит, грея свечой руку, тревожно и радостно глядя на невесту. Отчужденно стынут синие глаза Василисы на гордо вскинутом красивом лице. Теплый запах воска струят свечп. Рослый батюшка с золотистыми по блестящей рпзе волосами водит их вокруг аналоя и так ликующе поет, будто женится сам. И свежие мужские и женские голоса на клиросе вольготно и весело расплескивают песню под высокими светло-желтыми сводами соснового божьего храма...

В первую после венца ночь Василиса легла поперек кровати, не пуская к себе Кузьму. Три ночи Кузьма коротал на ларе, лишь мимолетной забываясь дремой. Верный закону больше трех раз не кланяться и не прощать, он в четвертую ночь стащил непокорную с кровати, привязал длинными косами к ножке стола, кинул под бок овчину, чтобы не сковала простуда от земляного пола мазанки.

Уснул, не дождавшись ни слова виноватости, ни жалобы.

Детский ли писк защелкнутого капканом зайца, тягостное ли мычание телившейся в хлеву рядом с мазанкой коровы разбудили Кузьму, но только вскинулся он на заре в смутной тревоге. Зажег спичку, наклонился к Василисе.

Бедой круглились запухшие от слез глаза, замирала дрожь на спаянных чернотой губах.

- Васена, нам с тобой жить, Бог связал. Ну?

И еще долго после того, как сгорела спичка в его навсегда

полусогнутых работой пальцах, он сидел на корточках в напрасном ожидании слова молодой.

Окно мазанки промывал пасмурный рассвет.

- Отвяжи, шайтан страховидный, - наконец-то сказала она.

- Лучше молвишь, Васена.

- Голова затекла. Отвяжи, мучитель окаянный.

- По имени кликнешь, поперешная.

Зарыдала Василиса, прощаясь со своей волей:

- Батюшка, Кузьма Данилыч, сжалься, ослобонп.

- Бог простит. Мне не молиться на твою красоту, я тебе норов-то сломаю.

Вздрагивая, согревалась под одеялом рядом с широким и длинным Кузьмой тонкая семнадцатилетняя девчонка.

Горячие соленые слезы кропили его руку.

- Не губи меня, Кузьма Данилыч. Не люб ты мне.

- Пожалься своей матушке, что девкой тебя родила.

Мне-то зачем врезаешь в сердце боль-обиду на всю жизнь?

С тех пор Василиса замирала от страха и постылости, оставаясь наедине с этим огромным, будто вставший на дыбы конь, человеком. По ноздри и глаза зарос он дремучей бородой. Но особенно робела Василиса его рук, смолоду заволосатевших. Косили ли молодые или отдыхали в холодочке у снопов, он молчал, затенив бровями жар тяжелых серых глаз.

- Как бык: молча сделал свое - и на бок. Хоть бы слово сказал.

- Помалкивай уж! Принизила меня на всю жизнь, поставила тоску в соседки, и до могилки не развяжется мой язык... Хоть бы состариться поскорее. Вот что наделала твоя красота, не для меня припасенная.

И упрекнул Василису Карпухой Сугуровым, в запальчивой ревности перевирая слова:

- Гармонь на плече, шарбар на шее, мизюль в кармане. Польстилась на ветер в поле.

Василиса срезала его:

- Зато красив! А у вас с матерью что? Часы, весы да мясорубка.

Глупенькая мать Домнушка действительно хвастала таким несуразным манером.

Василиса завязала в шаль наряды, убежала за реку к родным. Отец, хотя и каялся слезно, что выдал дочь "таким зверьям", теперь, увидав ее с узлом, взбесился до немоты. Запряг лошадь в телегу, привязал Василису к оглобле и поехал к зятю.

Чубаровы молотили на гумне пшеницу. Кузьма увидел, как из-за молодого омета выкосматилась голова лошади под дугой, а рядом с лощадыо шла Василиса. На телеге отец ее Федот, взвивая

кнут, стегал раз по лошади.

другой - по дочери.

Не опуская взнесенного над головой дубового цепа, Кузьма тяжело перешагнул через канаву и тут встретился с побелевшими от боли и стыда глазами Василисы.

Клочьями свисала кофта с исполосованных плеч. Смутно, в красноватом сне, помнил - дубовым цепом снес старика с телеги, и тот уполз в кусты таволжанкп, К вечеру Федот умер на руках Василисы у омета.

- Ну, Васена, конец, руки на себя наложу, мне все одно пропадать, сказал Кузьма.

- Дурила ты лохматый, Кузьма Данилыч, - презрите льпо-ласковым голосом устыдила Василиса мужа, - тятя спьяну упал теменем на железную чекушку, так и не пришел в себя, царство ему небесное. Добра он желал нам с тобой. Забудь обиды, а я к тебе душой приживусь по своей бабьей доле.

Глянул Кузьма в ее холодно синевшие глаза, и внутренний голос пособил ему: "Нет уж, Василиса Федотовна, слаще мне цареву каторгу выжить, коли бог сохранит, чем с твоей-то петлей мягкой на шее до гробовой доски задыхаться, как подвешенному".

Признался сначала батюшке на исповеди, потом уж урядчпку, когда Василиса, родив Власа, взялась за силу.

- О душе своей только сохнешь, себялюб, а меня с дитем на вдовью беду обрекаешь. Ни жить, ни грешить пе сноровишь, губошлеп несуразный, сказала на прощание Василиса, сквозь слезы глядя на коленопреклоненного, метущего лохматой головой пыль Кузьму.

Босым, с Библией в черной тряпице, вернулся из азиатской каторги Кузьма Чубаров. На саманных развалинах густая лебеда встретила его зеленым шумом под вешним ветром. Соседи не сразу втолковали отвычному от вольной жизни, что восьмое лето, как Василиса покинула насиженное гнездо, ушла вверх по Самаре-реке, живет где-то в степях. Взяла с собой свекровь Домнушку и двух братьев Кузьмы - Егора да Ермолая. А может, даже не сама

бежала от черного прозвания "каторжане", а Егорий сманил - непоседа, кибитошный житель. Следом уехал и вдовец Карпуха Сугуров, видно, не без тайного умысла свить свою жизнь с Василисиной.

Кузьма потянул на восток.

Повстречал под вечер кибитку на колесах с полотняным верхом. Два стреноженных коня паслись по лугу, размежеванные сумерками, костер ластился к черному котлу, подвешенному к поднятой на дугу оглобле. Волкодав рванулся на цепи, давясь

хриплым лаем.

- Проходи, пока пса не спустил, - с непривычной угрозой в голосе сказал хозяин, рубя кнутом кочетки. - Нельзя к нам, у нас хворь прилипчивая.

И все же Кузьма крался за ним в отдалении, не теряя из виду белевшую среди высоких трав и перелесков кибитку, пока не дозволили ему подойти.

В кибитке ехали на вольные земли молодой, с русыми усами, Тамбовец Максим Отчев, поворотливый и на редкость приветлпвый, с женой и годовалой дочерью. Горевшая в жару черной оспы девочка едва сипела слабым голоском. Руки связали, чтобы не чесала зудевшего лица.

Лишь меж бровей да на щеке сколупнула по оспинке.

- Парень бы пусть чесался, его и рябого женишь.

А ведь девке нельзя. Терпи, Марька, - уговаривала мать смышленую кареглазую дочь.

Спутник Отчева Илья Цевнев, в городском пиджаке и шляпе, был молчалив не в тягость, темные глаза на бледном лице внимательны и зорки. Ехал Илья в имение князя Дуганова механиком. Посмотрел Кузьма на его хрупкую, на сносях, жену, посочувствовал ласково:

- Не довезешь ты, бабонька, своего живота до места, растрясешься на ухабах. Давай-ка понесем тебя с твопм муженьком по очереди..

Но Ольга Цевнева покачала головой, улыбаясь.

Там, где притемненная тучей река Самара вбирали в себя два притока, встречный башкир, сутулясь на копе, растолковал Отчеву и Кузьме, что правый приток - Уран - поведет к Шарлыку, ехать надо левым - Камышкоп, за большой горой с беркутами разножья дымят рано поутру трубы Василпсина хутора. Сам царь-бачка повелел ей сидеть на тех землях.

Обогнали по суходолу гору, и встретилась им женщина верхом на гнедом коне с высоко подтянутыми стременами, в войлочной киргизской шляпе. В одной руке поводья, другой придерживала черноголового синеглазого мальчонку лет четырех, сосавшего грудь, на удивление Кузьмы. Пока Отчев говорил с ней, Кузьма стоял в стороне, не узнанный Василисой, застыв сердцем при виде раздобревшей, вчуже расцветшей жены.

Василиса глядела на Кузьму не мигая, долго и туманно.

Отягченными слезой глазами не разглядел тогда Кузьма дубовые колки меж гор, зелено стелившуюся степь за рекою. Увидал у ног змею, наступил голой пяткой на голову и так стоял, едва внимая похвале жены. А сморгнув слезу, простодушно рассказал Васплпсе, что в азиатской каторге есть гад древний и

мудрый, скорбионом прозывается. Скорбиониху перед свадьбой за лапку берет и водит по разным щелям, дом выбирает. Если дом не приглянется ей, она взад пятки. Только спознаются, она убивает его жалом прямо в голову, по мозгам; ежели он не спроворит убечь на радостях. От скорби великой прозывается тот гад скорбионом. Кольнул человека - отжплся.

Однако господь поставил над этим страшилищем грозу - смиренную овечку. Пожирает его овца, при этом даже благодарно богу блеет. Запаха овечьей шерсти бежит гадскорбион, как огня. Так-то равновесит жизнь гадов, животных, птиц и людей на весах мудрости.

"Да он вовсе блаженным стал", - решила Василиса, когда Кузьма развернул черную тряпку и показал толстую, с кирпич-сырец, в деревянном, обшитом кожей переплете священную книгу.

- Шли мы с товарищем по азиятским пескам голопятыми, потрескались ступни до кости, хоть в голос вой.

Найдем лошадь павшую, вырежем ножом кожу с мясом, обернем ноги. Вот и дошел. В законе мы с тобой, Василиса Федотовна. Али порушено?

- Знамо дело, в законе. Только переступила я черту по бабьей слабости дите у меня. Хоть ветром майским надуло, - видишь, приволье какое! - все же по закону Автономом Кузьмичом зовется сын. Если смиряешься, становись хозяином, горемыка.

И потому, может быть, что притянула к себе за бороду и, склонившись с коня, поцеловала благостно, с легким стоном горлицы, осмелел Кузьма, полюбопытствовал почтительно, по какой нужде кормит большого мальца грудью. Погладила Василиса меж ушей коня, рассказала, будто шел как-то солдат на побывку, а через дорогу протянул ноги ыалец лет шестнадцати, грудь матери дудонит.

Спрашивает служивый, какой губернии отрок. А тот отвалился от кормилицы, сладостно чмокая губами: "Тамбоцкои!" - и опять сосать. "Такой большой, а все сосунок", - урезонил воин. "А черта ли нам!" - опять чмокнул губами, Василиса опустила глаза и уж с сердцем закончила: кормление просветляет разум, утихомиривает душу.

Нес Кузьма налитого силой Автонома до самого двора, через всю Хлебовку, другой рукой вел коня, рядом шла Василиса нога в ногу с мужем - ни дать ни взять царевна шемаханская.

Карпуха Сугуров, черноволосый, синеглазый, статный плотник, что-то слишком уж по-хозяйски воззрился на Кузьму, почти с супружеской тревогой спросил Василису, вонзив топор в бревно последнего венца возводимого амбара:

- Васена, а?

- Какая я тебе Васена? Вон для мужа, Кузьмы Данилыча, я Васена, а для тебя хозяйка. Запомни это на всю жизнь, Карп! - Василиса легко поднялась на крыльцо и скрылась за зелеными дверьми веранды.

Жарко-синие, уверенные в своем счастье глаза Карпея встретились с низко опущенными от непомерной тоски глазами Кузьмы. Плотник выдернул топор, поигрывая им в отблесках закатного солнца.

Скрепя зубами, исступленно просил Кузьма господа ниспослать кротость ему, чтоб связала руки. И тут мальчишка верхом на рыжем коне погнал со двора четырех лошадей да двух жеребят в ночное. Пышнохвостый двухлеток, озоруя перед старыми конями, махнул через саманную стену, да, видно, оробел, перекинул передние ноги и повис на стене. Ни взад, ни вперед.

- Стенку ломай! - приказала Василиса Карпею. - Пока ребра не помял конек.

Карпей Сугуров взялся за пешню, но Кузьма остановил его:

- Не трог. Отвернитесь все.

И когда Василиса и Карпей отвернулись и только мальчишка на коне завесил быстрые глаза рукавом рубахи, Кузьма взял рыжего двухлетка за передние ноги, поднял и попятил за стену. На стене же остались волосья будто конек, играючи, потерся о нее.

Василиса раздула ноздри, удивленная и польщенная.

Спешила мальчишку, подвела к Кузьме.

- Власушка, поклонись своему родному бате в ноги:

страдал за нас...

Ольга Цевнева разрешилась в доме Василисы, мальчишку крестили в хлебовской церкви, нарекли Тимофеем.

Крестными отцом и матерью были Отчев и шустрая еще бабушка Домна.

Влас и Автоном постоянно ждали от отца проявления силы. Но Кузьма отнекивался: была сила, когда маманя на двор носила...

Лишь раз мальчишки подсмотрели за отцом, когда после сева мяли навоз на кизяки, воду возили бочками из реки: медленно оглядевшись кругом, не заметив затаившихся в тальнике ребятишек, Кузьма зачерпнул полную бочку воды и поставил на дроги. Но только выпорхнули из кустов, он растерялся, схватил ведро и начал лить в уже полную по самое жерло бочку.

- Ничего вы вроде не видали, сынкп. Откроюсь: с рождения наказан силой. И умру от силы. Казать ее грех большой.

Василиса посмеивалась над Кузьмой, а он все чаще простовато чудил. Загонял домой убежавших лошадей, уж не удивляя сыновей сказочной резвостью. По каждому пустяшному делу испрашивал у Василисы дозволения.

- Как хозяйка молвит, так и будя. Моя дела темная.

Хозяйство крепло в ее руках. За двором радовал душу по весне цветущий сад, на омываемой вешними водамп Орелке зеленела большая делянка леса, укосный травостой дурманил голову в лугах и степи. Сеяли пшеницу на продажу, бахчи для услады, до Нового года хранились свежие арбузы в просяном семени, а о соленых арбузах и говорить нечего - до лета держались.

Обид своих она не забывала, не прощала ни мужу, ни Карпею, который каждую страду нанимался к ней в работники, год от года все чаще жег рюмкой бравую красоту, тускнея на глазах.

Изнеженно побелело Василисино продолговатое лицо с печально-гордыми глазами святой девы. Важная осанка статной крупной фигуры удерживала даже самого развеселого шутника молвить Василпсе зряшное слово. Высоко носила обманчиво-смиренную непокорную голову. Спали врозь. Стоскуясь, сама неслышно прилетала к мужу со своей пуховей подушкой, радуя его нежностью, так что утром дивился Кузьма, не приснилась ли ему возлюбленная царя Соломона? Если же он сам крался к ее постели, Василиса холодно, лишь из снисхождения допускала к себе мужа. Жена сама знает свое время, под ее сердцем стучит ножкой ребенок... Слушайся жену мудрую! По-прежнему загадочно-молчаливый, Кузьма временами шумел, норовя вывернуться из обернутых шелком оглобель, но после каждого бунта упряжка становилась крепче.

Смутно догадался с годами: сколько ни махай дубиной, ковыля не скосишь - стелется покорно, чтобы снова выпрямиться.

Василиса робела иногда перед его молчаливой и кроткой загадочностью... Любовалась украдчиво его работой, а если он заприметит, глаза ее наливались синим холодом...

Батюшку того, что венчал их, разбила ошалевшая тройка, сорвавшись с Каменной горы в речку у Соминого омута. Померли сверстники, а он, Кузьма, остался со своей Василисой да прежней ее любовью Карпухой Сугуровым...

Кузьма прижался к тугобокому телку-годовику, почесывая подгрудок. Телок лизнул его шею горячим, шершавым, как терка, языком.

- Не крестись, забудь все, доверься силе нетутошней. - И от этого, казалось, не своего голоса, от лунного половодья во дворе страшно и сладостно замирала Фиена в ожидании таинства. -

Тихонько, не изувечьте суятных овец.

И девки, распахнув шубы, вытягивая руки, ловили овец, повязывали на шею передники или платки. Какой масти попадется овца, такой и будет жених.

Ни живой ни мертвой брела вдоль степы Марька Отчева. Подсунул ей Кузьма ласкового теленка, а когда девка, приговаривая "судьба-судьбина, повесь передник на суженого-ряженого", повязала на его шею передник и выпорхнула из преисподнего мрака на лунный разлив с серебристо искрившимся двором, Кузьма снял ее передник, повязал на кобеля Наката и сам испуганно изумился: неужели сделал это, понужденный судьбой?

По сердцу была ему уважительная Марька, и радовался, что уберегли ее родители, когда металась в черной оспе, только меж бровей и осталась шадрпнка, как бы высветлив нежный лик ее. Одна из всех не сняла Марька креста, когда Фиена обескрестпла девок в горнице.

"Достанется нашему Автоному эта доброта и красота несусветная", подумал Кузьма с неосознанной зависттью. Полез нахолодавшим пальцем в свой рот, пересчитывая зубы. И подумалось ему: уж не продрог ли он под синим сквозняком студеных глаз Василисы? Вздохнул прпмиренно; подобрев, сбросил с сеновала охапку разнотравья овцам, пошел в дом.

На кухне Василиса раздувала сапогом самовар.

- Перестал бы голопятым ходить. Обезножешь, на руках мне же придется носить тебя, - сказала она таким грудным голосом, каким обычно говорила накануне прихода к нему со своей подушкой.

- Совсем тепло, - легкомысленно повеселел Кузьма, вытирая ноги о солому. - Дохнула ты майским голоском. - Умолк, сладостно пропадая под ее взглядом.

4

Во двор заехал Автоном на паре сильных коней, вязко скрипя полозьями саней. Разомкнулись клещи хомутов, встряхнулись запревшие кони, пофыркивая; Автоном покрыл их дерюгами, повел в конюшню. Управился с лошадьми, обмел пучком соломы снег с валенок, взял из саней мешок с покупками и, кинув на руку тулуп, пошел в дом.

Возил в Сорочпнск двадцать пять пудов пшеницы и быка-полуторника.

Отборную, через редкое решето отсеянную твердую пшеницу продать не удалось - подошли к возу два усатых, а третий, бритый, пригрозили, что, если уступит государственным закупщикам, домой не доедет.

- На любой дороге разнагишают тебя наши, сосулькой

ледяной зазвенишь, сказал усатый, сильно надавив рукой на плечо Автонома.

Автоном вспыхнул, ворохнул плечом, сбрасывая тяжелую руку в рукавице. Тогда бритый чуть распахнул свой зипун, уперся в грудь Автонома стволом обреза.

- Советская власть планует чужой хлебушко, а мы ее по-своему регульнём. Поплачется она в ногах у нас, - сказал он. - Пшеницу вези домой, зарывай в яму. А нет, лучше в прорубь свали. Довольно пм мудровать над хлеборобами.

- Для чего же я сеял? За дурака меня считаете?

- А ты умней будь, не засевай лишку. Себе хватит, а они нехай железо гложут, протоколами и постановлениями закусывают. В кошки-мышки играть с нами не дозволим больше.

Пшеницу Автоном сдал в счет дополнительного обложения, уже второго за эту зиму. Быка продешевил - густо скота нагнали на базар башкиры и оренбургские казаки. Поначалу тоже прижимали государственных закупщиков, а потом пошли дешевить. Даже за плевую цену не подвертывались покупатели из местных мясоедов.

Председатель Хлебовского сельского Совета Захар Острецов навязывал свою телку-годовичку.

- Бери даром, назад не погоню! - бесшабашно кричал подвыпивший Острецов. - Телятина для умственных желудков. Жениться хочу, идол ты жпрнощекий. Иначе бы не дешевил.

- Зачем она мне? Ныне лишняя скотина - позор для человека. Голозадое равенство - наивысчая вожделенная цель бытия.

- Врешь, губастый сластолюб! Советская власть велит в достатке жить. С пустых щей не осилишь вперегонки заграницу. Сила нужна.

Шибай все же взял белолобую телку, силой запихнув за пазуху Острецову скомканные рубли.

- Не припоздал жениться в тридцать-то лет? - балагурил на радостях Шибай.

- До тридцати мне еще двух лет не хватает, дядя.

Вид у меня поношенный от умственной деятельности. Сахару маловато для мозговой работы.

- Никак двум свиньям корм не разделишь?

- Ты, дядя, мясо жрешь, култук наедаешь, а я думаю, как жизнь крутануть по-новому, тебе ноги на затылке завязать, смрадный ты индивидуум. Автоном, вразуми прохиндея насчет моей личности.

Горюя о налыге, которую позабыл снять с телушки, Острецов много пил в чайной, безуспешно угощая непьющего Автонома. Широкий лоб Захара вспотел, мудрые глаза гасли под

отяжелевшими веками.

- Чтобы всю сволоту вражескую скрутить, индустрию на ноги поставить, кучерить в стране должна одна партия, единая, - повторял он, сжимая руку Автонома. - А сейчас что? Дискуссии без конца разводят. - Захар тыкал пальцем в газету. - Ленина нет на них, пустомель балалайкиных. В одной стране, мол, социализм не построим... А за каким же тогда хреном кровь проливали? Для болтовни, что ли?

Хозяин чайной прикипел пухлыми пальцами к своей лысине, как оладушек к сковородке, когда Острецов, переиграв на только что купленной двухрядке революционные песни, вдруг завел "Боже, царя храни". Два старика встали, сипло подтягивая царский гимн. Появился в морозных клубах милиционер, срывая с усов сосульки.

Автоном стукнул Острецова ребром ладони по лбу, выволок вместе с гармонью на крыльцо мимо милиционера в красной шадке, свалил в сани и с ходу погнал лошадей галопом, рубя кнутом по раздвоенным крупам. За мостом, обогнав несколько подвод, надежно затерялись среди обозников.

Протрезвевший на морозном ветру Захар, дрожа пощенячьему, выговаривал Автоному:

- Помешал ты мне, Автономша. я бы этим монархическим гимном выявил всю замаскировавшуюся контру, привел бы в милицию строем. Видал, двое выпрямились, как драченые?

Автоном угнетенно отмалчивался. Продешевил бычка, да и те деньги пойдут на приданое, на свадьбу. Мотом и безруким неумельцем в сравнении с родителями считал он себя. Крепкое было у тех когда-то хозяйство, а он с десяти лет копается в земле, не просыхая от пота, и, как ни бьется, не может завести третьего коня, хоть бы отдаленно похожего на длинноногого, в яблоках, жеребца, вихрево носившего его с матерью по степному раздольному бездорожью.

Отец Кузьма Даннлыч за двадцать лет одну пару сапог износил. Автоном снова подсчитал расходы: себе сапоги, костюм, невесте на платье и на ботинки - все это, пожалуй, надо. А еще больше нужны книги. Выкупил на почте учебник "Рабфак на дому", новенькую книгу Сталина "Вопросы ленинизма". На книги денег не жалел, учился жадно, с остервенением отставшего, будто по пятам настигала злая погоня: "Кто ты такой? Зачем и как живешь?" На бегу, в работе без конца и края все нетерпеливее нащупывал Автоном свое место на земле, сердцем ждал крутых перемен то опасливо, то томительно-горячо.

И то черной гибелью, то пзбавлением от гнетущей неопределенности представлялся ему день завтрашний... Книги

нужны... Но как дошел до расходов на мыло, расстроился: "И на черта этот разврат?."

Подражая отцу, он гордился тем, что ни разу в зеркало не глядел на себя. В колодце увидишь - и хватит.

До спх пор его стригла мать овечьими ножницами, потому и лежал жесткий волос лесенками на круто и гордо, как у матери, угнездившейся на широких плечах голове. Он отыскал в соломе на дне саней шапку и рукавицы - как и отец, брал их в дорогу для блезиру, не надевая ни в мороз, ни в буран.

Уже ночью, проезжая через Аввакумов умет, Острецов велел остановиться. С великим старанием, кряхтя, волоча полы тулупа по снегу, добрался до чьей-то избы, постучал в стылое окно:

- Хозяин, ты спишь?

- Сплю, - едва слышалось за окном.

- Ну и спи, хрен с тобой.

Вернулся к саням, посмеиваясь.

Автоном диву давался, почему душевный и умный Захар Осипович временами чудил и дурачился.

- Перепил, что ли? Теряешь себя вроде бы беспричинно.

- Эх ты, земляной жук. На, загляни в мою душу - трещина там, как на суглинке в жару.

- У тебя-то с чего трещина? Ты же власть.

- Время какое? Сплошное раздорожье. По швам разошлось в душонке человека. Скорее бы к одному, что ли...

Пообещал Автоному еще что-нибудь учудить, но Автоном ускакал от него на своей паре коней. "Не пропадет, бабенка какая-нибудь пригреет. Захар в каждом селе свой человек, советчик и собеседник желанный".

Впереди под горку две женщины в полушубках везли на салазках Степана Лежачего, по-уличному - Доходягу.

С осени выламывал он кирпичи из батыевского городища, заодно разыскивал клад. Вдовы пособляли ему отвозить тот звонкий, с глазурью, кирпич на малый аввакумовский базарчик, а обратный путь прокатывали Степана в благодарность, наперебой подкупая сердце его лошажьей выносливостью. Так думал Автоном с жалостью и презрением.

- Это ты, Степан Авдеич? А я-то думал, кто это развеселился под Новый год. Ну и рысачки у тебя, насилу догнал. Садись, довезу.

Лежачий поломался: мол, мы как-нибудь на своих бедняцких в рай въедем, потом уж лег в сани, вытянув ноги в подшитых валенках. Бабы привалились с боков, охраняя от ветерка своего дошлого Степку, как куры петуха на насесте.

- Целый мешок денег везешь, Автоном?

- Где мне угнаться за тобой, батыевскпм наследником? Брошу хозяйство, буду с тобой курганы зорить.

- Не успеешь, скоро тебя за гузно возьмем. Уж и покатаюсь на твоих лошадках!

- На, бери хоть сейчас, не жалко. Думаешь, сладко с ними? Не по моим грехам приготовил мне наказание.

За что?

- Рыло воротишь от новой жизни, умнее всех хочешь быть.

- Новую жизнь, Степан, без меня не поставишь...

Как сеять нынешнюю весну будешь?

- По приметам: посулится урожаем весна, посею, нет - губить семена не буду. Я разумный, шив - и ладно, о других изнывать не умею.

- А я-то, дурак, сею каждый год.

- Хоть раз правду о себе сказал, Автономша. Если бы зимой хлебушко рос, ты ба засеял по снегу, не давал земле отдыха. Покоя нет людям от тебя, сатаны одержимого.

- Скучно жпть не умею.

- Я веселее твоего живу, чертолом бешеный. Сейчас с бабами сварим гусек, раздавим бутылку рыковкп. А ты и этакой радости не знаешь. Будешь до свету переживать куплю-продажу... В новой жизни по часам трудиться будем. Пусть машины надрываются, они железные. А ты и машину надорвешь... Ладно, друг, возьмем тебя в новую эпоху, только руку одну отрубим... Не серчай.

За мостом Степан ласково матюкнул Автонома - салазки суродовал на ухабах.

...В избе Автоном поклонился родным, не спеша стряхнул иней с головы, оборвал с усов наледь, положил на Лавку мешок с покупками, связки книг, отступил к порогу. Все-таки сунул в ведро с холодной водой зашедшиеся с пару руки, отвернув от отцовского взгляда красно-бурое, строгой ладности лицо. Под усами белели плотно литые зубы.

- Три пожеще, Антоном Кузьмич, - посоветовал отец, - не давай сердцу сомлеть.

Автоном промолчал - заколодило его после разговора с Лежачим.

- Ничего не слыхал? - спросила мать.

Всякий раз, откуда бы ни возвращались сын или муж.

бна с сердечным замиранием в голосе пытала о пропавшем без вести Власушке.

- Нет, маманя, не слыхал... - Автоном томительно помолчал, потом, тяжело выгнув черные брови, спросил хрпповатым голосом: - Уж не Фиена ли носится с девками на задах около бани, видно, гадает?

- Она, яловая кобыла, все еще в девичьем табуне хвост трубой прямит. Наманпла полну горницу невест, пол истоптали. Теперь, видишь, на задах, по баням.

Овец-то, поди, помяли суягных, - со спокойной суровостью говорила мать, собирая сыну вечерять.

- Разделить надо хозяйство, пусть забирает Власову долю. Посмотрю, как она жизнь поведет, по вечеркам болтаться. Я ей не батрак. Надоело каждую ночь двери ей открывать на заре, - сказал Автоном устало и твердо.

Василиса почтительно ждала, пока сын ужинал, потом убрала со стола, села на табуретку, подула на клеенку.

- Ну, Автоном Кузьмич, показывай выручку, пока не прилетела востробородая, прости господи.

Автоном вынул из внутреннего кармана овчинных штанов клетчатый кисет, положил на стол перед матерью.

- Шел бы, Кузьма Данилыч, в горницу на полати спать, - сказала она. - А на зорьке опять Пестравку послушай, не заморозить бы теленка.

Кузьма завернул Библию в холстину, попросил Домнушку за печью, жену и сына простить его, как это делал он перед сном, но вдруг, встревоженный чем-то, раздумал спать и сел на лавку.

Василиса засопела и, тяжело топая по скрипевшим половицам, обошла кухню, без надобности переставляя посуду.

Кузьма с кроткой укоризной посматривал на жену грустновато-умными глазами из-под густых нависших бровей. Но только Василиса повела на него властным оком, он поднял брови, собрал на лбу глубокие морщины, и лицо его с пожелтевшей по краям бородой завиноватнлось приветливо.

Василиса пересчитывала деньги, разглядывая на свету каждую бумажку.

Кузьма, отвернувшись, глядел на свою тень по замерзшему окну.

- Помогай, отец, как концы с концами сводить, - сказала Василиса. - И что ты не налюбуешься мерзлым окном? Ну, чисто ребенок.

- Сводить концы? Разные они ныне: один кудельный, другой железный. Ума не приложу... Сынок, куда тебе столько книг? Раньше у благочинного меньше было, ей-ей.

- А без этих книг, батя, нельзя нынче ни жить, ни помирать, - уже как бы издали отвечал Автоном, расставляя книги по полкам, - слепым котенком не хочется тыкаться по углам. Знать надо, кто мы и зачем живем?

Родители, не примиряясь в душе с тратами, почтительно поддакивали авось сын выбьется, секретарем сельсовета станет.

5

В это время Фпена закончила опускание взятых с банной каменки камней-железняков в прорубь: если забулькает - свекровь попадется невесте ворчливая, а коль тихо уйдет на дно - ласковая.

Фиена повела девок под сарай, освещая путь фонарем.

Наряженные передниками овцы глядели на них, не понимая, почему им не дают спать этой ночью. "Стричь нас еще рано, озябнем, зачем же булгачат?" - недоумевали овцы в тревожной ночи.

- Девки, мне красная овца попалась, что это будет?

- Алтухов Семка посватает, он ры-ы-жий.

- Матушки, моему-то барану масти не придумаешь - багряный.

- Вдовец соломенный Степка Лежачий.

Перестали девки тараторить и хихикать, как только увидали Марькин передник на шее черного кобеля Наката. Марька открещивалась, робея снять передник.

- Не миновать тебе Автонома Чубарова. Пропадешь за ним: буран, одним словом.

- Дурочка, что ли, ты, Марька, неужели руками-то не чуяла, овцу илп собаку обряжаешь?

- Помню баранчик, рожки у него. А может, теленок, - недоумевала Марька. Давеча, повязывая передник, она чаяла и боялась, что попадется желтый барашек, масти Захара Осиповича Острецова, недобро перебившего однажды ее девпчью тропу.

В глубине сарая будто послышались шаги и сдержанный кашель.

- Замрите, - приказала Фиена девкам, - кажпсь, Автоном коням сено задает.

Фонарь прикрыла подолом юбки и, пригретая теплом, вспомнила озорную присказку: у царя Додона была дочь Алена, половпна брита, половина опалена. Какую берешь? - и засмеялась в рукав. Потом выпрямилась, подняла фонарь над головой.

- Чур, чур меня! - дурным голосом зашлась Фиена, пятясь.

Фонарь упал, угасая. Девки кинулись из-под сарая, спотыкаясь, давя друг друга в воротах.

С визгом залетели в избу перепуганные гадальщицы вместе с бесстрашной Фиеной. Не могла унять она дрожь в коленках и крикливо повторяла, что в углу сарая за коноплей стоит черный обличьем, на башке малахай из зайца. Манечка Шатунова уверяла Василису, что видела рогатого и черного на сеновале - трехпалыми ручищами вязал пырей в пучки. Лагутина Парушка узрела за куриным витым гнездом косматую старуху, чесавшуюся кленовым гребнем в лопату величиной. .По пятам поскакивала на

карачках, щекотала под коленками Парушку до самых сеней и сейчас наверняка затаилась за дверьми.

Кузьма спросил Марьку, видела ли она.

- Вам поблазнилось, а тебя, Марька, крест оборонял.

Марька тоже видела, только чью-то широкую спину в

дубленой бекеше с каракулевым серым воротником.

- Не воры ли? - встревожилась Василиса, пряча деньги за поголешку чулка. А девки тут же подтвердили:

крались к амбару две воровски полусогнутые тени.

Автоном надел меховую безрукавку. Мать велела ему взять топор для обороны. Он усмехнулся, красуясь перед девками своей молодцеватой смелостью.

- Не улыбь, все может быть, и тати нощные, - сказал отец, - стоят с курком али с ломом у сеней.... только ты башку-то высунешь, прижелезят лоб. Сядь, сам я пойду.

Надену шапку на палку, хитровато - наружу. Покойный мой тятя...

Кузьма вскоре вернулся.

- Хворостины нет на вас, девки. Шляетесь без божьего имени, вот и блазнится. Идите по домам.

- Да я своими глазыньками видела, батюшка Кузьма, ей-богу, святая икона, честное комсомольское, - настаивала Фиена перед свекром.

- Перестань, бесстыдная! - осадила ее Василиса. - Не даст старому молвить, так и стрекочет, так и сорочит.

Забрала волю без мужа. А вы, девки, не прохлаждайтесь, марш по домам и за дело.

- Боимся, Влсилпса Федотовна.

Кузьма велел сыну проводить девок, да и ночку под Новый год погулять можно удальцу.

- Тогда я махну в совхоз к Тимке Цевневу, - Автоном надел тулуп с белым воротником, распахнул черные с изнанки широченные полы: - Прячьтесь, девки! - повернул на Марьку заигравшие синие глаза: - Ныряй, соловей!

Марька спряталась за девок.

- Ты заночуй у своего дружка, водой не разольешь вас, Автонома да Тимофея. Гуляй, пока помощница сатаны - жена не запутляла, - говорил Кузьма, выпроваживая сына. - А ты, Фпена, проведай хворого отца. Снеси бутылку да селедку. Поздно уж, останься у родителя.

"Хитрят, выручку считать без меня норовят", - подумала Фиена. Но ее так и поджигало желание погулять с девками всю-то ноченьку под Новый год. Накинула шаль на голову, сунула рукп в рукава и выметнулась из дома.

- Завесь, старая, окна, - в голосе Кузьмы звучала неожиданная для Василисы строгость. - О делах посерьезнее свадебных поговорить надо. Не знаю, радоваться пли плакать, мать. Влас объявился, пришел потаенно.

Василиса пристыла к лавке, ноги отнялись, встать не могла.

- Врешь, Кузьма?

- Тарарык тебя, шпшпга старая. Потаенно объявился.

- Сынок Власушка, где же он? Не тянп жилы! - Василиса решительно вышагнула на средину кухни, собрала в пальцах посконную рубаху на груди мужа. - Искалеченный? Без руки? Без ноги? Где он?

- Не шуми, ради Христа. Жив и здоров. Сейчас приведу.

С надворья Кузьма вернулся вместе с высоким человеком в бекеше, в смушковой папахе и белых бурках.

Оглядевшись зорко, Влас повесил бекешу отдельно от всей одежды, одернул темно-зеленый френч и раскинул руки:

- Родительнице нижайший поклон.

Восемь годов пропадал Влас в незнаемых краях - двадцатилетним парнем ушел, вернулся матерый, в отца, широкоплечий, большерукий, только вместо отцовской бороды - черные усы.

Мать замерла на груди у сына, гладила жесткий рубец на его щеке.

- Власюта, да это ты ли? Ты живой? Болезный мой, - подняла недоверчиво расцветшее в радостных слезах лицо. - Услыхал господь мою молитву, внял... Но что же исделали над тобой ироды? Как суродовалп несчастного!

Кузьма выкрикивал вдруг истончившимся голосом:

- А? Вот он, Влас-то свет Кузьмич. Глядите! - Наткнулся на прищуренные глаза сына, смолк. Вздохнув, напомнил Власу о бабушке Домнушке.

- Она еще жива? - совсем по-детски обрадовался Влас. Вынул из кожаной сумки пряник и, нагнувшись к запечью, подал старухе. Она ощупала его лицо с витыми, как бараньи рожки, усами, не признавая внука.

Влас не стал разуверять бабушку. За ужином от водки отказался, не торопясь брал баранину с деревянной тарелкп пятью пальцами, как бишбармак киргизы. Мать потчевала, обещая на завтра зарезать овцу.

- Ничего не нужно, мамаша. - Влас вынул из бокового кармана френча портсигар, закурил, прижимая папиросу уголком отвердевших губ. Лицо его с годами как бы уплотнилось, выдавались надбровные дуги да крупный, с подвижными крыльями нос.

В горнице Влас внимательно оглядел книги из библиотеки Автонома, похвалил:

- Серьезные... даже Ленина сочинения читает. Да, жизнь, знай свое, идет... Значит, меньшой брат женится?

Вот ему к свадьбе три червонца.

Родители смутились, отнекиваясь: де, Автоном прознает, будет допытываться, отколь деньги взялись.

- Каким ремеслом кормился, Власушка? При деньгах, одежа справная? почтительно полюбопытствовал отец.

- Швец, жнец, кузнец и на дуде игрец... Вообще-то, в орлянку играл на свою жизнь. Не по своей воле, батя.

- Вон оно что! Ученый, значит. В каких, к примеру, краях жить довелось? Я к тому, что знаешь вес о нас и шабрах.

- Жил то близко, то далеко, подалее твоей каторги...

Ну, как он, Автоном, уважительный, послушный?

- Хозяйственный малый, - ответил отец, - только на книги тратит много, не хочет отстать от Тимофея Цевнева, тот хоть и моложе, да ведь сын образованного человека - шутка ли, отец был механиком у самого князя Дуганова.

- Сколько сейчас лет Тимке этому? - впритайку спросил Влас.

- Большой - семнадцать. Посиротила война, да люди добрые не дали упасть.

- Меньшой Цевнев край как нужен мне. Только сам еще не знаю, зачем? Для спасения или гибели моей?

- Осподи, отца убили... Тимка-то при чем?

Влас отпрянул, затрещала табуретка.

- Батя, неужели меня примешивают? Не проливал я крови Ильи Цевнева... Помолчал, зажмурясь, потом повелительно: - Фпене не проговоритесь о моей ночевке у вас.

- У нее язык, как у суки хвост. Не человек, а решето - вода не держится, - сказал Кузьма.

- Да ты что же, сынок родненький, только пришел и бежать?

- Я, мамака, не заяц, чтобы бегать. Однако жить у вас дольше не могу. Фиене скажите: мол, погиб я. Пусть она замуж выходит. Зачем ей понапрасну сохнуть на корню.

- Она хоть баламутная, да сердце-то женское... Весь вечер изводила себя ворожбой... - сказала мать.

- Ты, батя, пойдешь к попу, отслужишь по мне панихиду. Оставляю вам документы о моей смерти. Давно написаны надежным человеком. Только бумагу эту никому не показывай пока. Теперь я не Влас Чубаров, а Василий Калганов. Разумеете, что толкую вам?

Василиса перекрестилась перед иконой божьей матери:

- Грех страшный чужое имя красть, от своего отрекаться.

Душа того человека, чье имя украл, взыскует.

- Не я виноват, что природное имя мое изветшало...

Два раза убивали, а я воскресал то пастухом Сеидниязом, то эскадронным кузнецом Калгановым. В тифу мне привиделось, будто я из самого себя вылез маленький, весь в белом, со свечой в руке и пошел уж другим человеком Васькой Калгановым, а Влас-то Чубаров лежит мертвый с саблей в руке... был у меня дружок Васька - смирный, приветливый. Срубили. Ну, да все оправдается, только бы с линии не сойти... Сейчас я чуток выныривать начинаю, а то вить на самом дне омута задыхался. Жизнь поверх меня бежала. Как облака над дорогой плывут, а дороге-то ужасно скушно дрогнуть на одном месте вечно.

- Ты, Влас, не в меня ли удался? - спросил Кузьма, с надеждой глядя на сына детскими глазами. - А то ведь я кем только себя ни почитал. Один раз афганцем, другой - немым прикинулся, мычу, а говорить нет веры.

Может, и ты так же вот заигрался в мечтах?

- Тебе было пять годков, крестная говаривала: лишку дошлый оголец, не своей смертью помрет, - сказала мать. - Не выходили из головы крестнины слова, когда мчали тебя вместе с конем распроклятые. Уж подыхали бы одни, так нет, потянули в могилку самую молодь. Уганов испортил тебя, затуманил голову, долгосппнный шайтан.

- Доверился ты Уганову, сгубпл себя. Сынок он князя Дуганова, хоть и приблудный. Да вить черного кобеля не отмоешь добела.

- Уганов, родные родители, земляного человека понимал. Митрий Иннокентьевич верил в душу нашего племенп, все чины и прозвания пошлп от земляного человека.

Попробовали бы умники прожить без нас - ни сеять, ни воевать. Ох, тяжела доля добытчика хлебушка. Беззащитен, как пшеничные колосья перед косой. Вот я в чем впноват? Пахал, сеял, чаял старость родителей скрасить.

Вывпхрили меня из дома, закружили, били, оглядеться ве давали, такие же разнесчастные били, как и я. Сколько раз предел вымаливал у бога: дай мне пожить хоть годик, повидаться с родными, а там вынай мою душу. Вот и достиг я, а помирать неохота, все во мне так вопит: чем я хуже, проклятее других? Аль на мне больше крови? А уж так натосковался по родной земле! Пальцами бы ее всю перемял, грудью согрел. Как вернуться на землю? Одпн пугал меня:

все равно, мол, всех хлеборобов ободноличат, как семечки в подсолнухе. Вымолачивать, видишь, сподручнее да жернозами давить на масло. А может, к лучшему - тогда мокрому дождь,

нагому разбой не страшны.

- О, господи, - вздохнула мать негодующе. - Не сникай душой.

- Э-э-э, сынок! - как-то нараспев, с веселым легкомыслием суперечпл Кузьма. - Только под ногами клочок останется, и тогда мужичок, пусть будет стоять на одной ноге, другую подожмет и все равно засеет. Пальцами взрыхлит и засеет. Без него земля заплачет с тоски, кровавыми слезами умоются травы. Хлеборобы, Влас Кузьмич, всякие бывают. Нас три брата, одних матери-отца дети, а закваска разной крепости. Слова у всех людей одинаковые, а умыслы несхожие.

- Хватит, родные, ничего мне не страшно теперь, окромя черной молвы в народе. Спать надо.

- И то спи. Умаялся с дороги. Я студень наварила.

Поживешь, на свадьбе Автонома погуляешь.

Легли спать каждый на своем месте, но горе согнало всех в горницу.

- Иль уж деньги фальшивые делал? Или убил кого? - тоскливо маялся в темноте голос матери, сидевшей на лавке в переднем углу.

- Убивать приходилось, а к деньгам никогда не тянулся. Деньги все фальшивые, мамака, правильных денег не бывает.

- Помолчала бы, старая шишига, твоего ума только и хватает об деньгах звенеть, - все больше смелел Кузьма в потемках, свесив ноги с полатей. Мало ли кто в кого стрелял, брат - в брата, сын - в отца метился.

- Подарить милиционеру лошадь, он замнет, а? - прикидывала Василиса.

- Всю скотину, вплоть до коровы и овцы, запродам под корень, а начальство склоню к доброте и разумению, - хвастливо расходился Кузьма. Вить начальству тоже обуться-одеться надо.

- Лучше куски под окнами собирать всей семье, чем тебе, дитятко, горемычить...

- Каяться надо. С открытой душой - путь короче.

- Короче, а если... к могилке?

- Не дозволю губпть дите! - повелительно и упрямо сказала Василиса. Ты вон покаялся в глупости, подставил руки под кандалы, каторжанин. Не слушай его, Власушка. Око за око, зуб за зуб - так надо жить средь людей, покуда они не станут братьями друг другу.

- Нет, Васена, хомут свой каждый должен чувствовать, на чужую шею не наденешь. Жить надо сообща, роем, как пчелки. Чай, уж проходят дикие времена зубовного скрежета.

- Никогда времена эти не проходили, бородатое ты дите, право. Кровь за кровь - на этом жизнь заквашена.

Сука самая паршивая за щенка своего бросится на нож, так я-то мать!

- Времена! Даже бабы лютеют. А ведь создатель материнское сердце вложил в них для любви. Остановиться надо, одуматься, оглядеться. Сколько лет бьют друг другу, пора отдышаться, синяки растереть.

- Батя, я рад остановиться, а если - сомнут? Есть у меня человек надежа, посоветуюсь с ним. Служил я ему верой-правдой, головой и саблей. Он спасал меня, я - его. Может, блюл для своего оправдания. Связала судьба нас цепью - никакая разрыв-трава не порвет.

- И как же у вас все перевернулось? Трон царский рушили, помещиков зарпли вместе всем народом, а потом бац-бац - стрелять друг в дружку?

- Да так вот и получилось: хотели свою, крестьянскую правду отстаивать в особицу от красных и белых... с белыми Мптрпй Иннокентьевич тоже люто рубился поначалу.

Даже стариков бородачей из уральцев не щадил, а уж на что они темнота, староверы тугоносые. А как Цевнев наладился для красных последнее зерно под метлу забирать у хлебороба, продразверстку осуществлять, отнесло нас в сторону. Думали, временно. Оказалось - надолго.

- Так-то один будто понарошке запродал дьяволу душу, да бес-то не дурак, до сих пор катается на нем верхом.

Упадем завтра в ноги самому Захару Осиповичу Острецову, пусть креста на нем нет - сжалится. Росли вы вместе, одну грудь твоей матушки сосали. Не корми ты, Василиса, Захарку в то холерное лето, не жил бы сейчас.

- Вот и вскормила я, дура, кобеля.

- Не ту струну трогаешь, матушка. Кобель-то он по бабьей части, а так совестливый, умный. Все ходы-выходы ведут к нему. Далеко пошел Захарка, дай бог ему здоровья, - сказал Кузьма. - Общество довольно им.

- Захарка с детства ласковый телок, две груди сосал - своей матушки и моей. И сейчас, значит, по душе он всему обществу? И дяде Ермолаю? И Отчеву Максиму? - вкрадчиво расспрашивал Влас. - Дела! Попади похоронные бумаги в руки Захара - свалится камень с его души. Ведь он, поди, все еще страшные сны про меня видит? Придет время, и я гляну в его глаза, заикой сделаю.

Я бы сейчас наведался к нему, да как бы язык у него не вывалился на порог со страху, - хохотнул Влас в потемках. - А еще больше испугался бы он Илью Цевнева... если бы тот воскрес... - Вспыхнула спичка в его руке, и мать увидела, как он вынул из кармана черный револьвер и положил под подушку.

- Что же это такое, сынушко?

- Собачка-молчунок, а уж если гавкнет, до смерти напугает.

- Хорошие люди не носят таких потаенно. Выбрось в прорубь, - велел отец.

- Развяжу узлы - выброшу, да не один, а с камнем пудовым. Железо злое замучило, всю душу оттянуло.

- Тогда в амбаре-то... прости меня, сынок, - всхлипнул Кузьма. - А Захар что? Он не тронул тебя... Тоже с понятиями человеческими...

- Всем я давно простил, батя родной... простил без надежды, что мне зачтется...

6

Обессонел Кузьма. Летний вечер ожил в памяти. Тогда приковылял скрюченный соседский старичок Юдай, всполошил Кузьму:

- Хлеб забирают! Жарища, ни капли дождя, а они последний хлебушко под метлу гребут.

Тревожные глаза Кузьмы повело к чадному небу, где вольно парили два коршуна и зной стекал с их крыльев.

За стеной во дворе брата Ермолая уже покачивались папахи воинов неизвестного Кузьме войска: красного, белого или промежуточно-мужицкого. Подтягивая посконные штаны, Кузьма прошаркал босыми пятками по двору. На каменном порожке погребицы Василиса, невозмутимо спокойная, в черном сарафане, откидывала творог для цыплят.

- Замок! Штоб тебя разорвало, замок давай!

- Чего клекочешь? - привстала было на дыбки Василиса.

Но Кузьма, бледнея скулами, так взглянул в ее глаза, что она легче перышка слетала в сени.

Черный замок величиной с кутенка-слепыша повис на пробоях дубовой двери амбара. Кузьма скрылся в сенях, унимая дрожь сомкнутых за ноющей поясницей рук.

Одним глазом смотрел в щелку во двор.

Глухо загудела копытами накаленная зноем дорога, пригибаясь в калитке, во двор въехал верховой. Соскочил с коня, и тот, мотая потной головой, по-свойски затрусил под лопас, будто дорога в тот спасительный холодок была ему ведома от рождения.

Высокий, с ремнями, перекрестившими прямую спину, солдат уверенно вытащил из-под амбара ломик, засунул за пробой, уперся коленом в косяк, погнул к земле. Скрипя, пробой вылез из гнезда вместе с деревянным мясом.

Солдат, ворохнув просторными плечами, полез в амбар.

Кузьма шагнул из сеней.

Средь бела дня ломать двери? Рука сама нащупала у стены скребок. Даже робкая птица бросается на разорителей своего гнезда. Кузьма коршуном залетел в амбар.

Солдат, навалившись грудью на край сусека, пересыпал с ладони на ладонь зерна пшеницы. Закинутая за спину винтовка мешала ему нагнуться ниже, задевая стволом за верхний венец сусека. Он напряженно приподымался на цыпочках, норовя поглубже запустить руку.

Кузьма прпрос взглядом к белой полоске на его шее, выдавленной вытертым затыльным полукружьем папахи.

Солдат оторвался каблуками от земляного пола, повертываясь левой щекой к свету, из горсти сыпались зерна пшеницы. В это мгновение, словно напугавшись чего-то, Кузьма и рубанул скребком - хотел для острастки по борту сусека, а угодил по шее. Солдат лишь на секунду резко повернулся всем лицом, ужасный своей неправдоподобной схожестью с кем-то близким. Опустились плечи, сникла голова, и ноги в коленях, как бы истаивая, подгибались.

В разных краях Хлебовки выщелкивали винтовочные выстрелы, волны конского топота катились по проулкам.

Кузьма вышел пз амбара, забил пробой на прежнее место. Непоправимой бедой густела в амбаре мертвая тишина.

На маштаке суглинпсто-желтой масти рыспл, поигрывая плетью, Захарка Острецов. Кузьма стоял в калптке, прислонив отяжелевшую голову к косяку.

- А где же мой вояка? - невнятно просипел он.

Захар отмолчался, врезал плетью маштака, аж вспух рубец на крупе.

Во дворе Захар спешился, устало сел на камень, расстегнул ворот гимнастерки.

- Испей холодной водицы, Захарий, - сказала Василиса, ставя перед ним ведро, прикрытое деревянным кружком.

- Ты прежде накорми, Василиса Федотовна, своего молочного сына, суетливо присоветил Кузьма.

Василиса развалила ножом ноздреватый, пахнувший хмелем калач, положила кусок сала на дежке. Кузьма поставил кружку первача.

- О Власе лучше не спрашивайте. Жалко мне вас, стариков...

- Убили? - выдохнула Василиса.

- Вот оно какое происхождение... Росли вместе, шли вроде в ногу... ты свету белому радуешься, а он... Кто сгубил его? - спросил Кузьма.

- Влас служит разору душой и саблей - то к нам, то к белым мотается.

- А ты-то какого войска ратник? - спросил Кузьма.

- Я красный, справедливости служу. Вот, Василиса Федотовна, хоть Влас мне молочный брат, а попадись од под горячую руку - изрублю.

- Да как ты можешь говорить мне такие слова? Я тебя моим молоком в жизни удержала! - Василиса плеснула самогоном на Захара.

- Да я бы сам выпорол Власа, ей-богу! - сказал Кузьма.

- Все вы за народное дело на словах... Горько заплачете, да поздно будет, дядя Кузьма.

- Ты не мажь дегтем мою душу, Захар. Я сам давеча...

Пойдем, покажу, хоть и грех хвалиться этим, да уж так случилось.

Вошли в амбар, светя сальной плошкой. Взблеснула подковки сапог лежавшего на полу человека.

- Посвети лучше, дядя!

Широко открытые серые беспамятные глаза, по шее и лицу наискось запеклась кровь.

Выпала из руки Кузьмы плашка, чадя фитилем.

Захар постоял над Власом, ушел молча, расстегивая душивший ворот гимнастерки. Кузьма и Василиса перенесли Власа на погребшщу. Оттирали виски редечным соком. Ночью отец погрузил сына на лодку, увез в камыши.

Влас то прпходил в себя, то снова проваливался в беспамятство.

"Почему не уподобил меня господь Михаилу Архангелу, чтобы я бил ворогов, как он змия копьем? Почему не сделал меня коршуном когтить злодеев, как он утят в тихой заводи? Послал ты, господь, мне судьбу Авраама, сына в жертву приносящего", - горько молился Кузьма, глядя сквозь слезы на водянистый закат.

Когда он на заре принес сыну куриного бульона, Власа не оказалось на камышовой постели в шалаше. Следы увязавших в илистом берегу коней затягивало ряской.

Из-за ветел разглядел: на том берегу сникал в седле Влас, другой всадник, тонкий, с крепкими, накаленными заревом скулами, поддерживал его. Так вот и увез Уганов Власа...

- Сынок, ты спишь? Прости меня, не хотел я скребком-то.

- Судьба, батя. Не ты, так другой бы... Сильно поднажали на крестьян, я пожалел их. Вот тогда-то я пошел с Угановым, понял: глубоко, до печенки, прокусили крестьянина, коли отец рубанул... С того-то момента и повернули мы... к белым, волей-неволей, а служили не тому богу.

И получилось, как в побывальщине старой: чем больше рубили, тем гуще вставала против нас сила нездешняя.

7

Лежал Влас на кровати, на мягкой перине, укрывшись до ключиц лоскутным, на шерсти, Олениным одеялом.

Обрек Оиену на вдовство, а жалко... Неплохая она баба, только со свистком, да ведь у каждого человека есть при себе какая-нибудь свистулька. Тем-то, может быть, и красен, уманчив человек.

В полночь мать зажгла лампаду перед образами и, опустившись на колени, стала молиться. Слабый свет размывал тьму на желто-восковых сосновых стенах. Окна, закрытые ставнями, оттаивали сверху, в проталинке мягко бился размочаленный конец веревки, и сидевший на лавке кот все ловчился накрыть лапой этот лохматый конец. Та старая кошка околела, видно оставив котенка в свою тигровую масть. На полатях индевела седая голова отца.

Сработал Влас кровать из разных обрезков березы, дуба, липы и даже ветлы, потому что в его руках каждое дерево, железка в дело просились. А вот и лишний затес на спинке - знать, на радостях, вырубая голубка, перетянул дрогнувшей рукой, и голубок откололся от доски, слетел на пол. Ладно обработал Влас стамеской впадинку. На нее клал, бывало, отяжеленную думами голову, вскоре наклевавшись горькой калины в семейной жизни с отчаюгой Фиеной. Поначалу он только улыбался на свою языкатую жену, обнимал за плечи, поворачивая лицом к себе: "Оиена Карповна, не сердитесь, ваша милость". Она вскидывала голову, как уросливая лошадь. Каждое утро начинали с матерью перебранкой, будто на узком переезде сцеплялись всеми колесами. И тошно становилось ему, и он проворил во двор к скотине. Там-то радовались его приходу животные... Но когда забрали его вместе с конем в армию, Оиена, ухватившись за стре"мя, плача и ругаясь, бежала аж до одинокой на выгоне ветлы-горемыки...

Влас сходил на кухню, впотьмах нашел кадку с водой и корец, не спеша тянул пахнувшую деревом холодную воду сквозь зубы. Так же вот давно когда-то, болея оспой, пил воду из этого с погнутыми краями ковша. Заразила его, знать, та самая девчонка Марька, за которую собирается свататься Автоном. Невтерпеж как хотелось оспенному чесаться, а мать спеленала руки за спиной. Развязался и до саднящей сласти, боясь испортить лицо, чесал не подряд, а кулигами. "На лице-то твоем горох молотили", дразнили ребятишки потом. Хромой учитель Парфил Васильевич сожалел, что Влас не подряд пошелушил чересчур уж лепной лик, потому что умные головы получаются у тех, у кого хари страховиднее. Тот учитель и вдохнул в него веру особенную,

святую судьбину русского крестьянина, кормильца суетного городского племени, хранителя благостной извечной тайны неподатливой жизнестойкости, мученика за прогрешения заносчивых содомогоморцев.

Ночь докоротал Влас, сунув голову под подушку, пахнувшую Оиеной.

Когда Кузьма на рассвете вышел на кухню, Влас уже умылся, причесался и, оживленный, с блестящими глазами, сидел за столом, разговаривая с матерью. Василиса пекла блины в жарко топившейся печи.

- Доброе утро, тятяша, с Новым тебя годом, - Влас вылез из-за стола, пожал руку отцу. - Садись со мной, мамака пышные блины напекла. Мастерица.

Отец внес с надворья мокрого дрожащего теленка. Положил его под нары на солому, обтер рукой слизь с ноздрей.

- Буян ты, Буян. Большой. Пестравка насилу разрешилась. Молозь бы сдоить надо.

- Садись за блины-то, хлопотун, - сказала мать.

Но Кузьма отнес Пестравке ведро теплых помоев, задал коням овса, потом, умывшпсь, сел за стол, на котором стояла тарелка пухлых ноздреватых блинов из пшеничнопшенной муки.

- Можа, выпьем? Ты на нее не гляди, ее бабье дело поплакать. А ты, Васена, знай подавай нам с жару, с пылу, в наши мужские дела не встревай.

Опершись на сковородник, Василиса с горьковатой улыбкой покачала головой.

"Первенец ты мой злосчастный, куда головушку прислонишь? Маялась я с тобой без отца, принял ты муки от рук своих и - чужих... - вспоминала Василиса, - наставила метины на тебя жизня, накидала в душу тяжелых камней. Господи, верни мне мое чадо..."

Вспоминалось, как грудью кормила, в школу возила на санях в бураны да морозы. И полный тихого веселья рос паренек, улыбка открытая не слетала с румяного лица.

Теперь посечен лик саблями, горе-злосчастье забелило сединой виски.

Из-за печи вылезла худенькая - из трех лучпн собранная - бабушка Домнушка в синей рубахе, присела рядом с Василисой за стол. Голова на тонкой, по-саксаульему гнутой шее тряслась, гаснущими глазами всматривалась старая во Власа.

- Василиса, что это за гость сидит у нас?

Кузьма повернулся к матери лицом, а Влас поразился мощности его шеи в глубоких морщинах, как у старого быка.

- Маманя, это не гость, а внук твой Влас.

- А ты чего лезешь не в свое дело? Василиса, пошто молчишь? Скажи, кем нам доводится этот Влас-то?

- Господь с тобой, матушка, ты чисто дпте малое.

Влас - мой первенец, твой старший внук.

- А разя его не прибрал господь?

Домнушка макнула блин в махотку с маслом да так и задремала, сникнув головой. Влас отнес ее за печь. А кажить, недавно тетешкала внука, а когда в школу пошел, сшила нарядную сумку с кармашками для пенала, чернильницы и еды.

Хоть и не знали мать с отцом, дальняя иль блпзкая дорога ждет сына, все же снаряжали его основательно:

шерстяные носки, валенки с высокими отвернутыми голенищами, полушубок черного дубления да ушанку из зайца. А еще на прощание мать повязала широкую шею шарфом козьего пуха и, застегнув верхнюю пуговицу, приболела лицом к его грудп, и, не подхвати ее Влас, она рухнула бы на пол.

Он оторвал от себя мать, посадил на скамейку, поцеловал высунувшуюся пз-за печи седую голову бабушки и, оглянувшись последний .раз на теленка, с усилием вставшего на дрожащие колени, вышел во двор. Эти-то дрожащие ноги и вылазившие нз орбит мокрые глаза теленка как-то очень больно растравили сердце Власа.

Перед тем как навсегда покинуть родное гнездо, Влас с фонарем обошел сарай, окликаемый петухом, прижался щекой к теплой морде состарившегося гнедого, на котором ездил под венец. Тогда гнедой был жеребцом, теперь утихомиренный кастрацией и летами мерин с неизбывной печалью в глазах. Потрепал холку гнедого, заглянул в колодезь, вдохнув поднимавшийся из воды пар, сел в сани.

Стройная игреняя матка со звездой на лбу, проворно перебирая по хрусткому снегу сухими в белых чулках ногами, вынесла их на улпцу. Мелькнула над головой старая двухскатная надворотшща, под которую когда-то взбирался Влас мальчонкой.

В тающей утренней роздымп шла навстречу Фиена, махая свекру рукой.

- Остановить? - спросил Кузьма сына.

- Гони!

Кузьма свернул в переулок, усеянный мерзлым пометом. Фпепа смотрела вслед, не понимая, на самом деле промчался свекор или поблазнплось ей с недосыпу-похмелья - всю-то ночь гуляла с молодухами.

У моста в морозном тумане, распахнув шубу, кривой Якутка долбил пешней окрайкп проруби. Запряженные в сани быки терпеливо ждали, когда он очистит прорубь и напоит их. Проезд

по мосту загораживал застрявший воз сена. Навстречу встал Якутка, тараща свой единственный глаз.

- Кузьма Даиплыч, пособи воз вывезти.

- Неколи!

Рискуя расшибить на льду кованную лишь на передок матку, Кузьма направил ее через речку мимо прорубы.

Соскочил с саней. Влажный пар обволок ноздри лошади, она захрапела, разъехалась было задними ногами, но тут же наддала вперед.

- Кого везешь? - кричал уже с того берега Якутка.

- Благочинный - тулуп овчинный!

Раскачивая сытый раздвоенный круп, игреняя набирала рыси по степной дороге. Пестрые куропатки вылетали на дорогу покормиться. Спозаранку облюбовавшая заиндевелый куст носатая ворона покаркала на проезжих, взлетала и кружила над подводой, путано махая старыми, будто продерганными крыльями до тех пор, пока кобыла не оставила на дороге паривший помет.

Кузьма сидел на козлах боком, смотрел то на дорогу, то на сына. Уж так ныло сердце, что и говорить не было сил.

- После свадьбы Автонома отслужите по мне панихиду. Похоронную я положил за божницу.

- Людей-то обманешь, Влас, а бога не обманешь.

- С богом-то жить можно, он незлопамятный, а вот люди... Вы там для отвода глаз потужите обо мне.

- Тужить не привыкать, сынок... За мои грехи наказывает бог моих детей...

У степного раздорожья Влас велел остановиться: одна дорога на станцию, другая - в совхоз.

- Знаю, грешат на меня. Но я отыщу погубителей Ильи Цевнева. Из-под земли достану. Приживусь где-то поблизости. Опасно, могут признать меня раньше времени, да ведь иного выхода нету. Батя, не кручинься, не терзайся. Я пока не помер... Жить дюже охота... А если придет мой час, повидаюсь с вами.

- А не хуже смерти твоя задумка?

Ветер гнал поземку, пересыпая дорогу, занося хвост лошади вправо. Борода Кузьмы смерзлась от слез.

Под вечер, с морозцем, низким под поземкой солнцем пришел Влас в контору совхоза. Взяли его кузнецом. Поселился в пустовавшей у оврага халупе, переклал печку и, согрев себе чай, подумал, что вот и началась новая жизнь с пристальной приглядкой к людям - тяжелое перелопачивание своего пройденного пути.

Домой Кузьма вернулся чернее земли, и казалось самому, будто душа закосматплась в тревоге и тоске. Бросил, не распрягая, среди двора игренюю и, войдя в дом, запричитал, обнимая Фиену, мывшую полы:

- Родная моя сношенька, горемычная голубушка...

Сказал мне служивый, наш Власушка...

Боль под сердцем выпрямила Фиену, с вехтя в руке косичкой стекала вода.

- Чего путляешь, батюшка?

- Влас-то наш, царствие ему небесное... погиб.

Фиена выронила вехоть.

В два голоса со свекровью заголосили они.

Приходили шабры, покачивая головами. Дотошным сердобольцам хотелось узнать подробности: в лоб или в сердце убили Власа? Чья пуля? А может, долго умирал, маялся, вспоминал отца с матерью, жену, шабров? Почему нет бумажки?

Но Кузьма помалкивал о похоронных бумагах, страшась их.

- Где тот служивый? - подступила Фиена к свекру. - Я сама поеду к нему, до всего дознаюсь. Последними муками голубя моего буду казниться до холодной могилки...

Автоном закрылся в горнице на крючок, широкой свинцово-тяжкой ладонью разгладил на своем письменном столе так долго летевшее горестное извещение о смерти старшего брата, перечитал много раз, снял копию. Командир эскадрона извещал несчастных родителей о геройской смерти красного конника Власа Кузьмича Чубарова, аж пять лет назад сложившего голову за рабоче-крестьянское счастье и Советскую власть.

Старшего брата Автоном помнил смутно, досадовал, что служил тот не в стопроцентной красной, а какой-то крестьянской, потом даже в белой армии, перешел дорогу ему. Ходил Автоном среды молодежи, как меченый баран в стороннем стаде, - ни свой, ни чужой. Нехотя, и то лишь благодаря Тимке Цевневу, приняли Автонома в комсомол. А дальше пути заказаны. Будь он несравнимо умнее самого Захара Острецова, председателем сельского Совета не поставят. Знать, не быть ему коренником - пристяжным подскакивай при Захаре. Корми их хлебом, а командовать будут они. А ведь даже неграмотный отец одно лето председательствовал: оценили красные его каторгу. Правда, потом сместили все за того же Власа.

В горнице при керосиновой лампе сели за поздний праздничный обед. Горе горем, а Кузьма поставил на стол бутылку водки. Василиса налила гусиной лапши в деревянную чашку, нарезала мясо на липовой доске, мосол положила перед любимым сыном.

- Ешь мосол, Автоном. Фиена, принеси студень.

Фпена запноходила, качая бедрами, в сени, неплотно прикрыв за собой дверь, - настораживала затаенная подавленность и зоркость стариков и Автонома.

- Какая там женитьба, если в доме Фиена? - услыхала она голос Автонома. - Вот ты, батя, с Библией не расстаешься, маманя слова ладом не скажет, да молодаято умрет у нас от скуки и страха.

- Чай, мы не звери... А Фиена не помеха - отделим, - сказал отец. - И Власушка такой наказ давал.

Фпена так швырнула на стол тарелку со студнем, что студень долго дрожал.

- Все секретничаете от меня, будто я помешаю сватам. Я бы белье пошила Автономше.

- Чай, невеста сошьет.

Кузьма налил водку. Все выпили, кроме Автопома.

Дружно ездили ложками в чашку. Лампа висела сбоку, и по деревянной стенке двигались тени рук, голов.

- Хочешь, Фиена, живи с нами, хочешь - иди к отцу.

Молодая, найдешь себе мужика, - сказала Василиса.

- Так я и ушла без всего! Чертомелила на вас семь лет. Без мужа пинка мне под зад?!

- Не сквернословь. С голыми руками тебя никто не отпускает. Разделим по совести. Без вымени овца - баран, корова - мясо, - сказал Кузьма.

Высохли слезы на каленом лице Фиены.

- Все пополам: лошадей, коров, овец. Избу мне поставите новую, расходилась Фиена перед Автономом, - иначе себя изведу, нагая пойду, а вас по миру пущу.

- Чужой бедой сыта не будешь, - сказал Кузьма.

- Не быть молодой снохе в доме, пока я тута! И зачем тебе хомут на шею надевать в молодые лета? Не мужик ты еще, хоть и заусатился. Погуляй, повольничай годика три. Книжки у тебя есть, блюсти чистоту буду я.

Умный же ты, зачем губишь себя?

Автоном молчал высокомерно, чуть приподняв черные крылья бровей.

- Игреняя, кажись, в охоте, надо сводить к совхозному производителю, напомнил ему отец. - Хорошей орловской породы.

- Пусть холостякует игреняя, не надо мне приплода, с этими измаялся, угрюмо сказал Автоном.

Фиена на скорую руку убрала посуду, зато усердно мыла лицо и шею духовитым мылом, которое всякий раз прятала

вместе с рушником в свой сундук под замок.

У зеркала натерла помадой желтоватые, с вмятиной щеки, подрумянила тонкие губы, подравняла в струнку брови.

- Пора бы прижать хвост.

- Не замай, Василиса, погуляет сношенька. Обезголосится с годами, успеет, - сказал Кузьма.

Фиена упала в ноги свекрови и свекру:

- Матушка и батюшка, простите меня.

Перецеловала их и стриганула на волю.

- Киргизуха шустрая. На мылах и духах хозяйство проживет.

- А зачем оно, хозяйство-то нынче? Кто с землей в ладу - дурак для всех, - сказал Автоном. - Эх, брошу вас, уйду в совхоз рабочим.

- Как раскалякался! Можешь и ты отделиться. Мы, старики, проживем, обидчиво выговорил Кузьма.

- Кормилец ты мой, - вперекор отцу сказала мать, целуя вспотевший лоб Автонома. - Замаялся на работе, погуляй. Положила расходные в карман...

- Батя ныне я не работник, - говорил Автоном, нагребая в карманы полушубка каленные на листу таквенные семечки.

Кузьма вызволил из запечья Домнушку, причесал, облагообразил, поставил коленями на подушку перед иконами, нацелив меркнувшим взором на глазастый лик Николая Чудотворца. По бокам старухи встали коленями на рассыпанные гвозди Василиса и Кузьма.

- Пресвятая матп богородица, сотвори свою святую волю, - страстным шепотом просила Василиса, подымая тоскующие глаза.

Кузьма чуть позади ее стучал лбом в половицу, каялся с простодушной доверчивостью:

- Прости, владыко, значит, двоедушие наше. Влас-то, осподи, не помер, в полной силе и дерзости младой, а мы отпевать должны. - И вдруг ему представился гроб, и в том гробу Влас, и он, скрипя зубами, осерчал на себя. - Да что я богу-то докучаю? Только и призываю его в тошный час, а полегчает - опять за свои грехи прпмаюсь.

На улице взгорячилась тальянка, с развеселым озорством затянул молодецкий голос Автонома:

Эй ты, милка моя,

Очень интересная:

Целый год со мной жила,

Замуж вышла честная.

- Покарай за двоедушие меня, а Власа пожалей, осподи, - с отцовским самопожертвованием отдавал себя Кузьма на суд

божий.

Отнес за печь сомлевшую в молении мать. Полегче стало душе, очищенной покорностью. Лишь робел перед жениной выносливостью в покаяниях и докуках богу. "Ей не откажет, она уж если начнет просить, своего добьет- | ся"!

Кузьма сказал, что не будет он в помирушкп шутить.

Одни пошутили, наряжаясь шайтанами, чтоб пугать ночами, да так и прнросла к их телам вывернутая овчина.

Бабенка захотела мужика своего пострашать, легла под святыми, мертвой прикинулась - не встала, только кровинка выступила на губах. А еще на съезжем дворе в Шарлыке шутили извозчики; один положил голову на чурбак: мол, рубани. А другой тихохонько ладонью тюкнул по шее. Дух отдал озорник-то.

- Делай, что велят тебе. Господь смилостивится. Поменьше думай, тогда умнее у тебя получается, - сказала Василиса.

Кузьма расчесал волосы кленовым гребнем, отправился к батюшке отцу Михаилу.

9

У отца Михаила уже неделю гостил родной брат, священник большого прихода на реке Ток. Намучился с ним отец Михаил беспредельно. Брат Яков оставил приход, попадью-старуху, приехал с молодой, коротко стриженной вдовой. В санях кроме пожитков привез ведерную бутыль самогонки и вот уже седьмой день причащался этим зельем и спорил со старшим братом. Был Яков когда-то покладистым, с едва уловимой озоринкой в быстром, переметчивом уме. Начитавшись дарвинистских книг, Яков разуверился в Священном писании, забыл положить душу свою за други своя. Отрешившись от страха божьего и проникнувшись учением о том, что все в мире вообще и в личной жизни в частности свершается по неизбежным историческим законам, на которые воля человека не может оказать никакого действия, Яков, по мнению брата, утратил всякое разумное руководство поступками и чувствами.

Озоруя, выдумывал имена чудные новорожденным. Неваданная засуха осмертила минувшим летом затоцкпе степи.

Пересыхали родники в оврагах, мелели колодцы. Через силу вышел Яков с молебствием на поля. Посмотрел, как дрожали в слезной молитве потрескавшиеся губы мужиков ы баб, и вдруг затосковал до ломоты в сердце. Спросил псаломщика, нет ли испить. "Намочи перст свой и коснись языка моего". Перепутал псаломщик или решил окончательно уронить Якова в глазах мирян, но только подсунул он батюшке баклагу с огненной жидкостью. Всю ее, теплую, жгущую, вылил Яков в себя, потом

поглядел в невинные глаза псаломщика.

- Просвиру хоть дай на закусь, холера тонкогласая!

Распахнув ризу, в миткалевых брючишках и нательной рубахе справлял службу, втайне гордясь, что у мужиков нет такого белья. И когда черпая с белым подбоем трехъярусная туча, опережая свою тень, встала над иссыхающими хлебами, над скорбными, с запрокинутыми к небу лицами молельщиков, отец Яков требовательно возопил к богу о благодати. Слова молитвы вперебивку шли со словами ропота. Размахивая кадилом, побежал за уходящей тучевой тенью, со слезами самоунижения и злобы прося ее остановиться, пролить спасительную влагу на нивы. И вдруг на жаркое лицо упала капля, еще капля.

И вот уже, пронзаемые серебристыми стрелами дождя, люди ликовали. Шли в село босиком, месили теплую грязь, и земля смыкала трещины-губы, пахла воскресшими для жизни хлебами. Яков не дошел до дома, от подсобы отказался. Лежал лицом к грозовому небу, готовый к свершению над ним кары. Уверял он потом брата, что всю ночь сек его дождь крупный, яко воловье око.

Жизнь без разумного руководства, направляемая одними эгоистическими желаниями, заполнила его сердце тоскливым недовольством самим собой, отвращением к людям. И он бросил дом под железной крышей, сад у речки, мостки, с которых, бывало, рано поутру сазаном-склкзаком метался в паривший омуток. "Попадья померла - поп в игумены, поп помер - попадья по гумнам, - такими словами встретил его старший брат. - Да и без попа, что без соли".

- Хороша у тебя семья, - сказал Яков. - Горд тобой и завистлив к тебе.

И хоть говорят: поповы детки, что голубые кони, - редко удаются, у отца Михаила сыновья получились толковые. Самый старший был врачом, два других учительствовали.

Михаил, стыдясь за брата перед женой, удерживал его в отведенной ему комнате.

За любовную связь Якова лишили сана, ее разжаловали из женделегаток.

Покашливая, Михаил терпеливо разъяснял брату, что разум без веры приведет к отчаянию и отрицанию жизни.

Оглянись на живущее человечество, убедишься, что это отчаяние не есть общий удел людей. Люди жили и живут верою. Из веры нужно выводить смысл жизни, который и дает силы спокойно и радостно жить, а также и умирать.

Беда ж тому, кто делает дела свои во мраке. У такого народа мудрость мудрецов пропадет и разум его разумников померкнет.

Отец Михаил остановился, увидев в окно, как Кузьма Чуба ров помогал работнику протолкнуть застрявший в воротах воз сена, напирая спиной. На крыльце Кузьма долго стряхивал иней со своей гривы, снимал былинки сена.

- Диковинный человек идет ко мне. Посозерцай, Яков, его, - сказал Михаил.

Яков тем временем раскидал по столу старые журналы с картинками женские фигурки. Подмывало его озорничать. Вытащил за руку из комнаты-боковушки СБОЮ подругу в тутом джемпере, короткой юбке и сафьяновых зеленых сапожках на высоком каблуке.

- Тут, матушка Калерия Фирсовна, такое прозвание, что с морозу и не выговоришь, - замялся Кузьма у порога перед попадьей. Как на грех, при виде сдобной матушки вспомнились складные стишки меньшего брата Егора:

Конопля у нас кудласта,
А погода ведренна.
Попадья у нас титяста,
Лопушиста, бедренна.

- Осподи, грех-то какой, - набожно вздохнул Кузьма, скользя взглядом по выкрутившимся грудям попадьи.

Он поклонился Якову, которого знавал ц прежде, повернулся к подруге его и замер в полупоклоне перед ее стриженой рыжеватой головой. Увидев на столе журналы с изображением гладких статных голых баб, растерялся, но встретился с набожным взглядом Якова, перекрестился, кланяясь, решив, что это ангелы, у которых еще не успели по малолетству отрасти крылья.

Батюшка велел Кузьме сесть за стол, убрав журналы, поставил две рюмки и бутылку самодельной медовухи, положил перед собой руки с избитыми пальцами, со следами от дратвы, - видно, чинил недавно обувь.

- Кузьма Данплыч, выпей с моим меньшим.

Крупнопалой, напухшей от гулянки рукой Яков налил вино. Розово-воспаленное лицо его расползалось, наплывали веки на глаза цвета снятого молока.

- Бывают, бывают жестокие отцы! - резко сказал Яков, продолжая спор с братом. - Христос-то не превратил камни в хлебы. А ведь голодали!

- Христос был великий характер. Голос плоти искусил его в пустыне: если ты сын всемогущего, то преврати камни в хлебы. Но он победил плоть. Ибо не хлебом единым жив человек, а духом. Пищу же ест и зверь, души не имея.

- Ну и зря не дал хлебы сын божий. Если овца завалится, ее

надо спасать. А человек разве хуже овцы? Доброе надо делать всегда, и в субботу.

Яков еще по рюмке налил. Напало на него желание проповедовать, и начал он, перегибаясь через стол, учить Кузьму: плотское не может осквернить человека, потому что входит к нему не в душу, а в брюхо.

- В брюхо входит и потом выходит вон! Только то может осквернить, что из души выходит. А что из души выходит? Злоба, корысть, зависть, гордость, обман, похабство, - загибал своп припухшие пальцы Яков. - Убийство! Всякая дурь.

Кузьма так потерялся, что индо пот прошиб. "Осподи, да ведь он ночевал будто в душе-то моей, весь обман как на ладони. Не зря толкуют, что поп скрозь каменную стену сглазит".

- А вы, гражданка баба, опосля тифу, что ли, обстриглись? - спросил Кузьма женщину, чтобы поубавить атакующий натиск Якова. Он сразу же заметил по взглядам, что вяжет этих людей, как и всех греховных, утеха люСовная.

Женщина, наклонив лицо, чуть исподлобья - ни дать пи взять пятнадцатилетняя отроковица - поглядела на Кузьму с непорочной чистотой.

- Родненький мой, дедуня, - с сиротской почтительностью молвила, касаясь пальчиками руки Кузьмы, - миллион лет толкуют, что у бабы волос длинный, а ум короткий.

- Верно говорят, доченька. Кто бабе поверит, долго не проживет.

- Решилась я перейти черту запретную, укоротила волосы, чтоб ум удлинился. - Она скрестила руки на груди, с подзуживающей ухмылочкой уставилась черными глазищами в глаза Кузьме.

Сам себя не разумел Кузьма, что с ним делалось в те минуты, будто чудом какпм-то сравнялся летами с этой брызжущей задором, затаенным умом и лаской.

- Смелая, рисковая, - сказал он, веселея, - а ум-то прибавился?

- Как-нибудь по весне продолжим разговор, отец, в лесочке, на майской траве. Смышленый ты старичок.

- Спасибо хоть за насмешку, - чуть не со слезой поблагодарил Кузьма.

Она аж привстала, тронутая такой задушевностью.

- Я найду тебя, дядя.

- Ты с ним не балуй, Надюха, старик - бывший каторжанин, - тихо предостерег Яков свою подругу с неожиданной трезвой рассудительностью. И будто в костер плеснул керосину - так и воспламенилась баба:

- А глаза-то детские, как у осиротевшего кукленка.

Раз только мелькнуло что-то страшное...

Отец Михаил потянул Кузьму за рукав на кухню.

- Батюшка, кто эта женщина будет?

- Ненастьева Надежда. Плывет по реке, не знает, какому берегу душу доверить, - недовольно сказал отец Михаил. - Горе ли, радость ли привела тебя ко мне?

- Все вместе, батюшка, горько-сладко, как в нашей христьянской жизни заведено богом. Меньшаку жениться подошла пора - радость нам, старикам. А большак, Власто, погиб. Долго вестей не было, а днями как обухом промеж ушей: сбелосветился.

- Кузьма Данплыч, кто легко верит, легко и пропадет.

Своей ли смертью?

- Под левую сиську пулей. Не отпевали, душа какой год мается перед вратами царскими. Панихиду бы надо.

Вот и похоронная, батюшка.

- Не ропщи, не сетуй. Одному богу известно, хорошо ли, плохо ли случилось это. Круговорот жизни. Объемистого ума человек давно сказал: смерть и рождение - вечное море. Где же нам, зеленой обыкновенности, отделить капли жизни от каплей смерти в мировом-то океане? Где кончается цвет жизни и где начинается опадь?

Батюшка полюбопытствовал у старика, какие приметы на урожай - посеял десятину ржи, распахал ковыльной залежи под зябь десятины две, намереваясь весной засеять сильной пшеницей, семена которой выпросил у Автопома, слывшего в округе культурным землеробом несмотря на свою молодость.

- Как же с Автономом быть? Не грех сразу после панихиды по старшому женить меньшого?

- За давностью лет допустимо. Сорокоуст отслужить надобно по Власу. Не велю вам, родители, выказывать горе, вдаваться в тоску безмерную. Юн Автоном летами, да разумом зрелый, нрава не шаткого, только веры нет в нем.

Батюшка любил бывать на крестинах, свадьбах и - насколько возможно избегал поминки. Заблестел глазами, расспрашивая Кузьму, кто втянется в свадьбу помимо родных жениха и невесты.

- Свадьба раз в жизни. Бывало, веселились по две недели. Как дети, чистосердечно играли. Теперь грозы опалили цветение. Суровая и черствая жизнь наступает.

Но и она от бога.

- Может, за помни Власа теленка пожертвовать?

- Бог не нарадуется нашим жертвам, по радуется нашей любви. Зайди к Острецову в сельский Совет.

10

В сельский Совет зашел Кузьма спозаранку, чтобы с глазу на глаз потолковать с Захаром Острецовым. Но там уже гостевал, распустив уши малахая, Степан Лежачий, свертывая цигарку на дармовщинку, Острецов небрежно протянул ему кисет, пе глядя на него.

- Раньше твоего, Степан Авдеич, никто не заглядывает сюда, - сказал Кузьма. - Не ночуешь ли тут случаем?

- Ночую, ну и что? - задвигал Степан серыми небритыми челюстями. Сельсовет для меня роднее дома.

Некоторые сожгли бы его, да побаиваются.

- А я и пришел запалить, да ты тут окарауливаешь.

- Я не про тебя, а про темные силы заявляю. - Лежачий повел глазами в угол: там смурел известный на всю округу сквернослов Потягов Пван-да-Марья, роясь в редкой бороденке.

- Сквернословил ты, Пван-да-Марья, на спектакле.

Плати штраф. Сгодится на клуб. Каждым матюком укорачиваешь дни своей темноты, укрепляешь материальную базу культуры, - сказал Захар Острецов.

- Где же я возьму тебе трешницу, Захар Осипович?

- Вези брусья сосновые. Пол переберем в клубе, - посоветовал Острецов, не отрываясь от счетов.

- Брусья стоят рублей пять. Сдачу давай. А нет, буду материться на всю пятерку. В бога, Христа...

- Эта ругачка бедных. Ты позорь себя своей кулацкой бранью.

- Эх вы, бледные хари! Щенные брюхи! Пустолай вам на закуску! Мало?

- Задница у тебя в пуху. Помнишь, заместо седел подушки чересседельником подвязывали?

- Ты законы блюди. Не больно-то много тебя в земле, весь наруже. Один, что ли, я был? Влас Чубаров... да мало ли куда заманивали русского человека. Ленин декретом снял вину, а ты все глаза тычешь. Блюди закон сказано тебе, распротак тебя, разэдак!

- Все законы от Древнего Рима до наших дней я знаю. Распишись в акте, Матюк ты Сквернослович. Другой раз некультурнее заворачивай.

Потягов чуть не весь листок прикрыл огромной рукой, расписываясь.

- Бери трешницу, а брусья еще сгодятся... на столбы да перекладину... Он запахнул полушубок, ненароком выбив цигарку из зубов Лежачего, рассыпая искры на его заплатанные штаны. В дверях замешкался, подыскивая ругачку покрепче. - Хавос у вас! - сказал зловеще, вращая глазами.

- А ну вернись, Потягов!

- Ага, пронял до печенок!

- За эту невиданную брань накажу теия. Поезжай на мелышцу общественную, свези мешок муки вдове Олешковой. Потянул ты у погибших в голодуху кое-какое добро. Добавь к тому мешку пшеницы своей.

Тут уж Потягов не мог перечить Острецову: голодной зимой общественную столовую схлопотал Захар, супом доволпл совсем ослабевших. Сам опухший, лишней ложки не хлебнул, как и приставленный им поваром Максим Отчев - тот даже пробу снимать стеснялся.

Кузьма маялся, покашливая, - Степан Лежачий уже раздул новую самокрутку, дымя в обе ноздри.

- Степан Авдеич, пожалуйста, порадуй вот этой бумажкой Тютюя, не вывез он хлеба, меднолобый, - сказал Острецов.

Лежачий нехотя пошаркал валенками, пз запятникоз которых торчала солома.

- Кулак этот Тюткш, двумя руками не обхватишь...

- Вот и придавим его.

Когда мелькнула мимо окна согбенная на ветру фигура Степана, Острецов, прихрамывая на обе ноги, заходил по кабинету, разминая новые белые бурки.

- На ноги сел, Захарпй? Будто опоенная пли ячменем обкормленная коняга, - соболезновал Кузьма.

- Тебе хорошо, Кузьма Данилыч, ты всю жизнь, говорят, сапог не надевал.

- Сапожник отучил. Сшил он мне перед женитьбой вечные сапоги, потому что носить их нельзя - уж так щекотят пятки. Кто ни наденет, катается со смеху. Разбирает охота плясать, взвиваться до небушка. Спроси хоть у моих братьев, Егорпя и Ермолая. А секрет простой - вставил сапожник в каблуки две щетинки - вот они и щекотят до слезного хохота.

Захар внимательно посмотрел умными круглыми глазами на бороду Кузьмы.

- Тебя даже те сапогп с хохотунчиком не развеселят... Заковыристая жизнь, все-таки Влас иоумнел хоть перед концом своим... Жалко мне Власа...

- Давно я оплакал Власа. Помянуть бы надо...

Всю ночь в горнице Чубаровых поминал Захар своего молочного брата. Пил он с Фленой, Кузьма больше подливал, Автоном же лишь изредка отрывался от книг, поворачивался смурным лицом к гулявшим.

Захар советовал сыграть сразу две свадьбы: женить Автонома и выдать Фнену. Подперев могучий, с коротким начесом лоб

узкой писарской ладонью, он вдруг спросил, а почему бы Фнене не выйти за Автонома? Марька безусловно и категорически хороша, но ведь... от добра не ищут добра, Фпена прижилась к дому.

- А не грех? - простодушно осведомилась Фпена. - Ты знаешь все законы, Захар свет Осипович.

- Бывает, на сестрах двоюродных женятся, - сказал Захар, не замечая почерневших глаз Автонома. Автоном резко встал и вышел, сутулясь зверовато.

Кузьма надел на плечи Острецова бекешу Власа, форсисто посадил на голову папаху:

- Вот кому идет одежда героя нашего!

Фиена со слезами так и замерла на груди Захара. Сопровождаемый несчастной вдовой, Острецов в этой новой одежде вернулся в свою хатенку.

Всю-то ночь Автоном не спал, а с рассветом взялся за работу по двору. Мать не могла дозваться к завтраку.

- Пироженчики остывают, сынок.

"У меня вот где стынет, как вода в проруби", - прижав ладонь к груди, чуть было не сказал матери, да пощадил ее, только жалостно смотрел, как на обреченную, чувствуя закружившую беду над головой.

11

К свадьбе Автонома решили попросить денег у Домвушки. Держала она в молодости четырех коров и все масло вознла на базар. Продавала мед, яйца и тканные и беленные ее неустающнми руками холсты. За многие годы накопила кубышку золотых. А когда умер отец - мельник, она, единственная наследница, за трпста золотых уступила мельнпцу мещанину. В свое время думала поставить на ноги старшего сына Кузьму, но он попал в каторгу, а после стал чураться денег. Ушла ко второму сыну Ермолаю, но тот не угодил ей, попросил золотые на лавочку. Осенней ночью не сомкнула глаз, блазнилось ей, как Ермолай и жена его Прасковья крадутся к постели за золотыми. Тихонько выбралась из дома, под ветром и дождем, потеряв в грязи башмаки, добралась до Кузьмы.

Взгально застучала посошком по закрытой на болты ставне. С тех пор прятала золотые в самых немыслимых местах, иногда неделями не могла вспомнить, куда засунула узелки. Однажды Кузьма отвез навоз за село на преющий круг, завел лошадь под лопас, а там матушка ползает по скотиньей подстилке.

- Маманя, не поясница отбилась?

- Кузюшка, родненький, ты деньги не брал?

Убежденный, что мать отдала золотые Ермолаю, Кузьма

расстраивался всякий раз, как только заговаривали о деньгах. Если пришла к нему помирать, так жила бы молча. А то опять о каких-то деньгах, тем более о золотых, которых Кузьма после каторги боялся, как скорбиопа. Мать заохала, заплакала, вороша солому.

- Куда девала-то, маманя?

- Да вот тута на карде, под коровий котях узелок один сунула.

- Вовсе разумок-то похитнулся. Когда спрятала?

- Вчерась, кормилец мой.

- Два раза уж я счищал навоз.

- Господи! И не видал?

- Да кто же ищет золото в коровьих котяхах?

Домнушка так и присела посередь карды.

Кузьма перерыл тогда полкруга, рискуя остудить хорошо запревший навоз, - не нашел. Весной бабы, делая кизяки, пропускали меж пальцев навозное тесто в напрасной надежде нащупать рубли, потом всю зиму, растапливая печь, заглядывали в каждый разрубленный кизяк, а золу просеивали через решето - не нашли золота.

Молва ходила о богатстве Домнушки. Шинкарка Мавра Кошкина, толстомордая, с большой головой и телом подростка, и решительная, с прогонной фигурой Родиха решили удоволить Домнушку, истопили баньку для нее.

До смерти любила попариться бабка. Жилистая Родиха подсадила на полок старуху, наддала пару ц давай пороть наотмашку горячим березовым веником усохший до фасолинок зад, спину и голени. Сладостно, с сипотой охала Домнушка, будто от века зашелудивела и не парилась отродясь. Тем временем большеголовая Мавра, по-мышьему проворная, обшарила бельишко, шерстяные чулки бабки.

И не ошиблась: к станине рубахи был подшит пояс с золотыми. Оттого-то старуха годами и не меняла эту рубаху.

Мавра влезла в баню, нервно трясясь, плеснула из ведра на черную каменку. Обжигающий пар кинул на пол Родиху и Мавру. Жалобно, по-заячьи, запищала Домнушка на полке:

- Горю!

Родиха надела рукавпцы, голову и лицо обмотала платком и с еще большим рвением принялась стегать сомлевшую, едва лп не бездыханную Домну Дормидонтовну.

- Умру, - едва расслышали в адском пекле.

Они бы запарплн ее до смерти, если Оы не пресекла молодайка Фиена, только первый год жившая у Чубаровых, но горячо интересовавшаяся "золотым делом". Она видела, как

злодейки увели старуху в баню.

- Объегорят неразумную, - сказала Фпена Василисе.

Гордая свекровь презрительно выдохнула, раздувая царственный нос. Фпена пыталась настропалпть свекра, но Кузьма коротко ответил, что бог с ней, для него деньги - хуже лпхоманкп-потрясучкп.

Фпена не такая гордая, как свекровь, не такая дура, кик свекор.

- Мне-то что? Мое дело сторона, - сказала она.

Надела шубу распашистую, будто к отцу пошла, а потом уж не дорогой, а задами, снежной целиной, утопая выше колен, обдирая кожу об остекленевший мартовский наст, добралась до бани. В предбаннике услыхала спокойные голоса, доносившиеся из бани, и мокрое шлепание веника по телу. Лишь вторым рызком на себя распахнула забухшую дверь, влетела в горячий парной мрак, где тола бабка. Но Домаха блаженствовала на полу, потому что мыли ее тепленькой водой четыре заботливые руки. Фпена схватила тонкую скользкую Родиху поперек, согнув ее вдвое, вытолкнула в предбанник.

- Кипятком ее, Мавруша! - кричала Родиха, стоя одной ногой в предбаннике, другую просунув в баню.

Но кипятком овладела Фпена. Всего один ковш понадобился ей, чтобы выгнать баб на снег.

- Лпхопмцы, верните ворованное, а то выцарапаю али выварю ваши бесстыжие зенки, - спокойно и деловито сказала Фпена. Она перетряхнула пх сальные, пропахшие потом рубахи, но денег не нашла. Бабы дрогли нагишом на холоду, нимало не беспокоясь - деньги уже передали мужьям, курившим за баней.

- Не отдадите половину, укатаю на каторгу.

- Окстись, помраченная!

Фиена кинулась к старосте Ермолаю. Тот с понятыми отобрал деньги у продувных баб. взял их себе на сбережение с процентами, пустил в оборот в своей лавке. Матера Домнушке оказывал уважение, посылал к праздникам конфеты, от которых млела старая сластена.

Кузьма никогда не просил у матери денег. На этот раз по случаю женитьбы Автонома он наклонился к запечью:

- Маманя, внука твоего меньшого женим.

- Пора уж? Годы-то летят, чистые гуси-лебеди. А меня-то все еще не прибрал господь. Прогневила, знать, милосердного. Автономша мой любимый внук, молчун синеокий. Дожила до свадьбы я. Сведи, Кузя, меня к Ермолаю, попрошу расчет.

Кузьма отнекивался.

- Я не то что говорить, до ветру рядом не присяду с коротким

барином. Безобразен он в человеках. Зависть допрежь его родилась в нем. Чужим здоровьем болен. Сохнет, глядя на людей. Все кажется ему: у других и шило бреет, а у него и ножи неймут.

- Как хочешь. Не поклонишься до земли, гриба не подымешь.

- Я провожу тебя, бабушка! - подскочила Фиена, выглядывая из горницы.

Одели Домнушку в прокатанную рубелем льняную рубаху, юбку шерстяную и кофту вязаную, достали из сундука присыпанную табаком, крытую черным сукном шубу полувековой давности. И вот она, накинув сверху платокшаль, тыча ореховой палкой, вышла во двор, ведомая под руку Фиеной, складно семенившей под шаркающий шаг старухи. И хоть двухэтажный, под железной крышей дом Ермолая стоял по соседству, Фиена уломала Автонома подвезти их на санях.

Когда-то между ними дышали теплом два дома, но в голод хозяева вымерли, и Ермолаи разбил сад на унавоженном подворье.

Автоном, насупившись, подвез бабку и сноху в кормо ЕОЗНОП кошевке, высадил у парадного крыльца и поехал ва гумно за мякиной. У Автонома были свои причины повыше держать голову перед домом дяди Ермолая. Временами завидовал его крепкому хозяйству, но чаще ненавидел дядю, проклиная свое родство с ним, бросившее черную, как позорящий мазок дегтя по воротам, тень на всю судьбу его, Автонома. Одну школу окончил Автоном с дочерью дядп - Люсей, да так и завяз в навозе, а она закругляет образование в педагогическом техникуме, хотя он же натаскивал ее по математике и обществоведению перед экзаменами в техникум. Любое дополнительное обложение Ермолая Данплыча Автопом поддерживал в сельском Совете с пенреклонностыо, устрашающей даже самого Захара Острецова.

Ермолай, сияя благообразной лысиной в рыжеватом окладе уцелевших на висках и затылке волос, вышел навстречу мамане в высоких чесанках. Был он в мать рыжеват и суетлив.

- Милости просим в горницу, маманя Домна Дормидонтовна, там теплее и уединеннее, - сыпал он скороговоркой, опасливо косясь на Фиену.

А та, сдвинув с головы на плечи шаль, угнездилась между фикусами, вымахавшими до потолка, вертела головой, оценивающе оглядывала шкафы, убранство. Ее не смущало, что хозяйка принесла на подносе чашки чая для Ермолая и Домны Дормидонтовны, поставила конфет и чернослив. Ермолай покряхтывал, краснея, потирая руки.

- Шла бы ты, Фиена Карповна, по своим делам, мы без тебя, бабонька, управимся. А маманю я сам доведу домой. А не то

поживет у нас, коль заохотится.

- Нечего вилять, при мне толкуйте. Я не чужая. Ты, Ермолай Данилыч, чай, знаешь: сколь дерево ни гни к земле, растет оно вверх. - Фиена завлекательно улыбнулась. - Правой рукой твоей буду, Дапплыч. - Она взяла двумя пальцами конфетку, заложила за щеку.

"Не своротить тугорылую, - подумал Ермолай, - где сам сатана не осилит, туда непременно командирует бабу".

- Никак внука Автономушку собрались женить, маманя родная? Расходы нужны, знаю. И моя дочка Люся по-невестенскн забродила. А вить девичьих прихотей на воз не покладешь.

- Вызрел внук-то Автономша, пора жить в законе, Ермолай Данилыч. Много ли еще денег осталось?

- Мало, маманя. Желтенькие-то еще есть, да ведь как их на бумажные обменять нынче? Скоро золотце цену потеряет напрочь. Отхожие места собираются товарищи делать из золота. Так и сам Владимир Ильич сказал. Ну, подсчитаем... В прошлом году брали...

- Фиена, выйди, настыра. - Домнушка стукнула невозмутимую палкой по ноге. - Гляди, огневаюсь...

Фиена вышла за дверь, прислушалась. Благочестивый тек голос Ермолая, согласно поддакивала Домнушка.

Взъярилась Фпена, резко распахнула дверь.

Домнушка сняла, держа в руках кулек с конфетами.

Из люка в полу высовывалась квадратная голова работника Якутки с немигающим левым глазом. Ермолай отдавал ему приказания:

- Пуд свежей рыбы, десять фунтов пряников, ведро, пет, два ведра водки. Отвези все это Кузьме Данплычу.

Бить племянник мой женится.

Голова работника исчезла, и Ермолай закрыл люк, застелил половиком.

- Теперь уже все, маманя, квиты. А погулять-то мне на свадьбе страсть бы как хотелось. Чай, не побрезгует братик Кузьма моей компанией?

- И это вся небесная манна? - спросила Фиена. - Подбрось хоть ситцу на полога для кровати.

- Разорить меня удумали?

- Бесстыжий ты, Ермолай Данилыч. Тебе хоть помочись в глаза, ты все говоришь - божья роса.

Ермолай спустился с Фпеной в лавку. У прилавка горюнилась вдова Ветрова, вздыхала по-козьему.

- Аль зубы ломит, Феодосия? - участливо осведомился Ермолай. - Если должок принесла, сердешная, не стесняйся,

давай.

- Мамака опосля лихоманки... вынь да положь селедку... Я уж отработаю, Ермолай Данилыч, на огороде аль капустку пособлю рубить.

- И что мне делать с вами? Как обернуться? Ладно, возьми сама в бочонке парочку селедок. С солонннкн-то глядишь, оклемается матушка, плясать пойдет. С хозяйкой рассчитаешься - пособи картошку в погребе перебрать. Да, вот еще пряников на закуску к чаю прихвати.

Дал бы кулек, да работник сожрал дорогой. Как мальчишка, со снегом пополам жевал...

Отмахал Ермолай несколько метров батиста на платье Фиене, ситцу на рубаху Кузьме.

Кузьма был рад подарку.

- Ладно, хоть это дал, спасибо ему. Другой бы на порог не пустил нашего брата. А тут столько рыбы, до петровок будешь запивать.

Разваливая по столу цветастый азиатский батист, Фиена хвасталась:

- Я распатронила короткого барина. Взяла за хрип, не вывернулся. Она-то, несмышленка, растаяла вся, как дал он ей конфетку.

На совет пришел меньшой брат Кузьмы Егор с женой Настей. Выравнивался Егору шестой десяток, он только сединой пожиже в бороде и отличался от старшего брата.

- Подумакпваем послать сватов к Отчеву Максиму Семеновичу, - сказал Кузьма, давя табуретку в переднем углу за столом. - Так, что ли, матушка? - почтительно обратился к Василисе, скрестившей на груди полные руки.

- Запасные хода надо придумать на случай, если не отдадут Марьку, к другой постучимся. Жениху пути не заказаны, - сказала Василиса. - Грппку Горячкнну спробовать: богатые! А Отчев может заартачиться: коммунист, захочет ли родниться с нами?

- У этого коммуниста пять девчонок, одна другой на пятки наступает. Солить, что ли, невест. Отдадут, - возразил Кузьма. - Правда, на уме у Максюты не ночевали.

Как-то спрашиваю: что же ты - партиец, а не богаче меня, а? Вот и врешь, отвечает, богаче. Да чем же? Идеей...

Сговоримся, не тычет он в глаза своей идейностью.

- Жених-то что думает? Он вроде главный в этом деле? - сказал Егор. - С энтой перестал стоять: с Люськойто? Правда, гусь свинье не пара... Но ватажились они летось, когда дочка Ермолая, братца нашего, нагуливалась на каникулах...

Василиса решительным взмахом руки остановила Егора:

- Несешь абы чего! Чай, они двоюродные.

Вошел Автоном, в подшитых валенках, понизу почерневших от навоза, в полушубке. На спине и шее мякина.

- Марьку порешили сватать, - сказал Кузьма. - Как твои думки?

Бывало, зпмнпмп вечерами Автоном занимался с мужиками по агрономии на квартире общительного и веселого Отчева. Мужики слушали с теплым усмешливым вниманием, собирались с весны начать севообороты по-новому.

Как нп ждал он выезда на поля, все же проглядел. Еще вчера были в селе, и, казалось, никто не готов к полевым работам, а сегодня все бороновали и сеяли по-старому.

Он, отработав упряжку, поставив коней к корму, устало ходил от загона к загону, крестьяне приветливо звали иа кашу, но учение его, казалось, забыли, как пустяшное сновидение. "Вот если бы ты мог, Автономша, налоги скостить, это да!" И Автоном огорчился тому, что пришлось махнуть рукой на несерьезных хлеборобов и забыть дорогу к Отчеву. Но о Марьке думал с чувством снисходительной ласки и насмешки над ее старомодной религиозностью. И представлялась ему тогда свинцово укатанная дорога брички и телеги с золотым зерном, а над конями и быками, над полем с сметами и бахчами, пригретыми ласковым, поостывшим к бабьему лету солнцем, вяжет синева серебристо-шелковые паутпны. И сам он где-то тут, не то на бричке развалился, облокотившись на мешок с пшеницей, не то закругляет на гумне ворох мякины, а может, подвалил к зиме кабана и вместе со своей женой-степнячкой палит его на костре, предусмотрительно выщипав щетину сгодптся зимой наострить концы дратвы, чтобы шла вслед за шилом в сапог или валенок...

- Уломал девку - половину дела сделал. Ну, как она брыкается?

- Жениться не напасть, да как бы женатому не пропасть, батя. Как жить вот загвоздка.

- Жили прежде, поживем в надежде.

- Вам что не балагурить, старикам. А мне? По старинке жизнь не пляшет. Да и не хочу подножный корм щипать. Есть силы в душе, размахнуться охота... Человек же я и хочу свою короткую жизнь пройти открыто, без страха, без двуличия. Думы и дела не раздирались бы, как теленок на льду.

- А мы тебя подкуем кругом, - сказал Егор.

- Какие вы кузнецы? Сами жмуритесь на каждый новый день. А жена что? Поймет?

- Грипку бери, намекали, приданое за ней - на сани не покладешь. Одна дочь у родителей, - ласково подсказала мать.

- Все они у нас в Хлебовке дикое племя, а Грипка темнее всех. Если уж падать, так с белого скакуна. Правда, Марьку я не уговаривал. Людей робеет она. Без венца не пойдет. А я комсомолец, к попу не ходок.

- Хватит тебе, накомсомолился, пошатался по сборищам, становись коренником в борозду. Ты хозяин. Работы ждет от тебя жизнь, а не краснобайства, - вразумлял отец.

- Кормилец ты мой, черныш мой, Автономыч. Крещен и Владимиром наречен был сам-то Ленин. И с женой, наверно, венчался. - Василиса поцеловала сына в черный вихор на макушке.

- Чего ты его лижешь, как корова телка? А ты, парень, с несогласной не связывайся, вся-то жизнь будет скрипеть, заваливаться, будто кособоко навитый воз, - поделился Кузьма своим опытом.

Родня разгуделась. Перебирали по косточкам отчевых:

необидчивые, веселые, работящие. Невеста послушная, уважительная, статью и лицом взяла. Определили сватом Егора, а ему в придачу Фиену, на язык которой возлагали немалые надежды.

- Уж я умаслю, уговорю за нашего царевича любую девку, хоть Пашку-монашку.

- Нам нужна работница и для продолжения рода Чубаровых, а черница блюдет верность самому господу богу.

мужик для нее отвратнее сатаны с рогами, - сказал Егор.

- Черное-то слово пореже выпускай там, брат, Марька набожная, посоветовал Кузьма.

Сваты вышли за ворота на бодрящий морозец. В сиповатом вечернем воздухе слышались смех и возгласы детей, катавшихся на санках с горы, скрип снега, голоса матерей, кликавших ребятишек домой ужинать. Люди убирались со скотиной, выходили за ворота, в избах зажигали огни. Егор и Фпена молча свернули в переулок, остановились у большого пятистенного деревянного дома. Из трубы над тесовой крышей дыбился к ранней звезде голубой дым. У ворот высокий конь, запряженный в ковровые санки, долбил литым копытом лунку в снегу.

"Захар Осипович опередил нас. Я его осмею, масленого блина", загорелась Фпена злым огнем. Вспомнила, как попьяну признавался, что внутри сердца сидит у него Марька со своей рябинкой промеж бровей: "Если бы я не погорячился однажды, была бы за мной, голуба... А что, захочу будет. Не последний я недоумок в Хлебовке!"

12

Упрежденные о приходе сватов, Отчевы поужинали.

Отец велел Марьке сидеть дома, не объясняя почему.

Марька привычно подчинилась - у отца двух слов не бывает. В горнице села за машинку шить платья меньшим сестрам. Девчонки тоже взялись каждая за свое дело, только самая маленькая забралась на полати спать. Мать шепнула Марьке, чтобы не глядела она боязно, не дрожала душой, бог даст, все обойдется по-доброму.

- Сватов ждем, - уточнила она веселее.

Марька слышала из-за тонких дверей, как на кухню вошел и поздоровался с отцом Захар Острецов.

"Господи, помилуй, неужто он вправду за мной?" - веря и не веря, смятенно думала Марька.

Летом как-то мчалась по лугам, придерживая платок на голове. В кустах крушинника настиг ее Захар, посадил рядом в ежевичник. И хоть мимо проходили, разговаривая, косари, недоумение и страх сковали ее немотыо, да и Острецов зажал рот ладонью.

- Молчи, осенью сватов пришлю. - Безбожник, а перекрестился, совсем по-мальчишескп улыбаясь до ушей. - Отпашется народ, обмолотится - пришлю. День и ночь думал о тебе.

- Не подымай ты меня высоко, не опускай низко, - сказала тогда Марька.

Осенью не посватался Захар. И сейчас он, куря у порога, говорил с отцом о какой-то комиссии по лишению голосов.

У Марькп похолодели руки, когда в горницу неожиданно зашла старуха Мавра Кошкина, ворожея, мучительница ее...

В тот горький час в крушиннике закудахтала вдруг старуха, стыдя Захара, резоня Марьку. Правда, Острецов, глядя в подслеповатые глаза бабки, сказал, что если она, раскоряка, пикнет, то после того шагу ей не будет: ночью выйдет до ветра, стукнет ее домовой по думалке, она и ноги откинет в сторону. Не ее дело доглядывать, с кем и почему собирают цветы девки. А спустя время Марька захватила старуху на своем огороде: спокойно собирала огурцы, даже головы не подняла на изумленный оклик.

Марька попросила ее хоть плети не топтать голопятыми чугунками. Но Мавре невтерпеж захотелось огурчиков к кваску . "Я, касатка расхорошая, тебе же добра желаю, приворожу Захарку, припаяю на всю жизнь. А ты не боись, если бы я про всех баяла, рта не закрывала бы - ох, как много знаю!"

Сейчас Мавра прикрыла двухстворчатую дверь, ласково улыбаясь сморщенным лицом. Пахло от нее табаком и вином, когда шептала потерявшейся Марьке, что придут сваты от первейшего парня - сокола, а этого Захара, с холощеным сердцем, потаскуна, забыть надо.

- Бабушка, ведь ничего же не было, сидели мы...

- Ну и слава богу, демону спасибо. Сшей мне юбку, лапушка, а за этот колокольчик не беспокойся! - Старуха высунула в щербинку змеино-острый язычок и, щелкнув пальцами у губ, как бы отрезала его. - Не забывай меня, горемыку, несчастный несчастьем близких жив. - И, положив на стол ситец, уплыла в черном тумане.

А в это время на кухне распахнулись двери, и на белых Еолнах морозного воздуха медленно плыл бородатым богом Егор Чубаров, а из-под его руки выпорхнула Фиена. С бесстыжей дознательностью вонзила азиатские глазки в Острецова, прямо-таки чуть не вслух требуя ответа: за кого сватаешься наперебой? За себя аль за приятеля какого?

А что председатель приехал на ретивом коне свататься, Фиена нимало не сомневалась, недаром он портфель держит на коленях, выставил напоказ новые бурки.

Егор отвычно, утратив опыт, перекрестил лпцо, поклонился поясно, сказал тихо, будто спросонок:

- Мир и радость хозяевам, - сел на лавку под потолочную

широкую матку.

Фиена управилась пятикратно обмахнуть лицо крестным знамением и, форсисто, чуть не под самым носом Острецова распушив подолы двух юбок, села на табуретку под матицей. Все исходные рубежи для атаки были заняты мгновенно, может быть, потому, что хозяева предусмотрительно в этот вечер очистили места под потолочной маткой.

Договорятся или нет - дело другое, но, коли у тебя девка невеста, стулья должны стоять на подобающем месте.

Максим Отчев взглянул на меньших дочерей, и они все трое потянули с полатей шубы и, одеваясь на ходу, кинулись в сени. Вслед за ними ушел и Острецов, догадливостью своей возвысив себя в глазах сельчан.

Егор копотно долго усаживался, как старый петух на нашесте, и, закатывая глаза под лоб, все еще примеривался взглядом, точно ли над ним потолочная матка.

- Испить бы водицы, - попросил он.

"Тетёра полусонная! - с жгучим презрением думала Фпена, выгнув бровь. Двух слов не свяжет".

Егор нехотя выцедил сквозь зубы полковша ледяной воды и опять беспомощно закатил глаза под лоб. На бороде засверкали капли.

"Иль боится, что потолок упадет на него? И что он там разглядывает, торопыга? Батюшки, да он опузырится, все ведро допьет!" - про себя гневалась Фиена.

- Морозы жмут и жмут, аж пятки трещат, - сказал Максим, завертывая вторую цигарку, хотя от первой дым еще витал вокруг усов.

- И не приведи бог! - затараторила Фиена. - Ночито длиннущие. Мы с Егор Данилычем сон видали: наш овес вашу пшеничку увез.

"Никогда я с нею не спал вместе, и сон такой дурацкий не снился мне", думал Егор, с осуждающей опаской поглядывая на сноху своего брата.

- Без мужа-та какие сны не приснятся, - встряла в разговор Катя, мать невесты, улыбаясь умными карими глазами.

- А еще вижу луга, трава по пояс. - Фиена вскочила, провела ребром ладони по тугому животу своему, - А в этом лугу паслись баран да ярочка. Баран-то наш, а ярочка ваша. И вдруг батюшка Кузьма Даннлыч из-за горы идет, а наспроть его на пригорок всходит Максим Се.мионович в макласеевой поддевке.

Отчев засмеялся, и в усах его рыбкой взблеснули розные зубы.

- А ведь я не помню, чтобы ходил по лугам в зпмнепуток.

- Во сне это! - замахала на него руками Катя.

- Поманил ты ярочку к себе, а батюшка к себе, ц пошла она вместе с барашком за Кузьмой Данилычем.

- Плохая овца, ножа просит, - смеясь, сказал Отчев.

Егор бухнул, как в бочку:

- Отдадите дочь за племянника моего Автонома али нет?

- Что вы, господь с вами, - пожала плечами Катя, удивляясь несказанно. - Ей и года-то не вышли.

- Это не закавычка! - развеселился Егор, по простосердечности веря, что задержка за годами. - К архиерею за разрешением зальюсь. Только скажите, какая кладка задумана вашим домом?

- Архиереев нынче нет. Волисполком - вот архиерей. Так что торопиться некуда, - четко сказал Отчев. - Ваш тоже не вышел пз годов, пусть погуляет. Опять же возьми в толк: наша жизнь на распутье. Ньппе сват - родня, завтра - размежуют несоединимо. Подождать надо, пусть утрясется, повыпрямится. жпзня.

- На тот мясоед поговорим, - смягчила ответ мужа Катя.

- Зачем ждать? Глупость натворят. Народ нынче пошел ненадежный, не то что мы с тобой, Максим Семионович.

- Я на свою дочь надеюсь. Если ваш ослушник рвет недоуздок, то и жените попроворнее. Ставьте на прикол.

Бот вам мой совет.

- Без пригляду только муравьи плодятся, Максим Семионович.

"Огнем горю с таким подсобилой. Ну хоть бы краспобаил круглыми словами, как тот дурак: колесо, бочка, арбуз. Покойный дядя по недогляду пошел сватать в подштанниках, не видных под зипуном. Распахнулись полы, а ехидный старичок ему: где такую матерью на штаны брал?

На базаре, тута не все, еще в сундуке три аршина спрятаны. Уж молчал бы Егор Данилыч", - думала Фиена.

- Господи, ну чего ты брякнул, Егор Данплыч? - вступилась она. - Любит наш Автоном вашу Марьку до потери аж сознания. И нет лучше и честнее ее кругом. Уж такая смирная, уважительная. А хозяева-то наши справные - две рабочие лошади да стригунок, две коровы, хлеба сусеки внакат. Есть чего поесть-попить.

- Хозяйственные нынче не в цене, - отмела Фпенины доводы Катя. - Кто в рямок одет, веревкой подпоясан, тот и хорош.

- Времена новые у ворот стоят. Косятся люди на тех, кто работников поднанимает; Прицеливаются, как бы оглушить. По какой дороге идти думаете? - допытывался Отчев. - Чуть качнетесь в сторону - окулачитесь.

- Дорога одна для всех на роду написана: жить ладом в

достатке, детей рожать, в люди выводить, - ответила Фиена, с легкостью входя в роль доброхотной матушки.

- Нет, Фиена Карповна, те времена уплыли.

- Скотину легко поубавить. Зарежем на свадьбу корову - вот и сразу в разряд зажиточных бедняков. Пусть классуют, не страшно, - сказал Егор. - А жених - не в поле обсевок. Культурой пропитан.

Максим нахмурил русые брови, потер белый лоб.

- Не отдам. Пусть на бадажок, да на чужой бережок.

Ешь собака, да нездешняя.

Егор надул кирпично-красные щеки, встал.

- За кобелей нас считаешь?

Фиена вскочила, разлопушилась, фыркая.

- Так-то вы встречаете честных сватов?!

Вышли не простившись.

- Прогадаешь! - кричала в сенях Фиена. - Жениху нигде ворота не заказаны, торкнемся. Найдутся, суперечить не станут. Подумаешь, невеста! Нынче не в цене богобоязненные-то! Нынче бойкие в моду входят!

- Желаем вам изловить соколицу-разбойницу.

Через полчаса Отчев собрал всю родню на думу. Уселись по лавкам, а Марька в горнице завязала уши платком, а под платок натолкала шерсть, чтобы, упаси бог, не услышать речи старших. Всю-то свою недолгую жизнь она остерегалась сделать что-нибудь не так, хотя робкой вроде и не была. Как-то раз нашла на дороге кошелек, подняла над головой и забежала в Хлебовку, возвещая звонко:

"Чей гаманок?" Может, с того побаиваться стала, что пятилетняя верховодила двумя сестрами да Тимкой Цевневым в страдную пору, когда родители в поле убирали хлеба: подвесила курносый рукомойник на бороний зуб в деревянной стене дома, развела костернк - кашу варить.

Пока соседи тушили пожар, увела сестренок в такие заросли в балке, что и найти не могли. На голоса не откликались, уткнувшись лицами в вытканную вьюнками землю. Вообщо-то была она изобретательница. Уж большенькоп, этак лет девяти, подъехала к спуску в село, остановила смирную кобылу на том взлобке, с которого виднелся крест церкви, и решила притормозить телегу, сунув меж спиц колеса ногу. Вовремя подоспел сосед, а то бы хромоножкой век коротала Марька.

На думе перешерстили всю родню Чубаровых. Начали было с предков, но Максим не велел трогать давно усопших: лежат они в могилках смиренно, есть-пить пэ требуют, с наставлениями, как жить молодым, вряд ли будут докучать по своей покойницкой скромности.

- Кузьма Данплыч далеко не рысак, вот-вот и за печку к своей матери полезет. Упадут старые на руки Марьки.

- Старый да малый - рук нетути, а ротик есть.

- Кузьма еще потянет за двоих.

- Автоном-то прижимист, в мать. Встречаю его на мельнице, мелет подрешетье. Куда отборное-то зерно. Автоном Кузьмич? А он выпялил на меня свои два небушки голубые: на базар, куда же еще?

- Умрет Марька на ихних хлебах-кизяках. На обухе рожь молотят, зерна пе уронят. Из песка умеют веревки вить.

- На работе уморят Марьку. Ведь еще черти на кулачный бои не выходят, а Чубаровы в поле едут. От зари до зарп чертомелят, как каторжане. И абы в чем ходят.

- Автоном-то помешался на работе да на книгах.

А уж одевается! Анадысь в нардоме про клевер говорил, а рубаха на нем по фанетовой земле буздыковые цветочкн.

- Кузьма в одних сапогах полвека топает.

- Он тысячу лет пропылит так-то - до церкви босиком, как гусь лапчатый, а там уж обмуничивается.

- Промеж себя на ножах живут. Не забывайте, Кузьма - убивец. Василиса и сейчас в голос ревет от него в мазанке.

- Это уж брешешь, кума, - Максим засмеялся. - Василиса скорее прослезит камень, чем сама капнет слезой.

Бабы дали волю своим языкам: к сорока годам постаревшие, они завидовали Василпсиной добротной красоте, щажённой временем, побаивались ее, казалось, все знающих спних глаз.

- Насмешливая Василиса хитрее лисы, смурая.

- Каждому прозвище приклеила. Один - долгоспипный кобель, другой мерзлозубый шайтан, третья - тонколыдая ведьма. А сама чудным языком байт: питак в писке.

- Умная баба, уж врежет, так врежет, будто горячее тавро приложит, подзадоривал Максим родню. - Кто на самодельных седлах с подушками подпрыгивал в банде, до сих пор не сотрет Василиспных слов с себя: задница в пуху. Министр баба, только размахнуться негде.

- Опоздала родиться, нынче такие во вчерашний день глядят.

- Себя-то раз в год любит, и то по обещанию. Заела Фиену.

- Уж если Фиену щукозубую со света сживает, в желтизну покрасила щеки ее, то Марька-то голубушка не жилица. Нынче на свадьбе веселились, завтра ревмя реви на поминках.

- Ну, черта два укусишь Фиенку. Кажучка эта колючками в каждый хвост цепляется.

- Фиенка - гостья короткая, до петухов первых.

Муж погиб, уйдет в отдел она.

- Уйдет, да не так, отхватит полхозяйства.

Максим слушал молча, быстро взглядывая на родню.

- Все это нажпвно. А вот жених что за птица?

Встряхните, выбейте блох, как из кошмы, - подкинул он Автонома на растерзание баб.

Женщины, заливаясь хохотом, по-всякому переиначивали имя жениха Автолом, Автол, Талалом, припомнили все: когда маленький Автоном огрызался повелению взрослых, не поклонился старухе. Несуразный, неловкий, гордый.

- А уж кипит-то, буран, да и только. Ее, тихонькую девоньку, до смерти испужает.

- Значит, по-вашему так получается: сын удался в отца, отец во пса, а все вместе - в бешеную собаку? - спросил Максим. - И вдруг породнимся, как в глаза глядеть людям? Автоном поумнее иных стариков, характерный, слова на ветер не бросает, вином не балуется, с бабами не озорует. Но пара ли ему наша кроткая песенница, не знаю. Вроде и парнем-то не был он... все с мужиками думы думает. Зови, мать, Марьку, - велел Максим.

Марька вышла из горницы тихо, будто воздухом принесло ее, как лепесток с цветка, остановилась.

- Марья, Автоиом Чубаров... как он?

Никогда прежде Автоном не был даже в мыслях у Марьки, даже в те зимние вечера, когда он на кухне доказывал мужикам пользу науки. При случайных встречах она первой здоровалась с ним, и не как с парнем, шутя и улыбаясь, а почтительно отступив в сторонку, кланяясь, опуская глаза, будто сверстнику отца уважение оказывала. Но после новогоднего гадания заиграли по-девически думы о нем - а ведь ему всего двадцатый год, этому темноусому. Вчера он на улице преступил ей дорогу:

- Почему не глядишь, Марья Максимовна, на меня? - в угрюмозато-серьезных глазах сине вспыхнула веселпнка. - Вроде никогда не обижал...

- А меня никто не обижает... на всех и глядеть?

- На всех не надо, а ко мне привыкай - посвататься могу...

Марька забежала в дом, присмирела до сумерек. Тревожно смущала молодецкая ладность крепко сбитого парня.

- Не приземляй взора, ты честная. Гляди прямо, - сказал отец. - По душе он тебе али нет?

Марька встретилась с умными веселыми глазами его, сморгнула слезы.

- Как вы, тятя с малюй, так и я.

- Жить тебе с человеком. Не вечер, не день. Поругались, потом каждый к своему гнезду. Всю жизнь вместе. - Отец, сидя на лавке, притянул ее к себе, сжал колет нями, как, бывало, в

детстве. - Мы тебя не торопим, живи дома, сколько захочется.

Она опустилась на колени, склоняясь русой головой в его ноги.

- Если мою волю знать хотите, - я никогда замуж не пойду.

Отец улыбнулся, погладил Марькипу голову, велел сесть на лавку.

- Молода! Откажи им, братка, - сказала меньшая сестра Отчева. Но муж сопл ее:

- А самой страсть как охота погулять на свадьбе, покататься кругом улицы.

- Чубаровы честные люди, только старик каторжанин. Да ведь на ком нет крови в наше время? Разве только грудные не стреляли. Работящие Чубаровы. А нашему брату землеробу что еще надо, окромя работы? Родились для земли.

- Один сын, хозяин в доме, - подхватила старшая сестра Максима.

- Марька уживется со всякими, - плаксиво и гордо заговорила Катя. Слушайся старших и мужа... Ты женщина, должна любить своего мужа. Не огрызайся, не перечь. Покорностью татар взяли...

- Погодите отдавать, - остановил жену Максим, - она еще в девках не гуляла. Маялась с сестрами, четырех вынянчила.

- Зато наловчилась, со своими детьми сумеет вертеться.

- Успеет наплакаться. Гуляй, Марька, - сказал отец.

Марька ушла в горницу, села за машинку. Навсегдато отрезала себе путь к замужеству. "Господи, прибери меня поскорее, пошли смертыньку любую, спасибо тебе веки вечные буду говорить", - привычно повторяла она, в душе же такая растекалась горечь и так хотелось жить...

Собравшаяся было погулять на свадьбе родня приуныла.

- Люди они хоть и сумрачные, однако по закону живут.

В это время в дом ввалился сам Кузьма Данилыч, даже в шапке ради такого случая. Рухнул коленями на пол, пополз к ногам Максима, сгребая и волоча за собой половики. Хозяин вскочил с лавки, Катя испуганно прижалась к печке.

- Отдай Марьку! - Кузьма вцепился железными пальцами за щиколотки хозяина, будто капканом прищемил. - Ваш род силен - сорок человек, наш тоже не на воде вырос - полсотня человек. Сроднимся, державой будем. Хошь, в праворучпые к тебе пойду? Смешаем коней, и коров, и овец. Властвуй над моим и своим хозяйством.

Отрежу для тебя половину огорода и сада. Ты - умный, я - дурак, вот и заживем, как в хорошем царстве-государстве. Где силой не возьмем, там дуростью.

- Сядь, Кузьма Данилыч, как же говорить буду с тобой, если

ты на полу валяешься?

- Сват! Нет краше твоей горлинки. Не сойду с этого места, умру тута, если отказом зашибешь насмерть.

Вспомни, как встретился мне с дочкой-то почесть грудной?

С тех пор и я глаз не сводил с нее, любуясь. - Кузьма лег, и из кармана выглянула бутылка. - А не умру тута в тепле, пойду в проруби утоплюсь.

- Горячий ты, Кузьма Данилыч, вода закипит в проруби.

Дверь распахнулась, из сеней, подтолкнутый в спину Фненой, споткнувшись о порог, вошел Автоном. Даже забыл сразу поздороваться с хозяевами приковал к себе внимание изображавший на полу мертвого отец.

- Падай в ноги нашему благодетелю! - голос ом воскресшего повелел Кузьма.

Враз взговоршю в Автономе часто находившее на него шутовство. Он поклонился бабе Кате, Максиму Семноновичу и повалялся рядом с отцом.

- Ну, чего с ними поделаешь? - совсем оробела баба Катя. - Впдно, судьба.

Тут очутилась в избе Фиена, уткнулась лбом в пол рядом с деверем. Неслышный смех сотрясал ее тело.

- Кузьма Данилыч, вставай, садись за стол. Автоном, Феня, вы-то почему пол метете? Он выпил, а у вас голова вкруговую? - сказал Максим Отчев.

Сели на лавки с невинным видом. Максим помялся: молода дева. Кузьма ответил, что сватаются всегда за молодых. Рожь косишь с прозеленью, да в крестцах доходит.

Но когда запросили большую кладку за невесту, Кузьма снова захмелел, закосноязычнл, понес такую чепуху, вроде того что готов запрячься в сани и кругом улиц покатать свата. Сошлись на шубе с лисой, полушалке ы туфлях. Из сепен с четвертью рыковкп вошел отец Фяены Карпей Сугуров. И родня стеклась быстро. Начался маленький запои.

13

Под вечер Максим Отчев обменял в ближайшем к ХлеСовке Калмык-Качаргннском отделении совхоза три мешка простой пшеницы на сортовую, потолковал с заведующим о политике и деревенских новостях, заехал к вдове Цевневой, жившей с семнадцатилетним сыном Тимкой в небольшой чистенькой избенке напротив конного двора.

- Ну, кума Ольга, крестницу твою замуж выдаем.

Будь посаженой матерью. А когда моему крестнику Тимофею подоспеет жениться, я посаженым отцом буду.

- Дай бог ей счастья. Смиренная она, сердечная,

любвеобильная. - Ольга перекрестила тонкое, большеглазое лицо, потуже завязала черный платок, подбирая седеющие волосы.

Полезла было рогачом в печь за щами - угостить кума, но Отчев остановил ее.

- Марька души в тебе не чает. кума.

Ольга Цевнева согласилась проводить под венец крестницу, только чтобы все было по старому закону.

Когда Цевневы жили в Хлебовке, Марька часто навещала свою крестную мать, вместе со вдовами и Пашкоймонашкой распевала псалмы и духовные стихи. Смиряли вдовы тоску, оплакивая погибших на войне и умерших о г сыпняка и голода мужей и детей. Одну зиму Тпмка, сын Ольги, читал им проникновенно нараспев Евангелие на церковнославянском языке, потом вышел из послушания.

подружившись с Захаром Острецовым. То в центральную усадьбу совхоза, то в Хлебовку ходил на разные собрания в любую погоду - ни дожди осенние, ни бураны и выош.

ни вешнее раздополье не удерживали парнишку. Однажды мать подняла на него руку - наотрез отказался поптп з церковь в канун светлого воскресения Христова. На завалинке снял сапоги, стянул через голову сшитую матерью из своей подвенечной кофты белую рубаху, просунул вместе с пасхой в худое окно. Молившаяся перед лампадой мать поднялась с колен, велела сыну войти в дом. За руку швырнула от порога к печке и давай хлестать рубахой по лицу. Не уклонялся, лишь чуть покачивалась светло-русая голова да в глазищах вспыхивал стыд за нее, за мать. Так и поутихла под его взглядом, опустилась на лавку, как повялая, слышала неотразимо властное и ласковое внушение сына не давать впредь волю рукам, не унижать себя и его. И не сразу заметила очутившегося в избе кума Максима с бараньей лопаткой принес к празднику. Послушал он Ольгу да и посоветовал ей отпустить Тимку на все четыре стороны, все равно крестьянствовать не станет.

- Пашем мы с ним летось, а он - в одной руке хворостина, в другой книжка. Заглядится в книжку, далеко убредет от быков. Кричу ему: "Тимка, куда же ты качнулся? Ежелп бы быки не знали борозды, пошли бы за тобой, знаешь, какие бы вензеля прочертили плугом по полю?"

За два года Тимка закончил сельскохозяйственную школу в Ташле, забрал мать и перешел в ближайшее к Хлебовке Калмык-Качаргинское отделение совхоза пасти косяки конского молодняка. Только зимой и жил при матери, когда лошадей на сено ставили, лето же все напролет пропадал пропадом с конями на выпасах, лишь по субботним предвечерьям, гарцуя на своей

Пульке, наезжал домой побаниться, книжки новые взять. С чисто материнским вроде бы удивлением и восхищением расказывала Ольга, как Тимша летом пасет коней ночь напролет. С коЕЯ он почти не слазит. На заре засыпает, хоронится от жары в кустах таволги, а Пулька щиплет траву кругом него. Увидит пешего или конного, будит парня ржанием, а то мордой толкает пли зубами тянет за полу. А еще у Тимки вернее коня - багряный пес Голован. Кутенком подобрал, за пазухой возил, пока пес не наловчился поспевать за конем. И прячется Тимка на Пульке проворно:

глядишь - сидит, моргнул - его нет, хоть конь рысит.

Где? Сбоку или под животом, а то и под шеей. Как ласка, верткий. Б такого даже меткий стрелок не попадет, шутят некоторые.

Не по душе пришлась Отчеву дурацкая шутка, но расспросами не стал тревожить куму.

- Парнишка молодой, да ранний, глянется мне, с головой, смелый. Ей-ей, кума, усыновил бы я крестника али в зятья с годами взял, пе будь он себе на уме. А то моя Катюха заладила девчонок катать. Сей на ветер, корми для чужих, а сами одинокими старость докоетыливай.

Отчев уже надел мерлушковую шапку, взялся за скобу двери, изготовившись двинуть плечом, но что-то недосказанное удерживало его.

- Ладно, Ольга, молви Тимке, пусть на девишипк пыпче придет.

Цевнева покачала головой в горестном сомнении:

- Если венчать в церкви, Тимша глаз не покажет на свадьбе. Я уж и перечить-то ему сил не имею. Иной раз целый день, пока он на работе, готовлюсь слово божье вложить в его сердце, а гляну в глаза, так вылетает все из памяти, как дым из трубы. Пока под ноги смотрю, гозурю что-то складное из Писания, но тянет мепя поднять глаза. А вылуплю свои зснкц глупые - шабаш, его словами начинаю говорить. Непонятный он, и болнт мое сердце об нем, уж так болит... Да вот он сам идет! - воскликнула Цевпева, глядя на проталинку окна одним глазом, прижмурив другой. Засуетилась, усадила Отчева на лавку иод книжную полку и, улыбаясь, открыла дверь.

Вошел Тимка в просторной, не по росту, ватной фуфайке, подшитых валенках, окованных льдом, - чистил прорубь на водопое. Сняв шапку из сусликов, он разделся, сбил с валенок лед, поставил их на печь; вымыл руки - длиннопалые, костлявые, и только потом поздоровался с Отчевым, пристально глянув в лицо его, будто взвесил душу на ладони. Был он на изроете, даже чуть повыше матерого и крепкого Максима, но костляв и

жидковат, с тяжелыми темными глазами на худом, асимметричном лице - от левого уголка рта по нижней челюсти краснел шрам, зазябший на морозе. Прошлой слякотной осенью отгонял волков от конского молодняка, конь со скользкого пригорка упал через голову, Тимка ударился лицом о камень. Вгорячах вскочил, уткнулся подбородком в ладони, а когда отвел руки, увидал полную пригоршню кровк.

Старший табунщик Зиновий вправил челюсть. В больнице зашили разруб, но шрам все же остался.

- Неужто не пойдешь на девишппк? Бывало, звал Марьку няней, а теперь знать не хочешь, а? - говорил Отчев. - Помнишь, кума, как Марька пеклась о нем, хоть сама-то всего на годик старше была, а он ни на шаг от нее, все звеннт голоском в лебеде: няня!

Пока надевал свитер, чесанки с калошами, а мать пришивала пуговицу к бекеше, доставала из сундука отцовскую, из рыжей лисы, папаху, Тимка все яснее и печальнее сознавал, что произошло. Однажды летом он, затаившись в подсолнухах, слушал, как поют девки, половшие совхозные бахчи. Чей-то чистый, сильный голос тревожил в нем жалостную любовь к этой земле в прошвах арбузных плетей, к доцветающей в пахучем утреннем пару пшенице, к бабам с подоткнутыми исподницами, поливающим огурцы. Солнце играло на ведрах, на смуглых икрах.

Тимка подошел к поденщицам, попросил признаться, чей голос вел песню на такой высоте и задушевности. Смеясь, девки бросились врассыпную от него. И очутился он лицом к лицу со своей няней Марькой - стояла в черной кофте с засученными по локоть рукавами, в глазах еще не угасла печаль песни.

- А я думал, ты только псалмы умеешь распевать.

- Большой ты стал, Тима, а все еще дурачок. - Марька вынула из узелка огурец. - Поотведай - молодой, с пупырышками, ядреный, только преснотой рот вяжет.

Склонившись высоким станом, рубила тяпкой молоканку у своих босых, крутых во взъеме ног.

- Отступись, а то подсеку, придется нянчиться с тобой.

Поглядел он, как никнет широким полукружьем подрубленная трава, ушел молча, унося в душе тревожно вопрошающую тишину.

Он по-прежнему, как пал зазимок, часто заходил к Отчеву, иногда после совместной охоты на волков засиживался за чаем, веселея лишь от мимолетного, спокойнодоброжелательного взгляда Марькп.

Часто вечерами спевки проходили в доме Отчева. Любил Максим, задав на ночь скотине корму, слушать песнопения...

Вспоминалась ему речка Камышка, чистоводная, с проглядом до песчаного дна. Встанешь натруженными ногами на быстрине, видишь, как пошевеливает волосы на пальцах. Под песни-то эти любил Максим слушать Тимкины речи: любовь соберет людей вместе, исчезнут зависть, лютость "В обнимку будут жить?" - усмехался Максим, а Тимка зной свое: душа в душу жить будут.

Отчев отпускал Марьку под доброе слово стариков петь на свадьбах и посиделках, но однажды, выслушав горячую Тимкину похвалу ее голосу, обрезал дочери все пути на спевки, оставив один - церковный хор. руководимый бывшим красноармейцем. Тут спокойнее - и бог и революция вместе, потому что хор пел и в Октябрьские праздники.

Нехотя ехал Тимка на девишник, недвижно лежал в санях за спиной Отчева, только у моста через Камышку беспокойно завозился, сказал, что не замужем бы быть няне Марьке.

Отчев повернулся к нему насмешливым лицом:

- Она не урод. И чего ты понимаешь в жизни? Все девки бабами становятся.

Настойчиво, с запалом уговаривал Тимка Максима Семионовпча отвезти дочь в город, в музыкальную школу, - голос у нее соловьям на зависть.

- Девки до замужества, соловей до выводка поют.

Играть бабе некогда, а плакать придется - без науки сумеет. На скотину покрикивать хрипловатым голосом складнее. Так-то, Тнмша, крестник мой.

Уже во дворе, помогая Отчеву выпрягать коня. Тимка засомневался, удобно ли ему явиться на девишник.

Хмуро взглянул Отчев на его озябшее, серое в сумерках лицо, к досаде своей разгадав затаенное.

- Ну что ж. если умыслы в голове супротивные - не ходи, - сказал он и совсем уж вышел из себя, услыхав признание несовершеннолетнего сироты, что жалко ему Марьку, а почему - и сам не знает.

Постучал кнутовищем но валенку, советуя выбросить из головы задумья не по возрасту.

- Весна твоя далеко, за горами-лесами, и еще рано тебе зацветать. Учись, в люди выходи.

- Уж так мне жалко Марьку... Кажись, умру. Пойду и при всех признаюсь. Зачем мне таиться, подличать смолоду? А потом всю жизнь волос на себе рвать?

- Ишь ты, молокосос! Молот - молод, да бьет тяжэло... Остерегаю тебя: девке не проговорись ненароком. Человек, он какой? Выкрутаст, с дурникой, соблазняется тем, что вдали маячит. Иного шутепно пальцем поманишь, а он до гроба при

неладах будет растравлять себя: эта жизнь плохая, горчит, а та, какую сулили, куда пальчиком заманивали, медовая. Солнце всех обманывает, в догонячки заигрывает с людьми: взойдет - лови! И опять вечером на свое место. Умом жить надо, Тимофей Ильич.

Лился сквозь опаивающие окна свет, доносились голоса поющих.

Антоном стоял в сенях, слышал этот разговор. Сильно сжал руки Тимке, вглядываясь в лицо его.

- Думал, не придешь, - сказал и потерся жестким чубом о Тимкин лоб. По старым предрассудкам, полагается жениху ходить на девппшик с сотоварищами. Одного нашел - Семка Алтухов, а другим будешь ты, Тимша.

В прихожей, дымя махоркой, перекидываясь в картишки, разговаривали о приметах на урожай.

- Плохо, что земля ничья. Продать и купить нельзя. А то бы под пьяну руку загнал десятин пять.

Широко и горячо втиснулся Ермолай:

- Вот что, думачп, не дают мне покоя госфондовские земли рядом с совхозными. Чернозем давно не тревожен лемехом. Что нп посей - родит. А сена какие! Води скотинушку, сколь душе вольготно. Вот бы пойти на выселки, да косяком, одной упряжкой.

- Чем строиться на новом месте? Сейчас кое-как держатся дома и постройки, а начни ломать - пыль полетит, из сарая собачью конуру не соберешь. А о детях подумай!

Как в школу будут ходить? В темноте жить им? - встрял в разговор Автоном.

- Только женится, а уж о детях! Темпота школы не боится. Мало их, ученых, с потемками в голове? - Ермолай едко оборвал племянника. Разузнал я от того умача: банк даст кредит в рассрочку, только назваться надо "артель тружеников"... А из чьего дома собачья конура не получится, того не возьмем.

Маленький старичок Пимен Горячкин, известный на селе маловер, во всем сомневающийся, пустил из бороденки неожиданно осадистый бас:

- Не подсунули бы фальшивых денег, в тюрьму сядешь. Какой-то мой покойный тятятка поднял на дороге виколаевкп, а они поддельными оказались!

- Сам уж дед бородатый, а все еще тятякаешь, никак не можешь простить ему, что нашел не настоящие.

- Дядя Ермоша, умеешь ты краснобаить о земле, а работать нет сноровки у тебя. Не деловой ты мужик, не хозяин земли, - сказал Автоном.

- Помолчи, сосунок! Не знаешь ты цену земли - она и дня

твоей не была. Земля тогда хороша, когда она твоя, как родная жена, и никто, окромя тебя, дела с ней не имеет. А теперь земля ничья. Бездомовная.

- Народная земля, не ругай ее. Заплакала бы земля, если и в твоих руках была.

Вышедшие из горницы нарядные разгоряченные девки потащили парней, подталкивая в спины.

- Ну, Автоном Кузьмич, бить тебя будем. Не совестно с женатиками про пахоту толковать, а невеста тоскует, и мы досуха исплакались. А ты, Тимофа, аи не накалякался на волюшке? - И вроде невысокая бокастенькая Грипка Горячкина втолкнула Тимку в горницу. Пахло от ее разгоревшегося лица девичьей чистотой, глаза смеялись.

Жарко и светло горела лампа-"молния". Марька в голубой кашемировой кофте с буфами сидела у передней стены за столом, облитым белой скатертью, вязала жениху шарф. Показалась она Тимке не прежней спокойно-доброй смущенно-увертливым взглядом встретила его, и румянец, бывало безмятежно горевший яблочками на щеках, поджег теперь все лицо. Автоном сел рядом с нег схватил Грипку за руку, усадил под бок к Тимке:

- Одари, Грипка, его платком, соблюдай обычай.

- Не надо мне. - Тимка ссутулился, как молодой.

только что оперившийся беркутенок, спрятал длинные руки в карманах.

Но Грипка сунула в карман пиджака Тимке платок с тыквенными семечками, принялась за шитье. Заигрывая, как это делали все девки со своими парнями, она уколола его иголкой, будто невзначай. Тпмка отодвинулся, запунцовели уши.

Здоровый красномордый Семка Алтухов, одолев дремоту, отлепился от голландки, вышел на середину горницы, скомандовал:

- Давайте в соседи играть, девки!

Семка и маленькая Санька Копцова подошли к Тимке.

- Сосед, соседка мила? - спросила Санька почтительно.

- Мила, мила! - ответила за Тимку Грипка.

- Ну, приткни, где была, - велел Семка.

Грипка смахнула шелуху семечек со своих губ, обхватила Тимку за шею и поцеловала. На его потерянно распущенных губах таял теплый запах постного масла.

- Сосед, соседка мила? - пристал Семка к парню, игравшему на гребешке.

- Постыла мне соседка, пилит и пилит весь вечер напролет.

- Значит, продаешь. Сколько просишь?

- Семьсот сковородок и запорку от ворот. Или две кормовозки

дыму.

- Угоришь и с одного пуда. Уступай, шабер.

- Эх, жалко кобылу, она молоденькая, всего сто годов, и голова на плечах первая. Но люди вы, по рылу видно, хорошие - ночью с вами один на один не встречайся - так и быть, уступаю за два аршина кислого молока.

- Возьми десятину пельменей, и шабаш.

Два парня с рогачом встали среди горницы, и все парами подходили к ним.

- Ну, а ты, Тимофей: Ильич, чем собрался порадовать Грипку? Калоши у нее, кажись, есть.

- Купи мне платок, - подсказала Грипка.

Парни подняли рогач на уровень головы Грипки.

- Перекидывай, я легкая.

Тимка мельком видел смеющиеся глаза, яркие в сдержанной улыбке губы Марьки. Рывком оторвал от пола Грипку, а она, поджав ноги в гусариках, перескочила через рогач, прошуршав по держаку подолом шерстяной юбки.

Семка Алтухов, откинув чуб, запел:

Ох, как вольну мелку птаху
Я с налета сбивал,
А красну девчонку
С коня ворона целовал.

А Санька Копцова ответила ему:

Моя мама встала рано,
Цветок алый сорвала,
Меня, бедну, не спросила,
Рано замуж отдала.

Девки разлучили невесту с женихом, посадили ее за свой стол и запели печально:

Не давай меня, батюшка, замуж,
Не губи меня, молоду, рано.

Марька заплакала.

Автоном, поеживаясь, плотнее врастал спиною в угол, беспомощная жалость, виноватость и злое недоумение наперекос гнули его.

"Вот и пойми ее, - думалось с раздражением. - Плачет, будто на казнь ведут. Не хочется замуж - не ходи.

Зачем я женюсь? Как закрутится жизнь в селе? По-старому не будет, а новая не лежит в кармане. Вон на кухне мужики весь вечер болтают, табак курят. Хоть бы валенки детям починили, за скотом приглядели. Нет, режутся в картишки, пьют в складчину. Не люблю я нашу Хлебовку, скучно жить в ней. Кажется, всех деревень богаче колдунами, ворами, богомольцами, пьяницами

горькими да поножовщиной".

- Тпмоха, друг, опостылели мне все эти спектакли, и вся жизнь в надоеду стала... Вели ей не выть, а то хлопну дверью, уйду куда глаза глядят...

- Да разве можно тебе жениться с такой хворью.

- А что делать? Все родятся, женятся, детей пестуют:

помирают. Марья добрая, умная... сам небось завидуешь, Тимша?

Девки запели величальную жениху и невесте, потянули их в круг:

Там куга, там куга подымалася,

Там вода, там вода разливалася.

Выпущу, выпущу лебедя с лебедушкой.

Вел лебедь, бел лебедь Автоном Кузьмич,

Лебедка, лебедка Мария Максимовна.

Им люди, им люди дивовалися:

Что ровня, что ровня сравнялася..

Автоном с усмешкой уступил им.

Безрадостным показался Тпмке этот девпшнпк, и оп жалел Марьку, не понимал Автонома. Стыд и боль угнали его на кухню.

14

Несколько парней и молодых женатиков разыгрывали Паню-дурачка, поили подкраспенноп клюквенным соком ьодоп, уверяя его, что это самая крепкая водка. Он пил стаканами, качая бритой до макушки головой, подписывал какие-то декреты, разыгрывая роль большого начальника.

Тимке он вдруг осмысленно подмигнул левым глазом, улыбнулся.

- Садись тут, - сказал он, подвигаясь на скамейке.

Потом сунул свои декреты в карман кителя Острецова.

Застеснявшись Тимки, парни убрали бутылку с водой.

- Ну, а в баню-то сейчас не боишься сбегать, мокрую листву от веника принести, а? - спросил Паньку Степан Лежачий.

Панька ответил, что сейчас не пойдет - выпил и забыл молитву "Да воскреснет бог и расточатся враги его",- - а кто помнит, смело может сбегать в баню.

- Разбегутся они, как тараканы. Понабилось их полная баня. Мороз! - Он погрозпл пальцем глядевшему на него во все глаза парню. - Не дыхни!

Парней подмывала отвага и вязала по рукам робость - столько страшных историй порассказали друг другу. А за окнами завывала вьюга, седая от лютости.

Тпмка надел шапку, на плечи накинул хозяйский зипун. Проводили его в сени, светя лампой. Ветер стучал дверью, сипела

в щелях поземка. Свет лампы будто вытолкнул Тпмку в спину, и тьма подхватила его, раскрылатив зипун, понесла по двору.

- Листья чтоб мокрые! - прокричал Степан Лежачий, заслоняя ладонью мигавшую лампу.

За перегородкой на кути, закрыв дверку, Отчев налил водки Захару и себе.

- Выпей, пока Тимка отлучился. Переживает, если увидит тебя во хмелю.

- Тимофа чудной, так иной раз глядит, не знаешь, куда деваться. Ну и уважает меня, прямо за батю родного почитает.

- Глазищами вопрошает почесть каждого: мол, не знаешь ли, кто сгубил моего тятю?.. Да, вот и расстаюсь я, Захар Осипович, со своей первой дочерью... Пей, - Что-то мутит на душе, Максим Сешюновпч, уж так погано, места себе не нахожу. И вино в рот нейдет... Не поторопился Марьку выдавать? Ей бы оглядеться, выбрать... есть люди...

- Себя метишь в женихи? Не выйдет, Захар Осипович. Знаешь свою слабинку сам.

- Да слабинку я осилю.

- Нет, брат, человек может броспть впно, табак, но баб... тут уж само естество власть показывает... Не серчай, судьба, знать, твоя такая мирская, кочетпная.

- Тоска-унылина в сердце зашевелилась, дядя Максюра.

- Привел ты коня ковать, когда кузня загорелась...

Пей, да дело разумей.

Захар выпил, весь передернувшись, захрустела вилковая капуста на зубах.

Отчев совсем мимоходом пожаловался на трату со свадьбой. Захар посулился поубавить налог.

Загалдели парни и высыпавшие из горницы девки, окружив вернувшегося Тимку. Лицо его было бледным и торжествующим. Он вынул из-под полы чапана мокрый, распространяющий запах бани веник с прихваченными морозом листьями на конце.

Все потянулись к венику, ощупывая и обнюхивая его.

А Грипка Горячкнна назвала Тимку миленком, припав головой к груди его. Семка Алтухов выбил валенками глухую чечетку, нахлобучил шапку, побежал в баню, мелькнув замеленной спиной.

Страшный дурной крик услышали рапыне, чем распахнулась дверь и в дом влетел Семка Алтухов без шапки, с запорошенной снегом головой. Колесиками повертывались туда-сюда молочно-мороженые глаза. Не мог он толком объяснить, что перепугало его, чуть родимчик не хватил.

Толмил одно - наткнулся в бане пятерней на лохматое с

рожками страшилище, а что было дальше - не помнил.

Одни ахали, другие смеялись, спрашивали Тимку, оробел ли он.

Тимка усадил Семку на табуретку против себя, ласково, со строжинкой успокаивая его. Сказал, что и он сам дрогнул, когда, присев в еще теплой бане на корточки, запутался пальцами в чем-то лохматом. Однако, овладев собой, ощупал морду и рожки теленка, почесал подбородок и даже дозволил облизать руку. И Тимка похвалил парня за смелость.

Гости расходились, остались только постоянные сотоварищи жениха и соподруги невесты. В кути на кухне баба Катя говорила сердито и умоляюще:

- Будешь аль нет ставить жениху самовар?

Марька, закрыв рукавом кофты лицо, плакала.

И столько горя было в ее опущенных плечах, в склоненной голове.

- Смотри у меня, закон порушишь, потащу за косы через всю избу, а отцу велю сечь кнутом.

Неловко было Тимке за Марьку. И он насилу высидел чаепитие с нарядными конфетами.

И Автоном не веселился.

- Ты что? На поминках? - спросил его Отчев. - Если девка не по душе...

- Максим Семконовпч, уговори Марьку, чтобы без попа, без венца...

- Не я женюсь, а ты. Тебе и уговаривать. Меня не послушается. На твою голову наденут венец... Да ты, Автоном, зажмурься на это время... Без венца-то за тебя сейчас кто пойдет?

Автоном хмуровато намекнул невесте об ее обязанности проводить его за ворота:

- Домой пора.

- Ну, идите, - тихо ответила она, опустив жалкое лицо.

- Мы дорогу не знаем.

- Да вот она, дорога, идите, - совсем уж по-детски недоумевала Марька.

Автоном сорвал с вешалки поддевку и, разбрасывая шапки, отыскивал свою папаху.

Взглянув на его тугое красное лицо, Тпмтга вышел. За стволом ветлы у ворот он затаился надолго, хотя такой обжигал мороз с ветром, что трещали уши. Качало его непривычное горе, томило предчувствие беды.

Вышел Автоном, за ним - Марька.

- Слышь, Марья, давай без попа обойдемся, а? Уступи мне, на руках буду носить, - напористо говорил Автоном.

- Сполоумел? Насмехаешься? Да нас с тобой проклянут, съедят, если мы с тобой не по-людски... Ищи другую...

- Ну, как ты не поймешь? Ведь по-новому надо. Комсомолец я, Марья Максимовна. Жизнь меняется. Уступи, ради бога.

Автоном потянул Марьку за руку, норовя укутать полой поддевки, но она не давалась, уцепившись за калитку.

- Ну, Марька, навыкамуриваешься на свою голову.

изобью тебя в первую же ночь, коли желаешь по старинке жить.

Стыдно и тоскливо стало Тимке. и он побежал меж сугробов. В переулке налетел на Острецова - никак не мог влезть на коня Захар Осипович, пьяно качаясь. Из всего его косноязычного хмельного бормотания только и понял Тимка, что непременно надо Захару в совхоз, к Таняке.

Измаялся Тимка за дорогу, валился Острецов кулем.

В конюшне Тимка, хороня Острецова от конюха, насмешливого старика Клюева, завалил сеном в санях. Оберегал авторитет председателя. Клюев все видел, но, щадя парня, прикинулся незрячим. А когда Острецов вылез из-под сена, по-щенячьему дрожа, не попадая зуб на зуб, конюх погрозил ему кнутом.

- Выпорю как Сидорову козу, - топтался круг его, тыча в бока. - Как он об вас хворает, этот Тимка. Святой, я вы голубым огоньком взялись - не присыхаете от водки.

Башка-то, верно, улей с потревоженными пчелами? Похмелись, батюшка, конюх вытащил из боковушки мерзавчик водкп, разлил на двоих.

- Па девишннке... Глаза-то у невесты, как у матери Христа, на картинке, конечно. Ну разворошило всего меня. Понимаешь, дед?

- Одно понимание и осталось у меня...

15

В свадьбу втянулась вся родня. Только со стороны жениха гуляли пять дядьев да две тетки. Егор пошел за дружка, головой работал, блюдя ритуалы и очередность съедов. Тетки жениха - писаные красавицы - позаботились по женской части, полымем горя от воспоминания своих первых ночей. Козырным тузом шел с жениховской стороны Ермолай, до зубовной ломоты подсластив пиршество разными лампасеямп и прочей конфетностыо.

Сторону невесты важпли три заречных брата бабы Кати - угловатые, коричневые крепыши. А накануне венчания приехал к Отчеву на спвом коне башкприп Усмап.

Поднимая черные с сизппкоп, как перо скворца, брови, сказал старому кунаку:

- Князь Максим, вера разная, бог один, дочь твою Марьям

любим. Гулять хотим.

Знали Усмана по тем временам, когда пас оп табун конского молодняка. Охотно усоседилп ц Усмана. С исстари жили в ладу с башкирами старики.

Рано утром потянулась с горы белошерстная метелица, сбивала причудливо волнистые козырьки у домов.

И вдруг двенадцать парных санок и одна тройка, визжа полозьями по снегу, рванули от двора Чубаровых, звеня Еоддужнымп колокольцами. Тройка мчала жениха с крествой матерью в клетчатой шали, с иконой на коленях.

А у Отчевых за тесовыми воротами на широком выметенном дворе уже били копытами рьяные кони, СОБХОЗский рысак Кудряш дрожал, как птица, косил глаза на небо, прял ушами, ловя приближающийся бег. Рысака с ковровыми санками и меховой лохматой полостью для укрытия невестиных ног дал управляющий Калмык-Качаргинским отделением совхоза: "Утри, Максим Семиоявович, нос Ермошке, короткому барину, чтоб рыло кулацкое не задирал до небес. Совхоз поддерживает тебя, середняка, - центральную фигуру села".

Карауливший за воротами парнишка узпдал в проулке разукрашенные лентами гривастые головы лошадей, засвиристел по-заячьему звонко:

- Мчатся! - И уже с испугом уточнил: - В корне рысак Ермолая Данплыча.

Распахнули двустворчатые ворота. Сам Максим Сешюнович, заткнув за пояс подвернутые полы крытой черным сукном шубы, глубоко, до бровей, надвинув шапку из серой переярки, вскочил на козлы, взял в правую руку вожжи рысака-коренника, в левую - две вожжи пристяжных скакунов. Оглянулся на Марьку и ее крестную мать Ольгу Цезневу, вспомнил молодость свою, дерзко улыбаясь. Выехал тыхой развалкой, крадучись.

Женихов кучер вежливо-снисходительно попридержал коней, пропуская невестиных поезжан вперед. Первый круг по Хлебовке обошли внатруску, малость прибавляя скорость. На втором кругу Максим оторвался от своих.

По полозьям за ним спела женихова тройка с коренником Мигаем. Кудряш зло просил воли, ложился в хомут, набирая скорость без усилия. Облегчающий пот выступил на крупе и мощных ляжках жеребца. Уже второй раз обогнали все двадцать саней с хрипнувшими от песен девками и бабами.

- Держись, Марька! - с бешеным азартом крикнул отец, закуспв успну. Пусть жених спробует настичь невесту!

На крутом повороте в вихре снега заносило, крепя набок санки, но Максим упирался ногой, выравнивая, клал на оба

полоза. Марька и ее крестная пе могли выскочить - привязали их кушаками к спинке саней. Далсг оставил тройку жениха, досаждая не столько зятю своеху, сколько Ермолаю - уж очень высоко заносился задавать, своим рысаком. Вовремя погасил пыл, попридержал Огчев, а пристяжные сами языки повыпустпли от усталтг.

На подъезде к церкви жениховы кони наступали на задок, нависая жаркими, в пене, мордами над головами невесты и крестной. Тут, вопреки закону сидеть дома, дожидаясь молодых из-под венца, Кузьма спохватился, что жениху положено первым явиться ко храму божьему, и спихнут кучера, взял управу в свои руки. Из-под развевающихся, совсем поседевших от инея волос торчало вишневое ухо с побелевшей вершинкой.

- Снегом три! - орали ему.

"Пусть уши отвалятся, а не уступлю. Бабам толвко дай поблажку с первого шага, потом черта два вывернешься!

Знаю по себе!" - ярился Кузьма, вовсе не догадываясь, что сват Максим не такой простец, чтоб первым примчать дочь к церкви, будто навяливает ее в жены Автоному.

За оградой у церкви гуртовался народ. Хромой звонарь, согревшись водкой, затрезвонил вовсю.

- Не тот набор. Сняли два колокола.

- Еще скушнее будя вскорости. Кругом столба обегут по-собачьему, и айда, прощай, волюшка-воля.

С Марьки сняли шубу и в длинном белом платье повели по обметенным ступенькам в церковь. Вытряхнутого из тулупа Автокома заторопили следом. Б пиджаке он зябнул, но, стиснув зубы, унимая дрожь, затравленно, поволчьему косил по сторонам синими с изморозью глазами.

И хотя он не верил в бога, ему нравилось, что в церкви, множась, жарко горят свечи, а бородатый Кувшинов зажигает все новые свечи у деревянного иконостаса затейливой резьбы. Десять лет столяр Чугуев со своими сыновьями вырезал этот иконостас и закончил работу лишь накануне войны 1914 года.

У отца Михаила посинел от холода большой, молодым полумесяцем выгнутый нос, лысина сияла от огней. Марька, боясь упасть от запаха ладана, жмурилась.

- Гляди вовсю, а то брякнешься, - ущипнула ее Ольга Цевнева.

Марька не помнила, как менялись кольцами, поцеловались принародно, как свели их в жениховы сани, закутали в тулупы. Сменилась привычная дорога к родительскому дому на новую, прежде чужую, а теперь до гроба ее дорогу в мужний дом. Несколько дядьков перегородили веревкой переулок. Знать, давно оседлали путь, если брови, и усы, и веревки заиндевели от

мороза.

Дружка Егор слез с передних саней с гусыней - четвертью водки. Налил им по стакану, и они открыли путь к дому жениха. Но у ворот стояли в новой заставе любится л спиртного постарше с поднятыми руками и требовательлосуровыми лицами. И как только крайний из них выплл, ворота распахнулись.

За широкими столами гостей угощал вином дружка Егор. Хошь не хошь, а пей стопку.

- Ешь, кум, да не засасывай усы. Знай честь, утирай бороду.

- До свидания, сват, под столом увидимся.

- Люди выпьют, как платком вытрут, а ты, Карпей, выпьешь, как огнем выжтешь, - сказала Василиса Сугурову, своему бывшему возлюбленному.

- Ну, ну! Пусти бабу в рай, она и корову за собой поведет. Не поутихла ты, Василиса Федотовна, не осадили, не объездили тя годы...

- Вас обоих с Кузей связать за ноги и пустить по реке... Ты не удержал, а он не объездил меня - вот тебе сказ, прохиндей промашливый.

Домнушка хвастливо пела соседу старику:

- Девицей вышла за своего Данилу-женатика. А уж бабник-то был! Ни одного подола не пропущал мимо.

- Маманя, выпей, - налил матери Егор. - Пейте, молодки, новые на вас колодки, пейте, молодцы, красные у вас пузцы, а вы, старушки, по целому нальете и домой за печь попрете.

- Егорка, ты кем пам доводишься?

- Сын я твои, маманя.

- А как тебя зовут, Егорка?

- Егоркой и зовут. Как нарекла ты меня шестьдесят лет назад. Ты вовсе круговой овцой стала, себя не помнишь и ягнят своих позабыла.

В доме уже поднялся развеселый галдеж, когда во двор вошли Захар Острецов и Тимка Цевнев.

Острецов приосанился, и они вошли в дом. Острецовым завладели вдовы.

- Ну, чего ты, Захарушка, привалился к студню, как поросенок к корыту? Молви чего-нибудь кругло.

- Скажу тебе, ярочка ты, глядя на лес, не вырастешь.

- Видали таких краснобаев! Съел волк кобылу, да дровнями подавился. Прислонял бы ты, Захарушка, свою буйную головушку к жене.

- Прислонить недолго, да не привяжется ли головная боль?

Сам Кузьма угощал Захара Осиповича, приговаривая уважительно, что трудно председателю властвовать над ними,

дураками.

- А ты вот ызешься с нами, легковерными обманщиками. Все-то мы утаиваем, сиротами казанскими прикидываемся.

- Доберусь я до всех вас, подрастающее кулачье! А у меня сорветесь с крючка, вон Тимофей возмужает, завернет вам оглоблн на путь социализма. Да! Наливай, борода дремучая! Пью за самую красивую! Вышла Марья Максимовна - самой светлой звездой на небе меньше стало. Автоном, друг, поздравляю и упреждаю: лелей молодую.

Песни нужно было играть, а зачинщицу Фиену как ветром куда унесло. Кузьма нашел ее в чулане. Плакала, уткнувшись лицом в рушник.

- Влас в сырой земле, а я буду веселиться? Не пойду!

- Дура недогадливая, может, жив наш сокол, да далеко летает.

Фиена повисла на рукаве свекра:

- Батюшка, побожись!

Кузьма обмахнул волосатое лицо.

- Вот те святая икона. - Но тут же спохватился: - Халява ты разэтакая, трясогузка, в грех ввела!

Фиена выскочила в горницу, притоптывая каблучками, пошла вдоль столов.

Мой муж арбуз,
А я его дыня.
Я к нему подкачусь,
Он меня обнимя,

И закружились веселые женщины в пляске.

- У нас другая припевка к арбузу:

Он вчера меня побил,
А я его ныне.

Фиена схватила за руку Пашку-монашку, дальнюю родственницу Ермолаевой жены. Женпх ее погиб на фронте в Галиции. Ушла в монастырь, но после революции вернулась, поселилась одиноко в избенке: работала на Ермолая за кусок хлеба, вспоминая спасшего ее комиссара Онисима Колоскова, все ждала чуда - вот-вот и заявится он...

- Пусти, Фиена...

Но Фпена вкогтилась в нее, как кошка в ласточку, вытащила в мирской круг горячих азартных людей, пахнувших здоровым потом и вином. Сбился с головы бывшей монашки черный платок, явил людям овсяную копну волос, тонкое лицо целомудренной спесивости.

Под мельницей, под гибельницей,
Мужик бабу миловал,

Всю солому разбрыкал,

пропела ей в глаза Фиена, глумясь над ее нетронутой святостью.

Паша вырвалась, налетела на Якутку, как от огня, откачнулась от него, невольно прижалась к груди Тимки Цевнева.

- Не давай меня им, Тима, милый. - И спряталась за его спину, как цыпленок за наседку.

Посмотрел Тимка на одноглазого Якутку, и тот попятился, смешался с народом на кухне.

К вечеру охмелели, заплясались, заморили коней в катаниях. Держались дружка и крестная мать: такая их должность - ума не пропивать, блюсти порядок. Выносливей всех оказалась Фиена: как вцепилась в Острецова, так и не отставала, приплясывая, извиваясь тонким телом.

Захар уж на что бывалый, в трех смолах кипящих варенный, в трех щелоках мытый, рубелями ребристыми катанный, и то конфузливо отмаргпвался, пока Ермолай Данилыч не урвал его у солдатки, утихомиривая ее фырканье:

- Совести нет у тебя, Фиенка, передыху не даешь нашему хлебовскому совнаркому. Смотри, пена ошметками летит с него. Скопытится, где другого такого умача найдем? - Повелительным жестом спугнул со стула свою жену, усадил Захара. Сокрушенно и жалостливо сказал: - Белая ты ворона промеж нас, неучей. Нет полномерного приклада твоим познаниям. - Вытер клетчатым платком красную лысину. - Подумаем о земле. Земля тяжелая, Святогор только и может носить ее. Из рук помещиков она выпала. А какие хваты были Шебахалов, Дуганов-князь, Чернышев. Народу может земля довериться. Но какому?

Народ народу рознь. В одном колосе двух зерен одинаковых не бывает. И в Библии сказано, быть всемирному единению. Вон хоть братку Кузю спроси. Неграмотный - не беда, книга сама шепчет неукам свои думы потихоньку самые сокровенные. Братка Кузя, бог за братство?

- Благодетель ты мой! - полез Кузьма через стол целоваться с Ермолаем. - Мы с тобой родные братья. У тебя есть - у меня есть. А нету, попрошу дашь, слово не скажешь. Захоти, упаду в ноги, и Автонома и молодую сноху приневолю...

Захар усмехнулся, вспомнив: однажды вернулись гуся Кузьмы с пруда полуживыми, волоча по земле вывернутые крылья. Даже гусят не пощадила мстительная рука.

Захар видел, как Якутка увечил птиц. Кузьма порубят искалеченных гусей молча. А на заре следующего дня Зохар видел, как на задах по огороду Ермолая ходит здоровенный Кузьма, помахивая косой, посек все подсолнухи.

- Не о себе извожусь душой, - продолжал Ермолай, отклеившись бородой от бороды брата. - Давайте сбиваться в кучу - моя молотилка, ваши руки. Купим трактор, он, железный дуролом, пораспашет земельку. Держава должна опираться на умельцев. Они дадут хлебушко, мясо, одежду и обувку. Укрепят они ее супротив великохлебных держав. Главенствовать хлебом может Россия. Пусть расправят плечи сильные.

- И власть потребуют, - колко уточнил Захар. - А ты, Максим Семионович, почему помалкиваешь?

- Я не богатый, надо мной коса-уравнительница не сверкает. А по-серьезному скажу: державе сила нужна от всего народу, а Ермолай Данилыч куда режет борозду?

Ты сдай все машины на общее дело, а получай по работе.

- Я сдам молотилку, веялку, сортировку, пяток коней со сбруей, а Степка Лежачий вошь на аркане прив-одет? А урожай делить поровну? Грабеж! Нет, получать будем по паю внесенному. Или пусть отнимают все. Да и что я заработаю в моих годах?

- Ты Степаном не заслоняй села. Мало у нас работяг?

- Пока не велят, куда вы лезете? - загудел Егор. - Скажут, когда надо. В семнадцатом годе кликнули крушить - начисто смели. А раз молчат - не пришла пора.

Поживем привычно, упряжь обмялась, попритерлась.

- Слепорожденные доживем до беды... - Крепкой ругачкой Ермолай перекрестил своего брата Егора, расправив бороду, подтянул бабам серебристо дискантя:

Две Акульки-то в люльке качаются,

Два Алешки-то в ложке купаются!

Максим Отчев из переднего угла, оттолкнувшись от лавки, перескочил через стол, лишь полой пиджака свалил крайнюю рюмку, выбежал во двор, сел на выпряженного сивого коня Усманова, погнал по улице, свешиваясь, хватая на полном скаку комья снега.

Ольга Цевнева повела Марьку в мазанку рядом с овчарней, под одной крышей с сараем. Сыпался с темного неба пропахнувший чистым холодом снег. Ольга потянула впотьмах к кровати, откинула тулупы, одеяло.

- Надень вот эту льняную рубаху, а завтра утром покажем ее гостям. Ты у нас честная. Дай-то бог тебе радости до скончания, любви до старости, кроткая ты моя. - Она поцеловала Марьку сладким ртом, перекрестила и вышла.

Марька дрожала в углу в одной рубахе, держась за свисавшие с перекладины веники. Острые, как поножовщина, споры за столом сильно подгорчили ее тревожное ожидание расплаты. Нет благостного покоя и ангельской чистоты в жизни.

- Не сдурил ты, Автономша, не выпил лишку? - слышался за дверьми мазанки голос свата Егора. - Суй в рот два пальца под маленький язычок, живо облегчит.

- Не пил я. И пить не собираюсь, - нелюдимо отбивался Автоном.

- Смотри у меня, знай свое мужское дело, не засни.

Уснешь проспаться потом, когда жена войдет в годы, как бабушка Домна.

- В избе постелили бы, тут окоченеет девка.

- Надо бы тебя в закутке на соломе рядом с коровами положить, приплоду бог больше бы дал... Ну, да ладно, чынче по-новому все.

- Дикое и бессовестное мелешь, Егор Данилович.

Сдурил я, согласился тешить стариков дикими древними обычаями.

16

Автоном вошел в мазанку, стукнувшись о низкий переруб, закрыл дверь на крючок.

- Ложись, чего ты стынешь, - сказал он Марьке, подтолкнув ее к кровати. Смутная норовистость нашла на него, и он не мог укротить себя. Положил на лицо Марьки тяжелую, пахнувшую ременными вожжами руку.

- Пока ничего не было промеж нас, сказывай, гуляла с кем?

- Автонома, мплып, вся я чистая! А ты?

- Вот тебе! - Автоном легонько ударил ее по щеке. - Не имеешь ты права пытать мужчину об этом. На то он и мужик, чтобы ангелом не быть. Ваше девичье дело блюсти честность, наше - ломать ее. Хоть и новые сейчас порядки, люди родятся по-старому.

- Прости, Автономушка, я нечайно спросила. - Марька обняла его.

- Ас Тимкой?

- Бог с тобой, что ты? Мальчишка. Как брат родной.

Да я с ним минуты не стояла нигде.

- А что ж он глаз с тебя не сводил? Ладно. Узнаем.

Ежели было, убью сейчас же.

- Убей, если вру. Вот тебе святая икона. Провалиться мне на этом месте...

- Ну, была не была, теперь уж все пополам.

Потом Автоном снял ее руку со своей груди.

- Не корю, только скажи, почему не призналась, когда сватали?..

Марька плакала.

- Наперво рассчитаюсь с тем подлецом-обманщиком.

А может, приневолили? Больно мне, Марька, от одной думы. Да ведь он, пакостник, смеется сейчас надо мной.

На моей совести нет греха, никого не принуждал, не обманывал, а эти гадят людям жизнь на первом шагу.

Страшно накажу я Тимку. Он, тихоня, может усыплять людей.

Марька вскинулась.

- Не он! Никто не виноват.

- Да если уж ты не соблюла себя, то что же говорить о других? Ну и девки пошли... Не плачь, постараюсь забыть все, с язвой в душе жить кому охота?

- Никого не тронь. Решай жизни меня.

- Не напрашивайся на расправу. Не уйдешь от моего гнева.

Автоном отвернулся. В дреме слышал не то плач, не то песню, очень печально и жалостно звучащую над его головой:

Из-под камня, камня белого
Выбегала речка быстрая,
Выбегала речка чистая.
Не лихой казак вел коня поить.
А ревнивый муж вел жену губить,
Не губи меня рано поутру,
А губи меня во глухую ночь,
Когда детушки спать уляжутся,
А соседушки успокоятся...

Кто-то давил снаружи на дверь, и она поскрипывала.

Марька толкнула Автонома, боязливо прижалась к нему.

- Лошадь, наверное, чешется, - сказал он. - Спи.

- Детоньки, откиньте крючок, - просил Кузьма.

Дверь, треснув, открылась. Сильнее запахло навозом, овечьей шерстью.

- Эка, бог какую сноху послал мне, штоб тебя совсем, а? Сейчас она упадет в ноги. А Ермолай грит, не упадет.

Какого шайтана знает он, короткий барин. Вот крест.

Упадет.

Автоном шепнул Марьке на ухо:

- Иди, поклонись, а то ведь не отвяжутся до утра.

Поеживаясь от валившегося в открытую дверь холода Марька упала в ноги свекра, коснувшись пальцами холодвого пола, а лбом - пахнувших скотным двором валенок.

Кузьма поднял ее, прижимаясь бородой к голове, плача от умиления.

- Ласточка ты моя родная. Не покорность нужна мне твоя, а уважение. В любви живите, детки. Все вам, дети мои, отдаю.

Закрыв за отцом дверь на засов, Автоном спросил Марьку, почему она ночью поет.

- Неужто? По дурости я забудусь и пою, сама не знаю про что. А вот тятя разговаривает сонный, все расскажет, что думает.

- Ты знаешь, ну, жалко мне тебя...

- Правда? А я думала, прогонишь меня утром... - Да ты вовсе еще дпте... успокойся, спи.

Протрезвевшая Фпена, вспомнив свою первую после венца ночь, когда для доказательства честности пришлось резать голубя, пробралась под насест и поймала курицу.

К дверям мазанки подошла на рассвете, держа под поле л курицу, вцепившуюся когтями в кофту. И тут она усомнилась в своей затее: а вдруг оконфузишься, как было с ней? Тогда тетка зарезала голубя, да от усердия окрылила перьями рубаху. Смеху было много, но Фиена враз повернула теткину промашку в свою пользу:

- Женишок разнесчастный Власушка положил жену на худую перину, вся, бедная, оперилась-опушилась, хоть впору летать!

А спокойный Влас поддержал ее:

- Такая егоза мешковину в ленточки располосует а не то что бязь.

Постояла Фиена у врат новобрачных, отпустила курицу и сошла разыскивать дружка Егора Данилыча. коему положено будить молодых. Не вот нашла Егора. С устали завалился в ясли и крепко уснул, обогреваемый теплым дыханием коров.

Одна коровенка с телячьего возраста повадилась жевать белье. И теперь она стянула с сонного Егора портки, изжевала в лоскутья, только ошкур остался, как расписывала Фиена свекрови.

Василиса обещала дать ему стариковы портки, а пока посоветовала укрыться полами.

- Засоня, буди молодых, - потребовала Василиса. - Они, касатки, в обнимку спят, я уж разглядела. А та прощелыга, Фиена, отвернулась тогда от Власушки, а он, сиротка, свернулся калачиком. Эти в любви заживут.

Вдвоем-то с набожной сношенькой образумим Автонома, позабудет он дорогу на сборища комсомольские. Откомсомолится...

Понукаемые Фиеной свахи нагрянули за рубахой невесты. Но Автоном грудью встал у порога мазанки, раскинув руки:

- Интересуетесь, какая у нее рубаха? Станина тонкого ситца, подол бязевый, а большего вам знать не положено. Муж и жена - едина плоть. Идите в дом. - Он растолкал обуянных любопытством женщин, пошел умываться.

Тогда Фиепа юркнула в мазанку с проворством хорька Норовя сдернуть с молодой одеяло, зло и вдохновенно уговаривала:

- Давай, Марька! Рот им заткнем!

- Автоном спрятал.

- Смотри, тихоня, лживый шаг обернется путем нечестивым и тернистым.

Во дворе смеялись над дружкой: проспал, не первый взбулгачил молодых. За такую провинность надели на Егора хомут, а сватью дородную посадили в стиральное корыто: вези!

Гости закусывали с ходу на кухне студнем из бараньих ножек, спешили в горницу, где начинали ломать-бить калинку. Раскосый Яшанька взял горшок и, топнув ногой, взвизгнул, ахнул его об пол. Вдребезги разлетелся. И началось. Даже Кузьма до того расходился, что схватил с пэчн корчагу с пампушками, поднял над головой, но Василиса вовремя отняла.

Молодка уж какой раз подметала пол, подбирая в мусоре накиданные гостями деньги.

Ермолай, кочевряжась, заходил от порога, волоча ногами солому до переднего угла, бросая деньги:

- Что-то плясать охота! - вскидывал рыжую голову с зализанной проплешиной от лба до розовой макушки.

А на кухне Автопом хвастался своему сотоварищу Семке Алтухову и Захару Острецову, отворачивая ворот рубахи и показывая укушенное плечо:

- Во как!

Острецов усмехнулся.

- Марька честная. По нашим временам - это чудо, - сказал Семка. Только ты больше никому не хвались:

позавидуют или не поверят. Теперь уж все концы в воду спускай, отбегался, распрощался с волей.

"Плохо мне, ох как тяжело. - Захар, мрачнея, не мог поднять глаз на Автонома. - Почему я не взял Марьку?

Отец не отдал бы, по глазам видел, не отдал бы. Красивая пара сравнялась... Уж не повыдуло ли из моей души все тепло? Надоело мне умиротворять людей, уговаривать, выслушивать себялюбивые речи... Уж прижму я вас!"

На молчаливого Автонома напала говорливость, и начал он приставать к посмуревшему Острецову:

- Захар Осипович, давай тебя женим, а? Хорошая девка у дяди Ермолая Люська. Я бы сам женился, да сестрой двоюродной доводится мне.

Захар вытащил из портфеля несколько купюр займа индустриализации:

- Бери! - жестко сказал он, у гну в лобастую голову.

- Мне-то еще зачем? - Автоном мгновенно, как на резком свету, сузил глаза. - Как отставанка с хлебом - ко мне, с займом -

опять я за всех?

- Без индустрии нас растопчут другие державы.

- Нас не стопчешь, мужик - как трава, по весне за силу возьмется, встрял Кузьма. - Татары не стоптали...

Острецов отстранил локтем Кузьму:

- Не суйся не в свое дело, дядя Кузя.

- Не тронь батю... - придушенно выдавил Автоном.

- Нехай воробей поклюет меня... - сказал Кузьма. - На, ударь.

- Одумайтесь, гости дорогие! - закрутился Отчев. - Автоном, иди к молодой... чего ты с нашим братом вязнешь.

Но Автоном, сутулясь, засунув руки в карманы, лишь отступил к печке.

- И ты, Захар Осипович, нашел времечко со своими займами, - упрекнул Отчев Острецова.

- Вам же, дуракам, желаю добра, пока не пропили деньги. Обогнать ыы должны их опять же ради вашего счастья. Мне-то что за болесть? Я одинок, вы, счастливчики, женитесь, плодитесь, а я изматываю свои нервы...

- Там, за границей, на машинах мчатся, охально и разгульно газом смердят на весь белый свет. До смерти не захлестнуться бы, норовя уравнять свою рысь с ними, - вслух раздумывал Кузьма. - Раненько отошел Ильич, выпали вожжи из рук его на самом ухабистом пути... А теперь кто только не тянет к себе вожжи - один вправо, другой влево. Задергают державу, губы в кровь изорвут. Я тоже толкал плечом воз из грязи, пока в глазах не потемнело. Теперь отскочил на обочину, - не ровен час, попятится колесница, раздавит.

- Политик ты, борода дремучая, - ронял Острецов, остывая.

- Кучерить должен один, - стоял на своем Кузьма.

- Царя захотел? - уже с привычным подшучиванием поддел старика Острецов, подмигивая Автоному.

- Без твердой руки расползетесь, как раки. Своевольники вы.

Нехорошо было на душе Автонома, стоял у печп, подпирая плечом косяк. Мучили с Захаром друг друга перебранкой, будто легкие надрезы по сердцу ножом проводили. Скоро ударит двенадцатый час вековечной жпзпн села... Рязанский поэт-горюн, мечась, плакал перед те:,г.

как голову сунуть в петлю: железный гость тянет к горлу равнин пятерню... "Пить я не умею, в петлю меня пока не тянет", - думал Автопом, едко жалея и презирая горькую слепоту этих близких ему людей.

- Такая судьба у России. Размечтается, на птпчек глазея, в песнях позабудется, глядь, а у других новая мапшнцшка засвистела. Очнется Россия, давай догонять, только лапти с

избитых ног летят ошметками, - почти себе под нос бормотал Автоном и, подхваченный тяжким чувством перечить Острецову, добавил далеко не то, что думал: - Видно, вываливай язык, а заграницу обскакивай. Не ты, говорун-активист, а мы захлестнемся в этой гонке. Ты будешь только горлом трудиться...

- Чьим ты голосом запел? - снова подступил к нему Острецов, избычившись.

Автоном сжался.

Семка положил руку на плечо его - дрожало оно, как у собаки перед рывком на зверя.

- Возьми, Автоном, докажи, что ты комсомолец, - упрашивал Семка.

Автоном вынул из кармана несколько ассигнаций, положил на стол, потом пересчитал полученные от Острецова облигации, взял с загнетки сппчкн, чиркнул и поджег одну облигацию.

- На, прикури, Захарка!

Кузьма горой встал между сыном и Острецовым.

- Смолчи, Захар, уговоритель и наказатель. И ты, Автономша, пдп к молодой, - повелел Кузьма. - Какого лешего не поделите?

- А об этом, дядя Кузьма, мы потолкуем с Автономен:

как-нибудь в темном уголке, - сказал Захар. Шагнул было в горницу проститься с Марькой, но натолкнулся на локоть Автонома.

На третий день после свадьбы Семка Алтухов вызвал Автонома на комсомольское собрание хлебовской ячейки, а Тимка Цевнев, член волостного комитета, после горячих споров добился своего: исключили Автонома Чубарова из комсомола за венчанпе в церкви.

С топ поры и закачало Автонома из стороны на сторону.

Знаток людских душ дядя его Егор-пи объяснил родным и близким так: высоко-де вознесся синеглазый и, чтоб спуститься, стал ловить мякпну, летящую с токов, и вить из той мякины веревку, а его раскачало то в Казань, то в Рязань, а то в Астрахань, и болтался он до сё дня между небом и землей. Долго ли удержит его веревка и куда, сорвавшись, упадет он неведомо.

- Становись, Марья, за хозяйство. Учись женской науке не давать себя в обиду, детям матерью быть, мужу - советчицей, а не потатчицей. Только с виду простая бабья забота, а на ком дом-государство держится? Мужик - работник, вояка. Нынче жив, завтра - война сожгла.

Вдовами держится жизнь после смуты. Бабы жпвущи долгом перед детьми. Учу я тебя, а сама спохватываюсь - не на камень зерно кидаю? Уж очень ты добра. Сердце на л адонп держишь, не хитришь. Пускай муж-то разгадывает всю жизнь тебя. А ты как

увидишь его, ноги подгибаешь, полымем горишь. Чай, надо и обижаться в меру.

- Люблю я его, матушка.

- Тьфу! С умом надо любить, с бабьей ловкостью.

А ты как есть дите. Чай не в куклы играть - жизнь-то прожить в уважении. Ох, Марьюшка, плохо не было бы...

Часть вторая

1

В губернский земельный отдел бывший комиссар Онисим Колосков явился в кожаной тужурке, кавалерийских брюках из кожи и сукна, с наганом в кармане, с орденом Боевого Красного Знамени на гимнастерке. Четко выстукивал по гулкому коридору огромного здания бывшего земельного банка, не поворачивая голову, косил стригущими, как у козленка, глазами на окна за ними на холмистой возвышенности, туго опоясанной кирпичной стеной, дичало пустовал женский монастырь, меж каменных плит вымахивала трава, давно не мятая Христовыми невестами.

Обезлюдела святая обитель с того августовского утра, когда колосковский отряд посек саблями на подворье монастыря отчаянных из летучего карательного отряда.

Под каменной аркой двустворчатых дубовых ворот приколенилась перед иконой божьей матери совсем молоденькая черница. В сурово-смиренную обитель загнала ее тоска по убитому в Галиции жениху лишь за полгода до публичного сожжения на площади портрета отрекшегося от престола царя.

Черный плат оттенял невинную белизну тонкого, тихой нежности лица. Самозабвенно устремленный к богородице взгляд перехватил Колосков, и разом заныло в душе его, и он проглотил вместе с горькой слюной не слетевшее с уст обличительное слово. Кинул в ножны крапленную красной росой шашку, легче ветра спорхнул с коня, нагнулся к скорбящей.

- Иди в мир, молоденькая... Просторный он после прополки...

Пуля резанула по шее, будто молнией захлестнуло.

Жарко застило глаза, потянуло к земле незримым воротом.

Уже потом, в госпитале, рассказала Паша, как напугала ее цевкой ударившая кровь из его шеи, навылет пронзенной пулей. Черным платком перевязывать стала, да ординарец отстранил, матюкнув как-то по-особенному, поинтернациональному, - свиреп был тот, в папахе, густобровый мадьяр. В госпиталь, в монастырскую трапезную, допустили ее к Колоскову лишь на третий раз. когда назвалась она двоюродной сестрой. Госпитальный старшой даже нашел, что глазами похожи, только у Колоскова - озорные, а у сестры великопостные.

Затерялась где-то в людском разнолесье та девушка Паша, а

воспоминания о ней нет-нет да шевелились в сердце родничковым ключом, больно и сладко.

Заведующий губземотделом, с зачесом назад, в толстовке с матерчатым поясом, покашливая в кулак, сказал, окая с колесо, объемно:

- Бой дали троцкистам и правым оппортунистам на губернской конференции видал какой. Извертелись вконец: мол, социализм строить можно, но не построить. Ты кинул в них увесисто: мы, рабочие, делаем паровозы, знаем, что не зубочистка получится, а паровоз. Так вот, дорогой товарищ Колосков Онпсим, хотя собачий хвост и воображает, будто он вертит собакой, а не наоборот, все же ощутимо давят кулаки на хлебном фронте. Горько! я т и ненадежен каравай классового врага. С полынком. Потому Политбюро решило создавать зерновые совхозы. Директором одного из них ставим тебя, дорогой приятель.

П фамилия твоя хлебная.

- Батенька мой, да у меня образование какое? Три класса прошел, на четвертом споткнулся. Скотеко-прцходское.

- Я сам затрудняюсь по части запятых. Иной раз з письме к ученому приятелю накидаю запятые в копце:

расставь по надобности, лишние зачеркнуть можешь. - Заведующий подошел к карте, обвел карандашом участок. - Около пятидесяти тысяч гектаров. Осваивай. Как?

Я не знаю. Будешь ты, Колосков, представителем рабочего класса, веди партийную линию на селе. В тех глухих местах совхоз примером и опорой должен быть. А природа строгая, капризная. Иногда дождь идет не там, где просят, а где косят, не где пыль, а где был.

Он вынул из сейфа пачку денет, отсчитал сто новеньких пятерок.

- На переезд и одевку. Отчета в расходовании этой суммы не требуется. Только распишись.

В костюме, с новым чемоданом ехал Колосков в международном дубовом вагоне. В Бузулуке подсел в купе бакалейщик из Хлебовки, Ермолай Чубароз, - ездил навестить дочь Люсю, студентку педтехнпкума. Зачесав рыжие космочки за прожаренные зноем уши, он завистливо восхищался хозяином маленького бузулукского заводика по изготовлению деталей к сельскохозяйственным машипал.

- Из ничего пошел в гору! - И с горечью несбыточного вожделения вздыхал: - Эх, волю бы ему... министр!

Да ведь не дают развернуться! Ну, а ты, Онисим Петрович, чем промышляешь?

- Хлебом и скотом! - весело ответил Колосков. - А не прижмут? допытывался Ермолай.

- Меня? Не прижмут! - сметливо подмигнул Колосков, поглядел на благообразное лицо в пробрызнувшейся сединой бороде.

За пивом Колосков открылся, кто он.

На станции Гамалеевка сошли чуть свет: Ермолай с сумкой за спиной, опираясь на дубпночку, Колосков с кожаным чемоданом, плащ кинул на плечо. Красно согревалась заря за тополями. Позевывал начальник станции в белом кителе, красной фуражке, с жезлом в кризот:

руке.

Задержались на перроне ради интереса. Подкатил поезд Льва Троцкого, отправлявшегося в ссылку в Арысь.

А пока поезд стоял, воняя первоклассными вагонами, адъютанты вывели на разгулку свору охотничьих собак, Лопоухие кобели, не теряясь, не обращая внимания и суматошный брех местных крестьянских дворняг, с победоносным презрением поднимали ноги у столбов и кленов, оконтуривая захваченную ими землю.

Из окна срединного вагона желтоватой краски высунулось резко очерченное, с лезвием-бородкой лицо Троцкого. Сняв пенсне, он смотрел на зарю выпуклыми, мутными спросонья глазами, ероша ржаво побитые сединой кудри.

Когда поезд, дернувшись взад-вперед, тронулся, Колосков поймал взгляд Троцкого: застоявшееся презревг и скука отяжелили этот взгляд до тоски... Перед ним разметались те самые русские деревни, которые он с ожесточенным высокомерием называл насквозь контрреволюционными и которые город должен подвергнуть беспощадной военной колонизации. Считавший себя наполовину мужиком, Колосков сильно гневался на Троцкого даже сейчас, когда он, поверженный, отправлялся в ссылку.

А Ермолай уже вдогонку вилюче раскачивающемуся вагону вроде позавидовал:

- Впереди нас пущают. И тут почет! Коснись нашего брата хлебороба, небось пешком погоните...

- Мертвым всегда уступают дорогу на могилки, - сказал Колосков.

...В Хлебовке во дворе сельсовета Колосков встряхнул пиджак, кепку, надергал сена из-под бока спящей в пролетке под навесом женщины, обмел сапоги. Сел на крылечко в тень, закурил, улыбчиво поглядывая на смуглую, девически тонкую шею спавшей.

Женщина повернулась на живот, потянулась, раскидывая руки и ноги, жмурясь и позевывая, чмокая спросонья губами.

- Ох, батюшки родные! - вскочила, одергивая кофту. - Чуток вздремнула... - Глаза ее тревожно распахнулись.

Разом все затихло, захолонуло в Колоскове.

- Паша?

Она кивала, все ниже опуская голову, пальцы метались у ворота кофтенки.

- Да каким ветром занесло тебя сюда, Онисим Петрович?

- Судьба, Паша, судьба...

Паша стояла в проеме открытых дверей, выпрямив высокий стан, вскинув осеянную солнцем милую светлую голову с детской кучерявостыо пониже затылка. Разбитые, в мозолях и ссадинах кисти, как бы приморозившиеся к стоякам, накрепко породнили Онисима с ней.

Пропылила по улице пара - коренник плыл не шелохаясь, кажись, на дуге стакан воды не плеснется, пристяжная выгибала шею на сторону.

- Председатель волисполкома Третьяков в степи поехал, землю в аренду сдавать богачам, - говорила Паглг, повернувшись к Колоскову тонким профилем. - Не дождешься ты, Онисим Петрович, Острецова - и он махнет туда же...

Она запрягла сельсоветского каурого конька, повеела Колоскова в совхоз.

Был развеселый гулевой день Ивана Купала, по всей Хлебовке всплескивались голоса, дурашливый визг девок и парией - гонялись друг за другом с ведрами, корцами воды, обливали.

- Ноне не пройти - плещут из каждого окна, подкарауливают за воротами, - сказала Паша, настегивая каурого.

За горой остановились у колодца.

- Угостила бы холодной водой, сестрица. - Колосков заглянул в бездонно сиявший под ветлой колодец.

Паша отстранила его локтем, спустила на вожжах ведро.

Холодную солоноватую воду Колосков пил маленькими глотками, жмурясь.

- Живут люди: щи солить не надо. Чем запиваете после такого рассола? поигрывал Колосков.

- Вином. Зато глотошной хворью не маются, ноги не сводит суставная немочь. Один городской уж так двошал, так бился в кашле, грудь и плечи ходуном ходили. А попил водицу, стал спать, как младенец, дыхания не слыхать...

Паша понесла ведро будто коню, но, зайдя с тыла, опрокинула на бритую голову Колоскова.

- Сдурела?!

- Чай, нынче Иван Купала. - Паша разгладила на груди мокрую кофту и, покачивая высокими бедрами, спряталась за кустами вербы. - Не искупаешь!

Колосков схватил ее со спины поперек.

- Попалась!

Плавно откинув белокурую голову, Паша присмирела в замке его рук. Жарко взглянула через плечо на Описима, присела, вырываясь. Любуясь статью сильной рослой женщины, Колосков сказал:

- Верткая. - И с мучительным легкомыслием спросил: - Замуж-то почему не выходишь, молоденькая?

...Как-то в начале зимы Паша пошла с тазом и веником в баню. И только распарилась, открылась дверь. Не сразу разобралась, что ворочается в духовитом пару Якутка одноглазый. Промашливо плеснула кипятком, он вовремя заслонился веником. Не дал Якутка утопиться з проруби. Ночью, закутав в тулуп, донес ее до избенки.

На коленях стоял перед нею, лежавшей на кровати, просился в мужья.

- Даст моя сестра мне за работу телку. Хватит набатрачить. Две собаки оберегут нас...

Паша так страшно закричала на Якутку, что он, крестясь, выпятплся из дома...

- Али не хочется замуж? - тихо спроспл Колосков.

- Грех был у меня... Ждала сватов сыздавна... с тех пор, кпк у врат монастыря подъехал ты на коне...

- Не врешь, молоденькая? Ну тогда стакнемся...

Отдыхали среди пестревших цветов луговых трав с белыми, желтыми метелками, духовитой овсяницей...

Запрокинув голову, Паша глядела на Колоскова углубленными свежим темнокружьем глазами.

- Когда ждать, Ониспм?

- Заберу я тебя в совхоз, девка.

- Побереги себя... лучше я буду за речку в кустч приходить вечерами...

Домой к своему хозяину Ермолаю не вернулась Паша - уговорил Колосков остаться в совхозе экономкой.

2

У холма с прорезавшимися из суглинка камнями стоило несколько подвод. На тарантасах, тачанках и верхами на конях съехались хозяева-умельцы заарендовать на тричетыре года из века не паханные госфондовскпе земли.

Кони и люди двоились в горячем слюдяном потоке полдневного марева. Далеко-далеко сенокосил совхоз, ужо густо

выкруглизалпсь ометы по ровной черноземной степи. Сторожили ту плодородную равнину каменные горы с четырех сторон - гнездовья беркутов.

Председатель волпсполкома Иван Третьяков в широких льняных штанах млел со своей грыжей на знойном солнцепеке. В молодости хвастал силой по ярмаркам, поднимал вагонный скат, даже циркового борца метнул через голову за круг, за что и похлестали железными прутьями в темном переулке после представления.

- Ну, берете или как? - спросил Иван Третьяков, не сводя сонных глаз с далеко пасшихся в траве дудаков. - Надоели вы мне, сквалыжники.

Ермолай Чубаров вскинул к солнцу веснушчатое лицо, пожевал сладкую пырышку:

- Травы укосные, хаить не приходится. Да вить дорого... Навечно бы, другое дело.

- А век-то твой длинный?

- Не будем угадывать волю божью. Ладно, не живется тебе тихо, Иванушка. Уступай все это заложье за двадцатку - и по домам.

- Ваша не пляшет, Ермолай Данилыч.

- Тебя боженька по голове не стукнул? Пусть жирует земля бесплодная. Травы сгниют на корню. Да и потаенно накосят проворные. Уступай, тут больше двадцати десятин не наберешь.

- Давай мерить.

- Мы не в Курской губернии, чтобы с косой саженью бегать по полям. Наши земли на глазок прикидывай.

Там вон плешина, сурчина - скосить надо, - лениво гогорпл Ермолай в тени под натянутым на колья пологом.

Попадья Калерпя Фирсовна вынимала из горшка размякшие в сметане пампушки:

- Отведайте.

Стеснительно отнекивались. Она уминала за обе щеки, вытирала платком яркие губы.

- Мне всего-то пяток десятин. Так батюшка наказал.

Горячкин, маленький, болезненный, сморщенный старичок, маялся с похмелья, морщась от изжоги, проклинал в душе прижимистого Ермолая: "Чего он выкамаривает?

И так почесть даром. О господи, икота начинается. Это Мавра табаку подсуроппла вчерась..." Горячкин едва доковылял до своих дрожек, порылся под кошмой в свежем сене в кошелке, достал кувшин. Заполз в тень к односельчанам, дрожащей рукой выдернул из узкой горловины деревянную затычку с тряпицей.

- Мать попадья, может, у тебя лампада найдется?

- Погодил бы, Пимен, еще не сторговались.

- Помру, пндо пот липкий прошиб от слабости, сердце мрет.

- Ну, тогда с богом, выпей, закуси пампушечкой.

Горячкин запрокинул голову, выставив редкую, как рожь-падалица, бороденку, тянул самогон маленькими глотками, почти обморочно закатив белые глаза в набрякших веках. Мучительно стянуло в узел морщинистое лицо. Пожевал прореженными зубами корку хлеба.

- Причастись, Захар Осипович, - бойчее заговорил он, отвердевшей рукой протягивая кувшин Острецову.

- Я с вами не питух, не едун, - сказал Острецов, взглянув на Третьякова, ища поддержки. Но тот выпил с Пименом.

- Случайно уцелела. К свадьбе сына курила старуха, да вот осталось. Некогда пить-то нашему брату, - совсем оживел Горячкин.

- У тебя, дядя Пимен, скорее сливки прокиснут, чем бешеная водица застоится, - ухмыльнулся Острецов.

- Перекусим, пока начальники думают, - сказал Ермолай.

Доставали и развязывали мешочки, лупили яйца, разламывали кур, индеек, нарезали сало, распечатывали бутылки...

"Измором норовят взять. Поехал натощак..." - Острецов встал. Вывел коня на бугор, скользя сапогами по скипецу, там будто бы чуток тянуло ветерком и крючковатые оводы поменьше кружили у щиколоток коня.

Третьяков поднялся на бугор, тяжело отпыхиваясь.

Бурой краснотой налилось под солнцем полное бурдюшное лицо. Глаза маслились в пухлых веках.

- Напрасно выказываешь горячку, Захар. Выходят, я рядом с тобой кулацкий прихвостень. Да?

- Не рядиться с ними... Хлестнуть бы слева направо пулеметом... Злобно ненавидят нас. Будь их воля, полетели бы головы наши... И когда играть с ними перестанем?

- Пусть пока ковыряются в земле. Уступим, все равно воровски выкашивают травы. А засеют, все в государственный сусек перепадет зерно.

- Тут бы табуны нагуливать артельные.

- А где у нас с тобой скотина? Птица пасется - дудаки, журавли да стрепеты.

Хлебовцы сбились вокруг Тютюева - широкие прямые плечи и голова в выцветшем красноармейском шлеме возвышались над ними. Молча, посапывая, пошли они на холм следом за Тготюевым, засунувшим руки за армейский пояс.

- Лейб-гвардии его императорского величества

Преображенского полку рядовой правофланговый первого батальона, - выкатывая глаза, отбухал Тютюев. - Император Николай Второй, бывало, подъедет на коне к правому флангу преображенцев, тоисть ко мне, так усы и бородка его в уровень с моими, хаша я на земле, а он на коне. На корову золотыми дал он мне за мой рост. Эх и удойная корова! Только купить ее помешала революция.

Я сам застрелил командира полка, графа... по сих мест в воде стоящинского, - Тютюев провел ребром ладони повыше колен, - заслужил я эту землю, Третьяков. У Ивана Кашприна трубачом славил революцию. Бывало, идем в атаку на белых... За что я сражался? Землю давай хлеборобу! Мы все революционеры...

- Подвели тебя социалисты-революционеры насчет земли и воли? - спросил с издевкой Третьяков.

- Вы - тоже! Под нулевку стригете, разработаться не даете. Несерьезная жизнь.

- С чужого голоса поешь, дядя Петр, - сказал Острецов.

- А у тебя, Захар, давно прорезался свой? Ну, Третьяков туда-сюда, он никогда не пахал, не сеял, мужик для него чуженин. А ты-то вроде наш брат хлебороб, почему же режешь кривую борозду?

- Борозда моя прямая. А ты... против Советской власти идешь?

- Люблю я власть! Как один знакомый татарин говорит: "Уи, как хорошо Советская власть, только бульно длинная..."

- Знаем мы этого татарина, - все круче закипал Острецов. - У Дутова лиходейнпчал, хвастал: "Ми бульшевик рубиль, как капост. Чулка, варежка берем, мах не даем!"

- Нага эскадрон Ильи Цевнева загнал твоих, Тютюев, знакомых в Сакмару, да, знать, не все захлебнулись.

- А вернуться не могут? Летось попутно подвез я до станции двух военных. Мы, говорят, свое возьмем. Вы тут не особенно своевольничайте на наших землях.

- Что раньше, что сейчас, наш брат как мазался в назьме по ноздри, так и будет мазаться. Говорят, сынок князя Дуганова чуть ли не целым краем закручивает.

Фамилия другая у него.

- Не бреши, чего не знаешь. Незаконному сыну князя Митршо незачем скрываться, он сам эти земли отдал крестьянам. А государство залапнло. Тютюев сдвинул на затылок шлем с обношенным шпшакоы. - Уступай, Третьяков, и дело с концом.

- Берите отсюда вот до шихана, где беркут сидит.

- А косогор-то можно прихватить? - развеселился Горячкин.

- Прихватывай... могилку облюбуй себе, жаден ты, дядя

Пимен.

- Будешь жаден: детей, скотину кормить надо?

Совсем уж было договорились, только мать попадья выспаривала себе самую густотравую низину, оттесняя Ермолая, с напевно-благостной неподатливостью повторяла:

- Меня не обкрутишь, я сама на семерых яйцах сидела, а девять птенцов вывела.

Тут-то и вымахали из-за горы два всадника на поджарых золотистых иноходцах. Запоздалой редкой сединой поблескивали строгие усы на мосластом дубленом лице бывшего дугановского приказчика, ныне совхозного объездчика Степана Афанасьевича, поигрывающего нагайкой.

- Что за люди? - властно бросал Афанасьев, разнуздывая своего коня, отпуская подпруги. - По какому праву топчете травы совхозскпе?

Другого мужики видели впервые: трудно поворачивал короткую, с пулевым шрамом шею, беззастенчиво смелые глаза под вскинутыми бровями остро прошлись по лицом хлебовцев. Спешплся мягко, расправил корпус, одергивая гимнастерку, приподнял кепку над крутолобой бритой головой.

- Я директор совхоза Колосков.

И хлебовцы приподняли картузы, блеснув незагорелыми у корней волос потными лбами.

- Онпспм Петрович, ты а ли тоже прикупить земельки? - заговорил Ермолай, показывая всем, что он знаком с этим человеком. - Мы вот тут об аренде дотолковалпсь, Оппсим Петрович. Ты уж не перебивай.

Колосков расстелил на лысом взлобке бугра карту.

- Эти земли, батенька мой, переданы совхозу, - сказал он смеясь. Землемер уже ставит столбы.

- Свалилась с моих плеч обуза. - Третьяков вздохнул, усмехаясь жестким ртом, глаза же его были злы. Немало перепадало ему, бывало, от сдачи в аренду государственных земель...

- Опять как при помещиках... Где же нам-то сена косить?

- Да совхоз хоть бы со своими справился... А ты, случаем, не смеешься, товарищ Колосков?

- Кто хочет косить и метать сено для совхоза, записывайтесь у Степана Кирилловича, получайте задаток сейчас же. Вот деньги. - Колосков открыл кожаную сумку, передал Афанасьеву.

- Десять тысяч гектаров уже подрядились убрать жители Бадейки!.. азартно гудел Афанасьев. - Подряжайтесь, пока не проморгали.

Попадья подтянула чересседельник своей мохноногой

лошадки, села в двуколку, уминая подол сарафана.

- Треснула земля, вылез сатана, - сказала она, хлестая вожжами разъевшуюся лошадь.

Тютюев долго гнулся над картой, выпрямился, упирая руки в бока. Сел на коня, съехал в долину, постоял, потом вернулся.

- Я думал, брешут насчет совхоза... Не сладить... - сказал Тютюев. Ладно, давай задаток, Степан Кириллыч. Весь проулок подыму... А сеном можно получить?

- Можно и сеном.

Афанасьев слюнявил карандаш, записывал фамилии подряжающихся, отсчитывал новенькие пятерки:

- Отгуляла земелька, сепа сымем, распашем!

- А силенок-то хватит поднять этакую прорву? - сощурпл хмельные глаза Горячкнн.

- Вспашем, не тужи за нас. Двести быков, пять тракторов пустим пар поднимать! - клекотал хрипловатым голосом Афанасьев, мстительно радуясь, что земля взята крупно в одни руки. - Плугарей и погонщиков берем.

Айдате!

Захар Острецов, по случаю торгов принаряженный в шелковую косоворотку, с начищенным до блеска желтым портфелем, вразвалку подошел к Колоскову, улыбаясь глазами с камышовой зеленцой.

- Духовитые, - похвалил он колосковскпе папиросы, сведя глаза на струйку дыма, - хлопни стакан, закури, ни одна холера не учует. Бпк якшп! - почесал мизинцем шелушившийся от частого купания нос, сдвинул кепку на затылок. - Вот эти земли, - обвел черным пальцем по карте. - Тут сидят два выселка, так дворов по десяти.

Все укрывают посевную площадь, пьют самогон. Живут по-скотски. А на том умете коммуна родовая. Из староверов. С ними как?

- Закуплю дома с постройками. Кто хочет пойти рабочими - приму, - все больше веселел Колосков.

Ермолай взял Колоскова под локоть, отвел в сторону.

- Онисим Петрович, не о земле я, а насчет Пашки-монашки.

Колосков выдернул локоть из сплетения его пятерни.

- Батрачить на тебя она не будет.

- Гляди, Петрович, как бы не сгубил себя, она только с лица-то сирота, а передком разбойница.

3

Вернувшись из уездного города подстриженным по-модному высоко, Захар Острецов едва упросил помрачневшего Автонома пойти с ним к Ермолаю сватом за Люсю, обещал другу добиться

его восстановления в комсомоле.

- Бот где днюет и ночует этот котенок Люся! - постучал он кулаком в свою загудевшую грудь. - Приходила в сельсовет, ну, так, по своим личным делам, говорит со мной, а я гляжу на нее балда балдой, пропадаю безвозвратно. Ох, и решительная девка!

Острецов сам обулся в калоши и свата окалошил - одолжил напрокат у знакомого кооператора,

На улице, по дороге к Ермолаю, Захар советовал Автоному пока помалкивать о сватовстве, особенно не проговориться до времени Тимке Цевневу - этот святой дурачок такие узлы навяжет, что сам Саваоф и Карл Маркс не распутают.

Поначалу Захар хотел было попросить простачка Тимку воздействовать на невесту внушением, но вовремя укоротил себя. Оказывается, кто-то настрочил в педтехникум письмо, требуя исключения Люси из студентов.

обзывая ее выкормышем кулацким. Поэтому девчонка и прилетела в Хлебовку за неделю до каникул и бросилась к Захару за помощью.

- Я тоже многое знаю, а кто от меня слыхал (болтовню? - Захар обнял Автонома, смеясь. - Видал, как молнии ударяют в речку и там, в глубине, исчезают? Так и во мне все тайны-секреты мрут. Потому-то людям я нужен. И высшие власти довольны мною: продналог, дополнительные обложения - во всем я на первом месте.., Если с Люсей стакнемся, куплю я тебе резиновые сапоги - нэ найдешь лучшей обувки работать в слякоть.

Во дворе Ермолая Антоном разнял изнемогавших в драке двух кочетов. Заняли они каждый свой бережок у свинцовой, рябой от ветра лужицы, загорланили курам победно, гордо поднимая расклеванные в кровь гребешки.

У кухонных дверей стояла Люся, скрестив на груди руки. Солнце высветлило ее слегка зажелтелое городской испитостью лицо с ямочками на щеках, с редкими веснушками, как у приворот-травы. Собрала лукавые морщинки у самых глаз, прозрачно голубых, с тенью мимолетного предвесеннего облака, попросила у Захара закурить.

- Только не выдавайте меня родителям. Я уж с Якуткой дымила под сараем. - Перекатывая в губах сердечком папиросу, сняла шаль с женственно-покатых плеч, накинула на голову Захара. - Пусть проветрится, а то мама унюхает. Затянувшись, пуская дым ноздерками, раздутыми с легким своеволием, взяла Захара под руку. - Образумьте моего старика. Как закапало с крыш, он потерял покой. Работников решил поднанять. Я не хочу быть дочерью кулака.

- Он культурный землероб, - с усмешкой сказал Захар. - Я

придавлю батю дополнительным обложением, пусть не взвивается.

Ермолай и Прасковья Илларионовна еще не остыли от гнева: с утра Люся потребовала от отца свертывать хозяйство, закрывать лавочку, а лучше передать ее в сельпо, выделить Якутке лошадь с коровой. До того разошлась, раскипелась: дом сдать под избу-читальню, а самим перейти в подвал, подальше от мирских сует. Свара чуть не дошла до дележа, и только отказ Люси от своего пая (я не наживала!) удержал Ермолая от немедленного приглашения председателя сельского Совета. Прищемило сердце Ермолаю, посинели губы. Насилу отпоили настоями трав, болеутоляющих, тоску смиряющих.

- Жизня, что ты делаешь с нами? Вяжешь узлы - один туже и садче другого, - пропаще шептал отец. - Ладно, уходи, не держу.

Но теперь, когда Захар сам заявился, у Ермолая уже потеплело в загрудье.

Принявшие для смелости пузырек на двоих Захар и Антоном прямо в калошах протопали по крашеному полу в горницу. Захмелевший, самоуверенный, как все женатые, Автоном напрямик повел дело. Захар же пропаще-покорно глядел на невесту, обмирая сердцем. Маленькая, простая в обращении, она, кутаясь от лихорадившего озноба в шаль, улыбалась, видимо принимая сватовство за шутку, и была она со своими ямочками на щеках, с очками, которые то надевала, склоняясь к книге, то снимала, так мила Автоному, что он старался, будто хлопотал за себя.

- Люся, ты никогда не пропадешь за Захаркой, то есть Захаром Осиповичем, мужик он дошлый, ушлый...

Поверь мне, родне, ведь ты такая красивая... видел же я, как ходила ты летом на огороде среди подсолнухов...

И косы твои желтые, как подсолнух...

Когда Люся, неловко шагая в больших отцовских чесанках, ушла на кухню, а сам Ермолай спустился в магазин, Острецов тряхнул Автонома за грудки:

- Что тебя прорвало? Испортишь всю обедню. Я тебя взял потому, что ты красноречив, как линь в нашем пруду, а ты разбрехался о каких-то подсолнухах.

Автоном опамятовался. Со стыдом глянул через плечо жениха, и то, что увидал, враз протрезвило его; Люся зашла с тряпкой-поломойкой, вытерла натоптанный пол и очень просто и потому особенно убийственно попросила обтереть о вехоть ноги, если нельзя снять калоши.

Захар сказал, что он возрадуется, если Люся шлепнет его по физии этим вот вехтем. Она засмеялась, приняв шутку, с

интересом взглянула на Захара и как-то по-особенному заметила большой сильный лоб и редчайшей выточки красивый нос.

В горнице накрыли стол, сама хозяйка Прасковья Илларионовна пригорюнилась в сторонке под фикусом, доверчиво взирая на Захара заплаканными глазами, покорная родительской доле, - ничего не поделаешь, невеста в доме, будь ласкова.

Захар оставил рюмку, заговорил о деле - сколько десятин думает засеять Ермолай Данилыч? Облагать налогом надо.

- Теленок еще не родился, а ты, Захар Осипович, уже с обухом стоишь, тюкнуть промеж ушей.

- Порядок и закон. На нас никакая власть не угодит. На парей обижались. На Петра особенно, а на Советскую власть вроде грех коситься. Государству хлеб нужен.

- Это верно. Ни одна власть не согласится задаром властвовать над памп, дураками-своевольниками. Так и брат мой Кузьма говорит.

Захар попросил у женщин разрешения закурить и угостил папиросой Люсю. Прикуривая от его спички, она щурко глядела в его глаза - умные, тоскующие. И пожалела, что окоренился он в Хлебовке.

Захар вынул из портфеля какую-то бумагу и с достоинством подал ей. Люся, надев очки, прочитала, пожала руку Острецову и неожиданно для себя обняла со спины и поцеловала в щеку.

- Умница вы, милый Захар Осипович.

- Учитесь смело, Люся, заканчивайте техникум...

ждем вас...

Мать заплакала не то счастливыми, не то тревожными слезами, отец сказал, что вроде бы рановато кричать "горько", однако налил всем.

Автоном встал, прощаясь.

Люся проводила его до калитки.

- Что с тобой, Автоном? Жена молодая ревнует? - ласково и понимающе заглядывала в глаза его.

- Жена? - удивился он горьковато, будто сейчас только и узнал, что у него есть жена. - Да, вот как-то женился. Богомольная, не осерчает.

Люся взяла его за руку и, раскачивая, сказала, что нынче легко расходятся. Он глядел на нее с печальной строгостью.

- Я пошутила о разводе. Что она, очень уж дика?

- Анадысь идем с ней от тестя, а на дороге яйцо куриное лежит. Я поднял, так она ужаснулась: "Брось, наговоренное, беду принесет". Я выпил яйцо на ее глазах.

Теперь она каждое утро глядит на меня так, будто

удивляется, что я не помер до сих пор... Люся, ты ведь все равно не пошла бы за меня, а?

Люся прикрыла лицо рукавом.

- И почему так долго задлилась зима? - сказал Автоном. - Хоть бы в поле скорее. - Снял калоши, обмыл в луже, надел на колышки. - Захару передайте. Это он напрокат выпросил в кооперативе, пыль в глаза пустить...

К своему дому, где стояла Марька, шел Автоном тяжело.

В горнице Ермолай уговаривал Острецова:

- Голова болит? У меня тоже звенит в ушах. Полечимся. Выпей через не могу, полегчает. Дочка, садись с нами.

Захар смотрел в окно на деревянный амбар, поставленный впритык к верее ворот.

- С Ветровой рассчитался? - спросил он. - За этот амбар. В голод попал за ведро муки, знаю.

- Да ты с меня в ее пользу брал сено. Вдовица сама должна мне. То селедку, то гвоздей...

- Забудь ее долги.

"Пьет-ест со мной, а гнет свое. Ни стыда, ни совести", - думал Ермолаи.

- Да разве тяпу их силой займать у меня? Сколько пи важь людям, сам же виноват кругом. Порядки! Лежачий Степан понабрал, глаз не кажет. Я, говорит, летом отработаю. А как? Он лошадь запрячь не словчит. Станет надевать хомут с хвоста. С ним только свяжись... от профсоюза не отбрыкаешься. Бог с ним... А вот дочь буду выдавать, гульнем!

Тут полился мягкий и глубокий голос матери: сама вышла шестнадцатилетней за тридцатигодовалого Ермошу и ни- разу не покаялась. И дочери вымаливает у бога самостоятельного, обмятого жизнью человека.

Красневшая студенточка всей молодостью своей напомнила Захару недавнюю чистоту его помыслов. Не было тогда самогонки, головной боли, горьких раскаяний и зароков не терять себя. Что такое теперь его жизнь?

- Мутно на душе. - Острецов с грустноватой улыбкой взглянул на Люсю. И я когда-то был молодой, светлый. А сейчас? Морда кирпича просит, глаза выцвели, вот-вот осыпятся куколем.

- С чего закручинились, Захар Осипович? Пьете? - спросила Люся.

- Вино не виновато. Вино только аукнулось на какой-то зов отсюда вот. Ермолаи прижал ладонь к сердцу. - Не за тот корень ухватился, а? Без силы нет науки, а без науки нет силы. Вот помощник был у меня, жены родной брат. Промотал отцовское добро - эта вот горькая капля сгубила. Даже имя его у людей в

забвенье - Якуткой кличут. Как собаку. Мы тоже мимо рта не проносили, да ум не теряли.

- Мне стыдно, Люся, перед вамп.

Она усмехнулась, с холодноватой разумностью посоветовала:

- Не пейте. Все очень просто, Захар Осипович, Ермолаи успокаивал Захара посердечнее:

- Не надо смятения духовного, орел ты. С вином должны быть отношения хозяйские: не бойся его, но и не давай сесть верхом на твою душу. Начали мы с ним, с Якуткой то есть, скот пасти у гуртоправа Краснихина.

На равных правах: у обоих по кнуту да дубинки в руках, даже один волкодав на двоих. А со временем кончилось чем? Я хозяин, он на собаках катается, людей смешит потерей своей чести. И уж совсем упал было, если бы я не подпер его плечом. Подсовывал ему монашку в жены, да он, дурак, не удержал. Колосков вкушает теперь ту ангельскую просвиру, а Пашка замаливает его прегрешения.

Ермолаи опытным глазом определил по розово-воспаленным скулам Захара, что мается тот с похмелья. Налил еще по одной.

- Ведь тут была бы сноровка, да власть бы хоть одним ухом глагол крестьянский улавливала, табуны темным-темно разведешь...

- Не дадут кулакам подняться, Ермолаи Данилыч.

У государства вострые ножницы - подстригут.

- Душа желанная! Этого слова ждал от тебя! Скажу тебе быль. Отец Герасим встретил в пустыне льва вот такого, с жеребенка. Лапищу разнесло, аж воняет гнилым мясом - заноза. Монах вытащил занозу. И лев-хищник через страдания посветлел разумом, до смерти служил своему спасителю. На могилке его помер в тоске. А меж людей разве не вернее любовь должна быть? Неужто мало крови пролито за эту братоубийственную войну?

Доныне сок у травы с кровинкой. - Ермолаи семенил по половику, покрасневшая лысина вспотела, даже венчик рыжеватых волос потемнел от пота.

- Будет тебе, Ермоша, расходился, опять в груди заломит, - ласково останавливала его жена.

- Жить вполсилы? Вполдыха дышать? Думать, искать надо! Теперь бы мне что искать на старости лет?

Зятя в дом - забирай вожжи в свои руки, дери тебя горой!

- Опять за свое! - загорячилась Люся, хлопнув руками по своим девичьим бедрам.

- Не мешай, книжница. Это для тебя я - ни с чем пирог, а другие за человека меня почитают! Ладно, войдет зять в дом, поделю хозяйство на три пая: себе, дочери с зятем, Якутке с

монашкой - она прибежит. И черта два меня окулачншь...

- От хозяйства отказываюсь. Будь свидетелем, Захар Осипович. Сейчас же напишу заявление в сельсовет.

В газете объявлю.

- А заодно уж и от родителей отрекись. Ты, мать, не махай на меня руками, тут все свои. Дочь может свою долю хоть сжечь, хоть сиротам раздать - их в Хлебовке через двор. Хотя бы Тимке Цевневу.

Раздражаясь, взглянула Люся на отца.

- И когда ты перестанешь бояться Тимошку? Этот сопляк каждого образованного человека врагом считает.

Ну и что?

- Жалею, а не боюсь Цевнева.

Острецов вежливо и твердо не согласился с Люсиной оценкой Тимки парень честный, любопытный, руководить им надо умело, потому что отвлеченными интересами живет, в практике не смыслит, людей мерит жесткой и горячей мерой собственной поделки. Да, народились дети строптивой, незабывчивой памяти. До кирпича разломают старые устои.

- А лавку, Ермолай Данилыч, и я бы вам советовал свернуть. Люся права.

- Отдам в кооператив, черт с ней, с торговлишкой.

Тут один патент, не жевамши, глотает все доходы. О земле давай толковать.

- В партии идут жестокие споры по самому кореню крестьянской судьбы. Одни предлагают военную колонизацию деревни, другие чают, что крепкий хозяин врастет в социализм. Но верх одерживает Сталин - в социализм идти без кулаков. Индустриализацию проводить круто.

- Егорий, брат мой, опорой будет? Разор! Ты-то как думаешь, Захар Осипович? Ты наш, хлебовский. Ума тебе не занимать.

- Будем жить, как жили, вы сеять хлеб, я - облагать вас налогом. Куда все, туда и мы. Вперекор народу я никогда не шел.

- Отца я еше могу понять - темный крестьянин. Но как вы, культурный человек, не видите, что крестьянину наступает конец?

- Люся, вы чем-то напутаны. Поработайте в селе, поживите с нами, станете поспокойнее. У деревни сердце бьется по-своему, глаза осмотрительные, недоверчивые, красивые слова в уши не проникают. Заканчивайте техникум, мы примем вас с открытой душой.

- О, сколько будет драм в селе... Да, я горячая, извините меня. Но мне с вами спокойно.

- Ермолай Данилыч, Люсе не по пути с тобой. Учила ее

Советская власть не для тебя. Другая у нее теперь классовая природа: будет обучать детишек строить новую жизнь. Ты думаешь, если я пыо-ем с тобой, так забываю свой корень народный?

- Да как же после того жить мне?

- Думай. Задание по расширению посевных площадей выполняй - хлеб нужен нам. Я охраняю интересы государства.

Долго Люся прощалась с Захаром в сенях, не противясь его объятиям, поначалу несмелым, а под конец уже вовсе бесконтрольным. Однако он сразу же смирился, стоило ей погрозить ему пальцем.

В дорогу Люся собралась, едва взошла ранняя луна.

Отец нарядил было Якутку отвезти ее, но она сказала, что едет с Острецовым - ему непременно нужно быть в волостном исполкоме. Мать забеспокоилась - в ночь с мужиком ехать.

- Я никого не боюсь, - ответила Люся.

На прощание она повергла родителей в смятение:

- В зятья-то надо бы Автонома.

- Молчи, холера! Он тебе двоюродный брат! - закипел отец.

- Не по матери, а по отцу... Да и не дядя Кузьма его отец.

Ермолай обнял Люсю:

- Держись Захара, за ним не пропадешь, горячка ты несмышленая.

4

Бывало, до одури измотавшись на работе в сельсовете, вернувшись под вечер в свою холостяцкую хату окном на ивняк, в прогалах которого виднелся замерзший пруд с пожелтевшим камышом на том берегу, Острецов спрашивал себя, не напрасно ли он, при его образе жизни, ждет единственной "опаляющей" любви?

Любовь эта не приходила.

"Не укорачивал я своих желаний, не томился, не трепетал, брал, что идет само в руки, - думал он, прислушиваясь к укоризненным вздохам матери, гревшей на печи ревматические ноги. - Пора поговеть!"

Но стоило мелькнуть какой-нибудь зазывчпвоп вдовице, и суровые помыслы выметало из головы тем легчайшим дуновением, какой производила своим подолом сбегавшая по ступенькам сельсовета молодая просительница.

И даже теперь, остановив выбор на культурной девушке Люсе, на которую любой бы председатель сельсовета променял свою отсталую жену с кучей ребятишек, Захар, по укоренившемуся своеволыгачанью и робости немолодого холостяка, все еще колебался.

Деревья сбрасывают листву, чтобы зазеленеть весной, звери линяют, покрываясь поблескивающей шерстью, змеи выползают из своих шкур ради новых, птица роняет перо, радуясь росту молодых крыльев. Так и человек должен перелинять душевно, очиститься для любви, думал Острецов.

А приближающаяся весна поторапливала его с расчисткой жизни от помех и досадных промахов.

На крышах сараев ребятишки и девчонки тетешкали на ладонях печенных из сдобного теста птичек с глазами ыз куколя, зазывали желанных вестников тепла;

Уж вы кулички, жаворонушки.

Прилетите к нам, принесите нам

Весну-красну, лето теплое!

Молитвенно возносились их руки к облачному, с голубыми просевами небу. И по их ли бесхитростному детскому зову, или пора подоспела, по только на волнах теплого ветра прилетели с рассветом грачп, овладели ивами да тополями на пойме, глуша жаркой картавиной сорочий треск. Снег оседал, осунулся, вокруг деревьев копилась вода. Рушилась зимняя дорога, проталины запахли талой землей. Зачернела пашня за рекой, сливаясь с весенней лпловатостью набрякших дождем туч. День удлинялся, огней не зажигали по вечерам, от завалинок отваливала мякину, утеплявшую избы в зимнюю стужу.

Как поладить добром с Танякой, внучкой совхозного чабана Зиновия? Матери нет, и вскормил ее дедушка туг, в степи. Она долго дичилась Захара, а потом как-то под вечер, когда уезжал от стада, выскочила из кустов цветущего бобовника прямо перед мордой копя. Поднял ее к себе в седло, галопом махнул з чсрполеснстьш колок, задурманенный запахами цветов. Все-то лето умилялся се непосредственной грубоватой привязанностью, доверчивостью.

Овчар Зиновий встретил Острецова у кошары, поставил на ледск бутылку с чистым дегтем и карболкой, обтер руки об штаны и пожал протянутую ему руку. Несмотря на седину в бороде и полное, наеденное за зиму лицо, движения его были быстрые, ловкие, глаза смотрели ясно.

Овчара Захар уважал за деловитость, независимость, сложившуюся у пего за долгие годы одинокой жизни в степи. Но сейчас несвойственные ему торопливость, услужливость и панибратство насторожили Захара. А когда вошли в старый опрятный домик и Захар услыхал писк ребенка за занавеской, ои еще больше потерялся.

Зиновий прямо-таки по-родственному снял с него кожаную куртку, потянул к столу.

Начесывая челку на лоб перед зеркалом, вмазанным в стенку, Захар дивился затравленному выражению зг"- юдпвшпх своих, глаз.

- Как рыбачил, весь мокрый. Сейчас сменю пеленку-то, - захлебывался счастьем женский голос за занавеской.

- Уж не женился лп, Зиновий Маркелыч? - невесело пошутил Захар.

- На восьмом-то десятке только святой Авраам пвоворил жениться. Я хоть, как и он, пастух долговечный, а вот невесты не подыщу. Разве твою матушку посватать? - Зиновий понизил голос. - Понимаешь, Таняка, паршивка, нагуляла с кем-то.

Занавеска раздвинулась, выглянула Таняка с детским конопатенькпм, заалевшим смущенно и радостно лицом, материнскими светящимися глазами. Не ответила на поклон Захара, перебирая пальцами пуговки кофты на молочной груди.

- Ну, чего выпялилась-то, чисто дурочка? - прогневался на нее дед, багровея толстой шеей.

Острецов пожал теплую, влажную, детской пеленкой пахнувшую руку Танякп. Требовательно закричал ребенок.

- С характером, - сказал Захар.

- Весь в отца! - улыбчиво отозвалась Таняка.

- А кто отец-то? - спросил Захар со страхом и бесстыдством.

Исподлобья обожгла его Тапяка презрительным взглядом, резко повернулась, сомкнув за собой полы занавески.

- Я уж немного поучил ее ремнем. Да ведь по нонешпим временам не полагается. Тимка не дозволит. Уперлась на своем: молчит. Позор прикрыть хотел один вдовец, Степан Лежачий из Хлебовки, - не соглашается Таняка.

А на чего дурочка надеется? Стыд-то какой, впору руки на себя накладывай. Скорее бы откочевать с овцами на все лето в степь, - Зиновий вышел, хлопнув дверью.

Захар раздвинул над люлькой положен. Младенец верещал, сморщив красное лицо. Мать дала ему пустышку, он замолк и с неосмысленной строгостью уставился на Захара.

- Ну что, Федор Захарыч, признал отца? - сказала Таняка.

Жалость и злоба к этой женщине, к этому некрасивому младенцу жаром опалили Захара. Сел на сундук, сникнув головой.

Таняка взяла ягнят-двойняшек, подсунула к овце под нарами у порога.

- Глупые совсем, вымя не найдут.

Ягнята сосали мать, бодая головой вымя с обеих сторон, вертя короткими хвостами. Успокоившаяся овца зализывала их. Таняка присела на корточки, гладила лопоухого ягненка.

- Скука поборола, Захар Осипович, вас давно не видать. Уж такая охота побыть с вами, вместе на дите порадоваться.

- Слушай, Татьяна, понимаешь, я жениться должен...

Невидяще смотрела Таняка перед собой. Спина ягненка прогнулась под ее рукой.

- Утоплюсь или заколюсь тростью.

Эта подробность "тростью заколюсь" напугала Захара.

Но он успокаивал Таняку, обещая все уладить.

- Покорми ребенка с годик, а там возьму я... Раз грех-беда случилась, выходить надо из положения. Каждый должен знать край, да не падать.

Таняка дала сыну грудь.

- Не уступлю я тебя никому, сапунчик мой. Ты у меня не простой парень, а сын ученого человека. Председателем будешь.

Захар взял ее за подбородок, жестко глядя в глаза.

- Не узнаешь? Все такая же я... дура. Все вы сулить умеете, а потом в бурьян, как волки шкодливые... Ну что ж, что я неученая, зато понятливая. Стряпать умею не хуже любой бабы, не гляди, что мне девятнадцатый пошел.

- А знаешь, Таня, иди-ка ты ко мне, ну, вроде работницы домашней, я и моя жена поможем тебе образоваться, и ты со временем махнешь в город, а? Острецов весело смотрел в ее нахмуренное лицо, удивляясь, что не разделяет она столь удачное и счастливое для обоих решение. - Зачем тебе пропадать тут около овец?

- Значит, хочешь по-татарски - две жены? Сразу два горшка на ложку? Да мы с ней растерзаем друг дружку.

А то тебя распилим пополам.

- Тогда выходи за вдовца! - Захар огневался.

Но, переждав слезы Таняки, похлопал ее по спине, положил деньги в зыбку, ушел, добродушно улыбнувшись.

Проходя мимо окна, оглянулся: Таняка, привалившись плечом к раме, скучно и вроде как бы прощающе улыбнулась доверчивым, в конопинках лицом.

На выезде с хутора догнал Острецова Тимка Цевнев.

- Захар Осипович, деньги оставили на свадьбу, что ли? Значит, с ней по закону? - спросил он, держась за стремя, распахнув ватник.

- Видишь ли, Тимофей...

Глаза Тимки стали длинными, притягивающими.

- Слазь, Захар Осипович, поговорим.

Захар спешился, и они пошли рядом впереди коня.

- Как же получается? Что же Таня будет делать?

- Эх, Тимофа! Маленький ты еще понимать всю путлюшку жизни... Не серчай на меня, я тебя очень уважаю. И Таняку не оставлю без помощи. Но связать свою жизнь с ней не могу.

Вдаль на синюю тучу смотрел Тимофей, говорил тихо:

- Жалко мне ее, глупую и добрую. А деньги, какие дал ты ей для очистки своей совести, возьми. - Он нагнулся и засунул деньги за голенище сапога Острецова.

- Ну, это ты зря, Тима... Ты что же, неужто жениться на ней хочешь? Не советую!

Захар снова протянул деньги Тимке. Но тот мягко отстранил его руку:

- Они сгодятся тебе... На твои поминки. Сбелосветят когда-нибудь, бабий ты подподолошник. А я-то, дурак, почитал тебя другом тяти...

- Не обижай меня, Тимка! Лучше меня не было у отца твоего друга. Ты же для меня вроде младшего брата...

Многих Захар выводил в люди на широкую дорогу, был для них властью и учителем. Умел похлопотать перед вышестоящими: этот человек свой в доску, настоящий коммунист получится из него, учить надо. И Тимку проводил в сельскохозяйственную школу, напялил ему свои сапоги: подойдут, ты болынелапый. Школа парнишке в науку пошла, да только не пригасила резкую зоркость, святую жестокость.

- Не держи на меня сердце, Тимоша...

Пока не перевалил за увал, Захар чувствовал на себе взгляд парнишки, побаивался: если оглянется, вернется за Танякой. Мышцы спины болели, может, к погоде ныли давние ножевые рубцы. Уж в какие переплеты не попадал Захар, но пересилить свою неукротимую тягу к женщинам не мог - жалость и любовь к ним напрочно связали.

До главного совхозного хутора Острецов насилу добрался по порушенной дороге - где ехал на коне, а где вел его в поводу. Неустроенной, больно перекрученной казалась вся-то жизнь.

Над мельницей, путаясь крыльями в ветлах, жаркоголосые, колготились грачи. Пахло теплой мукой. И тут только Захар почувствовал весну, и ее влажный ветер выдул из души застоявшийся угар. А может, просто улеглись горечи где-то в затишке до поры до времени.

На главном хуторе встретил Ермолая.

"Не дай-то бог, разузнает про Таняку этот старый черт с предрассудками, напишет Люсе", - подумал Острецов.

Он уже свыкся с мыслью жениться, оставить работу в сельсовете и перейти в совхоз бухгалтером. Ермолай F свою очередь держался за него.

- Помоги-ка, Захарушка, к управляющему попасть.

Не пущает трудовика. Нашел лакеев ждать его, ваше благородие директор. Тоже мне белоручку из себя выкручивает, -

с холодным бешенством говорил Ермолай. Заросшие изнутри ноздри раздувались, пугающе косили от ярости голубые глаза.

- Ты будто решился поджечь или сбелосветить кого, Ермолай Данилыч. Не шуми на Онпсима Петровича, он умный, расскажу ему, поймет твою наметку.

- Мной Россия кормится, а я в унижении нахожусь...

Эх, мне бы хоть годик власть в руки, уж я бы показал, кто умный, а у кого не все дома - хозяева на покос уехали... Да, где-то мы промахнулись непоправимо... Тоска...

Захар погрозил Ермолаю перчаткой, степенно поднялся по каменным ступенькам старого помещичьего дома с колоннами. Не раздеваясь, а лишь распахнув тужурку, прошел мимо знакомых конторских работников, открыл на себя обшитую коричневой кожей дверь.

5

Колосков вскинул гладко выбритое, каймаковой смуглости лицо, оглядел Острецова стригущими, в зеленых ободках, как у козленка, глазами, встал, быстро вышел изза стола. Сухонький, невысокий, вроде дробненький, а пожатье руки запоминающе крепко, и вопрошающий взгляд в глаза с наивной хитрецой: мол, как, не ожидал?

- Ну, батенька мой, Ермолай подождет. Дел у меня вот столько! Колосков провел ребром ладони по шраму выше наглухо застегнутого воротника черной толстовки. - Яровой клин расширить хочу, овечий молодняк на племя пустить. А рабочие? Сезонники. Заработает на зимнюю кормежку - доволен. Ограничены потребности у мужика, особенно духовные. Развивать надо жажду жизни.

Смелый, дерзкий, деятельный должен быть человек...

А пока плохо. Человек легко ранпм, самый банальный случай может его чуть ли не в тоску ввергнуть. Вот опытнейший чабан Зиновий Маркелыч охмурел и по-бабьему разнюнявплся. Какой-то расторопный состряпал внучке мальчишку. Вот-вот в степь выгонят отару, а у помощницы чабана руки связаны. Попробуй узнать у этих людей, кто так безответно наследил, молчат, да еще так гордо, что другой раз не спросишь.

Моргая заслезившимися от махорочного дыма глазами, Острецов помалкивал выжидательно и боязно: не обстреливает ли Колосков его совесть с флангов, чтобы сам Захар осознал и повесил себе на шею Таняку, пошел на дно, пуская пузыри? Изготовился Захар смутить Колоскова, ежели тот хлопотать о Таняке возьмется: а у самого под боком выгуливается в экономках Пашка-монашка.

Но Колосков уже свернул на свою хитрую задумку, как бы

мужика переделать в некоторое повое сословие, сродни рабочему. И свою, и его, Захара, душу не избавлять от перекройки и перешивки. Острецов положил на стол перед Колосковым, как членом волостного комитета партии, список граждан села Хлеоовкп, которых необходимо, по мнению сельсовета, лишить голоса.

- А Ермолай почему под вопросом? Ну, батенька мой, если таких рукосуев допускать к выборам, они втихомолку подменят Советскую власть эсеровской. С ними у нас давно выяснены отношения: кто кого со света сживет.

Наступать надо, Острецов! Ныне из списка избирателе:!

вычеркиваем их, завтра - из жизни села.

Захар, склонив набок голову, загадочно посмотрел умными глазами на члена волостного комитета партии. С лукавой улыбкой рассказал он, что Ермолай свою лавку со всеми товарами, вплоть до иголки и гвоздя, передал сельпо. Шуряка своего Якутова, то есть Якутку-собашника, выделил вместе с Машухой-вековухой, подкрепив жеребой маткой и коровой. Пашке-монашке посулил полуторника и пяток овец длинношерстных. Может и одежонкой рассчитаться. Поговаривает Ермолай даже передать дом под избу-читальню, но тут уж он, Острецов, решить не может.

- Прими Ермолая Даншгыча. Рушится дорога, не проедет домой старик.

Колосков почесал мизинцем коричневую лысину.

- Распутица, это верно. Ермолай всегда угадывает к пожару, половодью и грабежу. Рассказывал мне приказчик Афанасьев - много потянул Ермолай из имения. Чтото ты, Захар, усердно хлопочешь за короткого барина?

- Уважаю умных - редко попадаются. А Ермолай Данилыч к тому же культурный землепашец. Если он к нам повернется сердцем, многие за ним потянутся. Умеют хозяиновать эти мужики.

- Этот новый культурный землепашец наверняка приехал землю клянчить. Он ко всякому добру так приглядывается, будто норовит в карман положить. Пойдемка, батенька мой, ко мне, пообедаем. Отощал ты, совсем перепал на холостяцких харчах. Не устал ходить в председателях? Поработай новый срок, все я увязал в волкоме.. Да, тут приехал спецкор газеты товарищ Халилов кое по каким делам, он тебя навестит.

- Самогонщиками интересуется?

- Фигурами покрупнее. Может, ты ему поможешь разобраться в обстоятельствах зверского убийства Ильи Ильича Цевнева...

Пока Острецов трапезничал с директором и его молодой

экономкой Пашей ("Вот это живет!"), - Ермолай Чубаров зря время не терял, толкался на ферме. Он ощупывал породистых коров, крякая, лез пятерней в паха:

- Наш степной скот мелковат супротив вашего заграничного, да вынослив, непривередлив. А за вашей коровой надо с утиркой ходить, хвост мыть чаще, чем девка косу. Сырье для наших мест ваши коровы...

Бывший приказчик, а ныне распорядитель по хозяйству Афанасьев, побагровев, закричал на Ермолая:

- Чего ты суешь кулаки им в бока? Своя баба, что ли, они тебе?

Ермолай как бы оробел, вытер красным платком вспотевшую лысину.

- Эх, Степан Кириллыч, никак ты не запамятуешь старую навычку нашумливать на трудовиков. Вот-вот плеть в ход пустишь, как, бывало, при Дуганозе.

- А ты не озоруй.

- Давай закурим на солнцепеке. Чего нам лаяться?

Сели на сенные объедья у дверей конюшни.

Афанасьев свернул цигарку, пустил дым на желто-седые редкие усы, подал кисет Ермолаю.

Халилов, высокий, присутуленный малость, в сапогах и брезентовом плаще поверх ватника, приветливо поздоровался со стариками, приложив к шапке два пальца, сел на объедья, закурил.

Ермолай смотрел на него, прищурив левый глаз.

- Сколько земли занимает совхоз! А толку? В убыток живете, - сказал Ермолай.

- А от вас много тепла? - огрызнулся Афанасьев.

- Нашим хлебом кормится Россия. За границей на нашу пшеничку машины покупают. И для совхоза тракторы оплачены мужиком... А так, что ж, ты правильно молвил, горячих работников нынче мало. Бывало, поглядеть на поля радость одна несказанная: жнейка, косилки, - со сладостной болью отдавался воспоминаниям Ермолай.

- Сноповязалки появились перед войной, - загорелся Афанасьев, отводя душу. - Паровые молотилки застучали в полях. Это на Тульщипе да Орловщпне серпами жалп, цепами молотили.

Ермолай дружески-снисходительно похлопал Афанасьева по колепке в овчинных штанах:

- Все эти земли Дутанов-князь положил за пазуху за два мешка чая.

- Брешут по зависти, - леппво возразил Афанасьев, надвинув на брови шапку, щурясь от солнца.

- Может, брешут, да не на каждом шагу, а через шаг. У башкир купил. Едет верхом и вперед кплает чай пачками. Башкирия за чаем в свалку, и землемер с плугом шестерней чешет за ними. Как кнутом, простегпул борозду по чернозему. Вот так, молодой боевой человек, клали прежде за пазуху землю-кормилицу! - Ермолай ударил Халилова по плечу.

Тот вздрогнул, нахмурился, гоняя желваки на смуглых, широких по-лошажьему челюстях.

- К сейчас не промахиваются мимо своего кармана. - Халцлов встревожил глухим намеком Ермолая.

- Какого рожпа положишь в карман? Земля-то ничья, как ветер в степи. А ведь поначалу ловко пошло: помещиков пол кетень, буржуев - в мусорную яму, земля - хлеборобу. Дворянская кровь жидкая, она и в петровки мерзла. Земляной человек уберегся... А потом страшным воротом начали пригибать книзу, только лунки ноздрями вывихрпваешь в пыли. Я вру? - вдруг доверительно обратился Ермолай к Халилову.

Тот покосился на задремавшего на солнпепке Афанасьева, к губе которого прилипла погасшая цигарка, кпвнул ободряюще:

- Говори - наболело, вижу. Я не доносчик.

- Я не боюсь. Голоса лишили, завтра, может, жизнп решат... В мои лета, думается... Без земли нп одна власть не проживет. И хоть говорится: не будь лапотника, ле будет и бархотника - да это верно, землп хватит для всех крепких рук. Лишь бы за землю удержаться, не улететь. Пусть в город вывнхрпваются не пустившие глубоко коренья. Там отшлифует тебя волной, как гальку на речке, и не будет лица у тебя своего.

- К сожалению, жизнь так и распоряжается нами, - с грустью сказал Халплов. - Ах, как жалко мне вас...

- Жалко, говоришь? Тут бы чуточку так повернуть, как при Столыпине. Умный был министр, да поздновато за отруба взялся. Но чего бог не дал, тому не научишься.

Все ищут правду. А где она? Люди бы море пригоршнями вычерпали, если бы на дне лежала правда. Теперь-то мне что искать на старости лет? Да не о себе, о России думаю...

- Раньше бы думать надо было, дяденька, так нет, каждый за свой куток держался, - насмешливо сказал Халилов. Вскочил, стряхивая соломинки с брюк, вразвалку, по-кавалерийски, пошел в конюшню.

Афанасьев, сморгнул с глаз легкую вешнюю дрему, как чутко заснувшее дите, покидаемое родителями, встрепенулся, потянул за Халиловым, будто привязанный. Тревогу и зоркость заметил в его лице Ермолай. Пошел следом за ним в конюшню.

Халплов велел конюху Клюеву оседлать Пульку, маленькую,

степных кровей, летучую, как ветер, буланую с черным хвостом, черной гривой и челкой трехлетку.

Конюх выкатил сизые строптивые глаза, сказал, что Тимкину лошадь он седлать не будет - "на нее сам дилектор не осмеливается сесть". Никого, окромя Тимкн Цевнева, не признает Пулька, бегает за ним, как собака.

А сейчас Тимка за три версты отсюда, на конном дворе лежит на крыше, читает книжку Федьке Коминтерну - так звалп воспитанника совхоза, подобранного в степи.

Халилов часто задышал, скользя смурным взглядом по просторной завозне со сбруей, с налаженной к ходу тачанкой. Но Клюев, подмигнув, открыл клапан в его душе:

- И для какого ляда сдалась тебе эта мышь с гривой?

Ни ладу, ни стати. Садись на Беркута - идет как пишет, будто не земля под ним, а чистая бумага.

Афанасьев зорко следил, как Халилов одернул ватник, поправил кобуру с наганом и мелким шагом подошел к рыжему Беркуту.

"Что за наваждение? Да ведь он вылитый Иннокентий Дуганов, и морда, и стать прямо спечатанные с Иннокентия покойного", - думал Афанасьев.

Несоразмерно с длинным и сильным торсом короткие ноги и тугое скуластое лицо унаследовал Дмитрии от своего отца Дуганова, глазами же кипчакскими удался в мать, Фирюзу.

Матушку свою помнил смутно - умерла она где-то тут, в долине, когда было ему пять лет, и схоронили ее калмыки по своему обычаю.

"А может, и не Митя? - все больше колебался Степан Кириллыч. - Хоть и смахивает на Дуганова. Хорош был косячный жеребец Иннокентий, почесть в каждой деревне оставил потомство с раскоряченными скулами. Наваривал маклаки под глазами. Дите не волен выбирать себе отца, это дело матери..."

Вспомнил Афанасьев, как Иннокентий за тройку коней гулевых взял в улусе тоненькую пятнадцатилетнюю Фирюзу, поселил вон у той горы на кумысной поляне в глиняной избенке, охраняемой волкодавами. Родившемуся сыну Дуганов дал свою фамилию, только без начальной буквы, и получился Уганов. Говорят, пример взял с графа Репнина, который прижитому на стороне сыну уступил часть своей фамилии - Пнин. Привязанность Иннокентия к Фирюзе не слабела с годами, хотя и женился он на дочери члена Государственной думы и сам был членом этой думы, видным кадетом. Не раз по его наказу справлялся Степан Кириллович у калмыка, пасшего дойных кобылиц, не нуждаются ли в чем Фирюза и его сын Митя?

Калмык тряс головой и показывал пальцами на свои глаза, плаксиво морщась, - мол, слезы льет молодая. После ее смерти сына увезли куда-то к воспитателям. Потом был слушок, что стал он социалистом-революционером, бомбы кидал, на каторге в Сибири очутился. Накануне революции половину этих земель Дуганов пожаловал своему незаконному сыну, только что вернувшемуся из ссылки. Но Дмитрий отрекся от отца, от подачки отказался земля принадлежать должна тем, кто работает на ней, то есть крестьянам. А в самый разгар переворота Илья Цевнев, механик, зарубил отстреливающегося Дуганова на крыльце главного барского дома. И будто бы Дмитрий пальцем не пошевелил, чтобы спасти отца, стоял в сторонке, покуривая. Зорил помещичьи усадьбы, лютым боем вымолачивал души из их сынков. С какой-то саднящей радостью и болью любовался пожарами и разорением. Хотел спалить отцовский дом, да Илья Цевнев не дозволил будто бы. Разное говорили: одни запутался Уганов между белых и красных, погиб в песках Прикасппя; другие он жив, под другой фамилией ворочает крупными делами.

Халилов высоко подтянул стремена, как раз по его коротким ногам, легким рывком вскочил на рыжего жеребца.

- Ну, товарищ Халилов-батюшка, знаешь, кого я вспоминаю, когда вижу твою посадку? - с умилением заговорил Афанасьев и, осмотревшись кругом по темным углам завозни, заглядывая в лицо Халилова, доверчиво признался: Вспоминаю я одного человека...

- Не собаку же вспоминаешь - она на коня пе садится, - пошутил Халилов.

- Ноги у пего были вот такие же кривоватые и сильные.

- Я потомок потрясателя вселенной, самого Чингисхана.

- Нет, сокол мой ясный, ты смахиваешь на Иннокентия Григорьевича.

- Поп, что ли?

- Дуганов. Хозяин того имения. Член Государственной думы.

Халилов пронзительно насталил кипчакские, с горячей желтинкой глаза:

- А о смерти Ильи Цевнева ничего не знаешь? Мне бы за ниточку зацепиться, Степан Кириллыч...

Афанасьев постегал плеткой по голенищу своего сапога.

- Не знаю, товарищ Халилов, - сказал он замедленно. - Давно было, восьмой год... Не найдете, все ниточки, наверно, сгнили. Вот только Тимку зря бередите. Парень успокаиваться начал, а теперь опять всколыхнете... Совсем отечески посоветовал держаться дорогой к Тпмке выше берега: лога и ерики загудели полой водой.

Халилов толкнул коня на вытаявшую землю, с первого шага взял горячей иноходью.

Подошедший Ермолап залюбовался им:

- Как он сидит, сукин кот! Будто родился в седле.

- А может, родился на коне, морда-то кочевничья.

Ермолап поправил кушак на заношенном полушубке, повел к кузнице на ковку своего жеребца Мигая.

- Кузнец у нас сноровистый, - сказал Афанасьев, заглядывая в глубину кузницы. - Эй, Калганов, обуй-ка быстроногого коня.

- В станок, - коротко бросил кузнец из пахучих окалиной сумерек.

И когда подручный и Ермолай привязали карего Мигая, вышел кузнец в брезентовом фартуке, с рашпилем и ножом в руках. Ермолап присел на опрокинутые кверху полозьями сани, наблюдая за работой крепко сложенного кузнеца. С какой-то томительной опаской Ермолай коротко взглядывал на его рябоватую, развороченную шрамом скулу, боясь встретиться с ним глазами.

Ловко кузнец подравнял ножом, обточил рашпилем копыто, примерил подкову, расчетливыми ударами загоняя гвозди.

Казалось, он угадал, какое смятение охватило душу Ермолая, и, как бы потешаясь над ним, сам так и полез навстречу опасности: не спеша собрал инструмент, спокойно давая разглядывать себя, повернулся к Ермолаю худощавым строгим лицом с вислыми усами по краям прямого, суровой складки рта. В прищуренных глазах, как вспышка грозы, мелькнула и погасла глумливая усмешка.

- Ну, бери коня. Не оторвешь подковы, а если отскочат, то только с копытами. - Калганов скрылся в кузнице.

Было видно, как в полумраке кузницы раздувался грри и широкие лопатки кузнеца ходили под брезентовой робой.

Разговор с директором как-то потерял для Ермолая интерес. После обеда глаза Колоскова туманились, сидел он в кресле расслабленно, пропуская меж ушей замысловатую речь Ермолая о насаждении по жирным землям крепких артелей из бешеных в работе умельцев - укоренятся, завалят Россию хлебом и мясом, зальют молоком и маслом... Колосков под конец вдруг очнулся, вскинул брови:

- На кривой кобыле в рай не въедете. Не дам вам земли ни аршина. Вот если бы вы надумали к праотцам командироваться, то уступили бы землицы. Колосков резким движением открыл ящик стола, выхватил бумагу и сотворил ветер перед бородой старика. - Вот тут записано, кто утащил из совхоза инвентарь. Я знаю вас, пригнулись в гражданскую, а теперь вам совхозной

земли захотелось?

- Онисим Петрович, мужик тащил машинишки и инвентаришко вовсе не из совхоза, а по старой памяти у паразита Дуганова отымал. Нашим потом нажил Дуганов.

А я что за птица? На взлете моем все стреляли по мне, я же ружья в руки не брал... Чуткое у меня сердце к новому слову: еще до войны и революции велела наука машинами работать, я поднатужился, молотилку привез. Сколько пользы людям от нее! И сейчас полсела обмолачиваю.

Всей душой изготовился я шагать в ногу с индустрией и наукой. Не могу же я, как наш хлебовский Степан Лежачий, охать всю жизнь, поясницу хреном натирать. Для дела дадена мпе жизнь. Лиши меня дела, и я не жилец покойник непогребенный...

И если бы не поостыл Колосков и не пообещал изучить идею и докуки Ермолая Чубарова, то Ермолай смутил бы его на прощание загадкой-намеком: чем кричать на невинных тружеников земли, ты бы разул свои бараньи глаза, поглядел бы, что это за ловкий кузнец у тебя постукивает молотком? Глаза-то матушка дала по ложке, да не зришь ты ни крошки. Но Ермолай благодарил бога, что вовремя сковал немотою уста. Догадка страшила его самого.

Когда Острецов пособлял Ермолаю запрячь Мигая в сани, мимо прошел кузнец, зорко глянул на обоих, усмехнулся в усы.

По пути догнали их на конях Халплов и Тимка, несколько минут ехали рядом, по обе стороны саней. Халилов закурил вместе с Захаром, разглядывая его украдчиво, но остро, Тимка отворачивал лицо.

- Я заеду к вам, товарищ Острецов... вы уж не отлучайтесь пока, небрежно и начальственно сказал Халилов, поворачивая длинноногого рыжего влево. Тимка пустил следом за ним в намет свою маленькую Пульку, развевающую черный хвост.

- Что-то тот Халилов глядел на тебя прицельно, Захар Осипович? - сказал Ермолай.

Охмуренный тем, что произошло у него с Танякой и Тимкой, а еще тоскливее - тем, что заявился этот из редакции ворошить старые дела, Острецов молчал.

"Как бы Тимка не накапал насчет Таняки. Боюсь, загуляю с горя, а мне пить никак нельзя до самой моей свадьбы. К чему это Колосков спрашивал, не уморился ли я ходить в председателях?" - думал он.

Ермолаю тоже было не по себе, как-то по-особенному, по-молодому. Какие-то неясные смутные надежды вдруг ожили в душе, а почему? Сам не знал. Может, даже просто оттого, что Халилов благосклонно выслушал его тоскливые мечтания и этим

стал близок ему. А тут еще в одно вязались тревожащий воображение кузнец и Халилов... До дома не мог успокоиться Ермолай. Проводил взглядом пролетавших над двором казарок, встал на точило, заглядывая через стену к брату Кузьме. Фиена как раз изводила деверя Автонома, называя его куриным пастухом, наверно, за то, что привез тот породистых кур.

- У Марькн твоей, думаешь, свои румяны на щеках?

Красится она.

Ермолай был наслышан, что Автоном гпетет Марьку, и он, жалея безответную молодку, оборвал Фиенин брех:

- Души в тебе нет, напраслину на Марьку Максимовну возводишь. Чем она не угодила тебе?

Автоном от стыда скрылся в амбаре. Все-таки он был не просто мужик, а культурный...

- Мне Марька соли на хвост не сыпала, - огрызалась Фиена, вставшая на опрокинутый чиляк и чуть не касаясь бороды Ермолая своим острым, лопаточкой, подбородком, за который и прозвала ее свекровь Василиса востробородой заразой. - Я ее за что готова разорвать временами? Смиренность ее, запуганность распаляет душу мою!

- Воительница ты, Фиена Карповна. Знаешь, отчего дух твой такой горячий, что из ноздрей пламя, а из ушей дым? Мужа нет.

- Кровососов хватит, была бы совесть не на замке. - Фиена вонзила в Ермолая острый взгляд. - Ты к чему петляешь-то?

- Идем, по одной пропустим, намекну. Да не о том, догадываешься, хитрюга.

Но когда они, закрывшись в амбаре, распили бутылку, Ермолай не отважился поведать разбитной Фиене о совхозном кузнеце. "Эту лайку только пусти по следу, наделает она беды".

- Где же твой намек, Ермолай Данилыч?

- Отнамекался я, Фиенушка. Где уж мне на горячих кататься, если по робости я готов взнуздывать даже лошадиный череп.

- Махнул, как лиса хвостом, - собаки под кручу, а сам на взволок убег. Скажи, мне голову прислонить к столбу, что ли?

Ермолай присоветовал отделиться от свекра - лошадь достанется. Тогда любой посватается.

- Жизнь-то, раскрасавица, давит на самое сердце. Туманами повит день завтрашний, - вдруг всхлипнул Ермолай. - И откуда взялись ералашные люди? Измотался-износился я в думах тревожных, девонька. С бабами, что ли, связаться? Али запьянствовать?

- А и то и другое втихомолку не грех, Ермолай Данилыч, - беспечно сказала Фиена.

К приходу Дмитрия Иннокентьевича Влас готовился с такой же строгостью, как, бывало, в пору совместной службы: повыгреб окалину, посмел паутину, побелил стены кузницы. Но особенно прибрался в своей саманной хатенке, полил цветы и лимоны комнатные на окнах. И округ хаты навел порядок, расчистил дорожку к круглому столику со скамеечкой под кривоногим кленушком - хоть гость вряд ли изъявит желание посидеть ранневешним вечером под голыми сучьями, все же Влас песком присыпал вылысевшийся из-под снега бугорок. Уж очень хотелось Власу укрепить Уганова, а заодно и себя в уверенности, что скитания и искания закончились вот под этим кривостволым кленушком, что остатняя пора жизни будет потрачена на тихие вечерние размышления о пройденном. Крепче, чем к жилью своему, привязался Влас к клену, наполненному подростковой дрожью и трепетом на степных сквозняках. Одинокий клен криво-изверченно, будто с отшибленностью в стане, подымал к солнцу голову, как-то исподнизу, с вывертом весь, израстался в сучки, как сироты в чужих людях израстаются в руки, раздавленные работой.

Весной Влас срезал лишние дурнолапы, замазал раны, и кленушка, похворав малость, заиграл под оконцем широким резным узорочьем. И уже мнилось Власу додышать под этим деревом свою жизнь, простую, как у тех ласточек, что под коньком слепили гнездо, - налетаются за день-деньской, смежат глаза на полосу угасающего дня.

Дожить тихо, а потом, когда на старости не судят, не награждают, с равнодушной милостпвостыо обрезая жизненные крепи, открыться людям, кто он таков, под какой ношей су горбился.

Не со двора, от того особнячка, где проживают важные командировочные под приглядом Пашки-монашки, появился Дмитрий Иннокентьич, а со степи, от закатного солнца, и тень его по зеркальному насту скрестилась с тенью Власа раньше, чем Влас успел обернуться.

Матерым стал его командир, осадистым на ногу шагом прошел од в хату, срезающим взглядом ошарив сенки с дровами да вениками под крышей. Кивнул тяжело, по туг же улыбчиво потеплел, заметив на столе бутылку хлебной водки, караваи пшеничного хлеба, сало и лук.

Уют завершала солонка, из кленового кривосучья вырезанная.

- Угостимся, Мптрнп, чем бог послал одинокому.

Сумерничали без огня, и речи их, как два ручья, текли не сливаясь, а лишь перекликаясь.

- Ходил-ходил я по кругам моей совести и незаметно пгшполз

на родную землю. На чужбине скушно до смерти, Митрий Иннокентьич.

- Горе ты мое, Власушка. Похоронную-то не промашлпво ли пустил козырным тузом? Ведь дал я тебе ее на крайний случаи.

- Так вышло, Мптрпй Нннокентьич, с тоски и лютости на несправедливость зачеркнул себя до полного исчезновения. А вы ведь тоже другой фамилией себя оберегаете...

- Взял фамилию матери. Ту усеченную - Уганов - кинули мне, как недогложенный мосол с барского стола.

Ты на людях не зови меня Угановым. Не боюсь, да не хочется объясняться с каждым дураком. Где надо, все знают обо мнэ.

- Временами сумно жить под чужим именем. Пойти, ударить обземь шапкой, распахнуть грудь?

- Погоди, не чумей. Грех молодому помирать - рано тебе глину вечно сторожить. За жизнь нужно драться до последнего дыхания.

- Просто выжить - мало для меня, Митриы Иннокентьич. Мне требуется оправдание перед совестью своей. Строжает она каждым днем. Какое дело требует моей утайки?

- Будет дело, Влас, будет. Начнут товарищи выдергивать с корнем крепких крестьян, ох и полыхнет восстание!

Влас засмеялся горестно и зло:

- Отвосставали. С места не сдвинутся. Пошумят, поартачутся, а потом табуном попрут куда надо. Все уморились лить кровь. И сами не знают, что хотят... Вот у Колоскова ясная задумка: перекроить мужика на рабочего, продолжал Влас без одобрения, но и без былой злости и горечи. - Для него что земля, что фабрика. Этого легче убить, чем напугать. А молодой Тимка Цевыев, пожалуй, беспощаднее и порешительнее старших будет.

Знает, чего хочет. Отец не успел, Тимка доконает таких, как дядя Ермолай.

Халплов подпер рукой тяжелый подбородок, глаза блестели в темноте, голос рвался из самого сердца, горький и тоскливый:

- Всех уравняют скорохватпкн, как семечки в подсолнухе, видишь, сподручнее таких обмолачивать да на масло давить. Господи! Ведь не для себя же мукп-мученпческпе претерпеваем, а во имя торжества отборного крестьянского сословия. В нем, в этом отборном сословии, будущее России. В ссылку попадал ради них. От земли отрекся для них. А государство латифундии на новый манер строит на тех землях...

Мечталось ему быть незаметным, но безгранично влиятельным духовным поводырем. Когда разошлись дороги с Ильей Цевневым, Дмитрий выдвинул в вожди честолюбивого Чаусова, а потом чужими руками предал его смерти, сам же сидел

на коне, сосал табачную пыль под языком. Влас, отстреливаясь, прикрывал его конную побежку к красным. Чуть живым явплся к ним. Свой человек, служивший в разведке, сумел рассказать красному начдиву о героизме Уганова, истребившего командование Волчьей сотни и самого Чаусова. и получилось так, что Уганов вроде как бы заслан был в штаб неприятеля...

Уволившись нз армии с наградами, Уганов отказался от видных постов, предпочел профессию журналиста в губернской газете.

Взлелеянный в его мечтах крестьянин вступал в равноправные отношения с городом: вы нам - машины, мы вам - хлеб, мясо, молоко. Две партии в парламенте - городская и сельская. В степях ковыльных, тюльпанных виделся Дмитрию вооруженный хлебороб на коне: зорко сузив глаза, всматривается в горизонты, как бы сросшиеся вдали с травой пли желтым кипением спелой пшенплы. Слабые вымирают, уйдут в города, на земле останется элита. Редчайший сплав Руси и Азии, певучая скпфская кровь.

Реки в берегах, океаны в берегах, придающих им глубины и форму. А ну, разлей воды ровным слоем по земле - заболотятся. Так и духовная жизнь народа самоуглубляется в здоровом; хранит и умножает моральную красоту избранное богом племя крепкоплечпх мужиков и грудастых баб...

Манили Дмитрия к себе удивительные степи с долинами, холмами, чистыми речками и лугами, с перелесками, колками, с покрасневшим от земляники солнечным склоном. И вдруг над равниной ковыльной встанет железная, крапленная птичьей кровью да пометом гора, а у отножья ее разливается сочнотравье. У такой-то вот горы и заросла таволгой могилка матери...

- Ни у одного народа нет таких непостижимо глубоких песен. Тайна русского сердца безмерна. Монастыри, скиты строил. Сейчас разрушает храмы. Азиатское, кочевничье в нем бушует. Завтра пожалеет, покается, - как бы сам с собой говорил Халилов в полном одиночестве, хотя глаза его следили за движением ширококостных рук Власа, зажегшего свечку и завесившего окна изнутри сыромятными овчинами.

- Пропустим малость, Митя?

- Плесни маненько, Власушка. - Халилов потянул сквозь крупные белые зубы, вытер кусочком хлеба уголки рта, кротко посмотрел, как сбегали капли по вислым усам Власа. - Нам опасно терять русское начало, свое издревле единение. Европейский коммунизм нам не подходит.

Не привьется, как бы ни старались безродные революционеры-коммунисты. Им бы стереть нашу самобытность

попроворнее. Чай, не забыл: в революцию разрушали с безжалостным размахом, как в чужой стране.

- Почему меня мотает туда-сюда, Митрий Иннокентьич? Хуже я других, что ли? Не о себе ведь пекусь, Россия вот тут, в душе, сидит, а какое ей предназначение - не знаю. Ночами-то иногда места не нахожу, будто гвоздями постель проросла... тянет к той кирпичной яме... где Илья...

- Убери слюни, рубака! Революция, брат, не закончилась... приглядывайся кое к кому. Считай это моим приказом.

Влас подобрался, отвердело лицо.

- За кем следить прикажете?

- Афанасьев, бывший приказчик моего отца-негодяя, как он? Неплохо бы умненько накинуть на шею аркан - не удавлять, но и не отпускать. А Колосков... что за человек? Монашку поблизости держит... Почему?

- Крутился кругом меня Колосков, хвалил работу.

"Какая цель нашей жизни?" - спросил я его атак с придурью. Долго он щурился на меня, потом сказал: "Родительское призвание у нас: людей кормить. Росли чтоб здоровыми, сильными, веселыми". К машинам подходит Колосков смело, коней не боится. Видать, с землей обращаться поднавык.

- А тот Тимофей Цевнев?

- Тянет меня к нему.

- С чего это?

- Вера в нем великая, душой незлобив, чист душой.

Все дознаться хочет, как отец его погиб.

- Без него разберемся, - усмехнулся Уганов, - Я имею поручение от газеты окончательно прояснить судьбу Цевнева. Убили его сами крестьяне за то, что коней забирал, убили, как вора. А теперь хотят героя сделать из него.

А Тимку ты не понимаешь, Влас: он не добрый, он за отца будет мстить до пятого колена. Страшное поколение кастет... Узнай Тимка, кто мы с тобой, он потребует к стенке нас поставить. А вина наша разве только в том, что мы с народом приняли муки. Нет, Власушка, ладу не будет у нас с такими, как Колосков и Цевнев.

- А Тимка тоже ходит на ту кирпичную яму за Хлебовкой, - сказал Влас.

- Если не выбросишь из головы эту дурацкую психопатию о ямах, я брошу тебя на произвол судьбы, Чубаров. И пропадешь ты самым гнуснейшим образом, Влас. Почему я с тобой нянчусь? Ты подумал? Для меня ты - народ. Так будь же достойным своего святого призвания.

- Я слушаюсь вас.

- Последнее слово за крестьянином. В стране закипает крутая каша, свинцовая, кровавая. Нас много. Уж я-то знаю, у меня есть связи даже с работниками ГПУ.

С тобой мы скоро не увидимся. Мои люди будут держать тебя под дружеским наблюдением. В обиду не дадут, но и не позволят свихнуться.

Уганов обнял Власа, троекратно поцеловал.

Понизу над тающими снегами густел пар, за легким начесом облачка как-то навзничь катился ледовым сколком месяц. Поглядев в эту весеннюю, с двинувшимися в тумане водами ночь, Влас вернулся в хатенку.

У всех на глазах таяла Марька, линял румянец приветливого нежного лица.

- Глядите на нее: она хлеб ест, а хлеб ее ест, - говорила за столом Василиса.

Кротостью чаяла Марька угодить всем. Вставала раньше всех, пряла, доила коров, топила печь, с утра готовя еду на весь день. Когда мыла полы, скобля сосновые доски косырем, свекровь не то хвалила, пе то попрекала:

- До дыр проскребет, расторопная дурочка.

Старшая сноха Фпена просыпалась на своей кровати за пологом лишь к блинам, умывалась душистым мылом и после завтрака выходила во двор работать, убедив Азтонома и свекра, что по ее мужскому характеру ей по плечу и дело мужское. Бралась, распаляя других, за все, но ни одной работы не доводила до конца, забегала в избу погреться на лежанке. Повертит языком, а там глядъ, уж и за полдень.

Марька не подавала голоса, если не заговаривали старшие. Перемежатся хлопоты на минуту, она, будто боясь разбудить кого-то, тихо спрашивала Василису, что ей делать. Свекровь молчала, не замечая молодой снохи.

- Мамушка, дайте я поищу вас.

Раскосматив черноволосую, с бобровой сединкой голову, Василиса ложилась крутым бедром на лавку, щекой .

на теплые колени снохи.

- Ласковая ты моя, - говорила Василиса. - Но чтото уж слишком незлобива. Не в укор ли людям? Иль лютость затаила на кого? Переворачиваясь на другой бок, минуту раздумчиво глядела в глаза Марьки. Уж не святая ли?

Разбирая на голове свекрови дорожку ото лба до макушки, Марька услыхала всхлипывание, почувствовала на руке теплую слезу. Не успела пожалеть, как матушка порывисто встала, пряча мокрые глаза.

- Сама бездельничаешь и меня в грех ввела!

За обедом Кузьма налил всем по рюмке кислушки.

Василиса зорко следила за молодкой: она отнекивалась, а Автоном, уговаривая ее выпить, глазами грозил, запрещал.

- Я не хочу, батюшка, - робко отговаривалась Мерька.

- За таким еще желтогубым гуленком кланяться! - вскипела Василиса.

Марька чуть пе задохнулась от кислушки, насилу откашлялась.

"Уж не гнилую ли повесили на шею Автономушке? - встревожилась Василиса. - Надо досмотреть, о чем онп на прямоту толкуют?"

Ночью спряталась за голландкой, Фпена, как необъезженная кобыленка в упряжке, похрапывала на своей горькой постели, вдова от живого мужа. На кровати молодых послышалась далеко не та веселая возня, какая должна бы быть у любящих. Кто-то хрипел, задыхаясь.

- Помогите! - с безнадежностью, как в темпом безлюдном лесу, попросила Марька, видно зная, что в такой семье просить о помощи бесполезно. Вырвалась из сильных рук мужа, долго стыла у окна в лунном свете.

- Ну, иди сюда, чего ты там красуешься?

Доверчиво подошла к мужу. Натолкнувшись на кулак, Марька рухнула за черту лунного света в темноту, не в силах глотнуть воздуха. Фпена, притворившаяся сонной, чеглпком слетела на пол.

- Ты ж убил ее... Мамушка! Батюшка!

Пришел с кухни Кузьма, защищая широкой ладонью колеблющийся лепесток коптилки. Василиса выплыла из своей засады как ни в чем не бывало.

Марька, белее своей рубашки, силилась встать, опираясь руками о пол, подбородок и губы ее дрожали. Актоном потягивался на кровати, недоуменно моргая, и ленивыми жестами только что проснувшегося лохматил жесткий черный чуб.

- Марька, ты чего? - спросила Василиса, оглядываясь с тревожным недружелюбием на Фиену, раздувавшую узкие ноздри.

- Во сне что-то приснилось, мамушка, будто летаю, вот и упала с кровати. Автономша, подвинься, дай мне место.

- Врет она, врет! - кричала Фпена. - Ее куриный пастух чуть не насмерть ухайдакал. Молчишь, курощуп?

- А ты, старшая сношенька, зачем в чужую жизнь встреваешь? - подступила рослая пышнотелая Василиса к дробненькой Фиене, высокомерно давя ее косым взглядом. - Не тебе, ветрогонке и

грохоту веялошпому, а Марьке поверю. Ну как? Упала пли столкнул?

- Зыамо, у пола во сне.

- Видишь, сама признается. Подсунули нам какую-то порченую. Ступить боится, глядеть на людей ке смеет, а

говорит, так вот-вот помрет. Овпниватилась кругом, и нагрешила, видно.

Кузьма шагнул к сыну, но Василиса укоротила его:

- Какого шантана керосин переводишь? В своен-тэ жизни не разобрался, да еще молодых пришел рассудить.

Покорность Марьки разжигала в сердце Автонома такое чувство лютости, что временами он боялся, как бы и?

убить жену до смерти. А наутро она опять раньше всех на ногах, готовая исполнить любое повеление, от кого бы оно не исходило.

Воскресным днем после завтрака Марька отправилась навестить родителей. Надела шубу с лисой, полушалок голубой. И хоть до слез жалобно ныла душа, она сдерживалась, шла быстрой легкой походкой, грудью вперед, здоровалась со встречными так весело, что каждый думал с радостной улыбкой - знать, счастливее той молодайки на свете нет женщины. Больше всего боялась показаться скучной матери и особенно отцу. Горячий отец - узнает, наделает йог знает чего. Автоном тоже - кипяток.

Сестренки убежали на улицу, мать и отец лузгали тыквенные семечки на кухне. Заглядывало в окно подобревшее солнце. Марька разделась, подсела к столу.

- Что это за мода - шею повязала? - спросила мать.

- Простудилась, мама.

Отец быстро взглянул на нее.

- Эх, Марька ты Марька, бесталанная ты у нас. Первая дочь и та несчастная, - сказал он. - За что он тиранит тебя?

- Что ты, тятя, Автономушка пальцем не трогает.

- От кого скрываешь? Развяжи, мать, платок на ней.

Оба ахнули - мать сокрушенно, отец - яростно, увидав черные следы пальцев на белой шее. Отец разжал над столом кулак и удивился - семечки не падали, будто вросли в кожу ладони, так вдавил вгорячах.

- Изгаляться над человеком? Косматое зверье. От им кто? Собака, что ли? - Максим сорвал с вешалки полушубок, пахлобучил на голову шапку. Жена и дочь повисли на его плечах.

- Он меня тогда убьет. Сейчас не придумаю, почему дерется, а тогда зацепка будет: жаловалась.

- Ладно, погожу. Если хоть пальцем тронет тебя беспричинно,

беги к нам. Я доразу отверну ему голову, как куренку.

- Сама не давай повода для драки, - говорила мать. - Ведь собака и та ни с того ни с сего не кидается на человека. Отец у них не цепной кобель, только мать поедом ест всех. Да еще та Фиена, она часу не проживет, чтоб не сцепиться с кем-нибудь или стравить других. Потише будь, Маша, уйди в землю по самую макушку. Ведь окромя тебя еще пять девок растут. По твоей жизни с мужем о них судить будут.

- Старинку поешь, Катя. Вот что, Марья ты моя Максимовна: не терпи! Бить начнет, кричи, пусть все знают. Осрамить их надо. А то все шито-крыто. Злые живут терпением добрых.

Марька собралась уходить.

- Сиди, еще не успела лавку нагреть, - остановил ее отец.

- Дома хватятся, а меня нет.

Мать так я всплеснула руками:

- Да разве не сказала мужу и старшим, куда пошла?

- И мужу, и мамушке, и батюшке, и Фиене говорила, да ведь притворятся, будто не слышали. Точить станут.

- Иди и скажи: мол, тятя с мамой в гости скоро приедут.

Шла Марька домой с надеждой. И только согрела себя мыслью о ребенке, как подумалось: вдруг да мертвый родится? Бил-то муж под самое сердце. "Господи, спася и защити его, пусть он живет, мне-то и помереть можно.

Только как же он без меня?"

Как будто сговорились, въехали во двор Максим Семионович со своей Катей и Ермолай Чубаров с Прасковьей.

Даже со своим вином. Хозяева заколготились с виноватой поспешностью, чуяли, почему в неурочное время нагрянули. А Фиена так и взыграла при виде тарантаса.

- Идем, Марья Максимовна, кататься. Улицу объедем, и то хорошо.

- Гостей, чай, надо угощать. Тятя с мамой...

- А-а, не слушаешься старшую невестку?! Тычешь мне в глазыньки моя честные своей святостью, бессловесностью. Уж как ни измываются над тобой муж да свекровь, а ты кротким голосом: Автономушка, милый, родная матушка. Да я бы музданула его, будь его женой, он бы г ногах у меня валялся. Ты и свекровь избаловала своими тютачками, та так и рвет, так и мечет, с жару с пылу все хватает. Я-то кем кажусь на одной половице с тобой? Мало тебя Автоном Кузьмич учит... Поехали, без нас ОБИ наговорятся вдосталь.

Марька скосила глаза на невестку и мужа. Он говорил о чем-то с дядей Ермолаем, наклонив голову, и ничего толком не могла понять по его лицу, замкнутому и озабоиному. Боясь обидеть

злопамятную Фнену, села в тагантас. Еще раз оглянулась на Автонома.

- Земля зачем тебе, племяш? - говорил Ермолай. - Кончишь когда-нибудь свой рабфак на дворе, то есть на кому, бери ребятишек за вихры, обучай. Крестьянствовать, вижу к, невыгодно по нонешнпм временам. Даже опасно.

- У меня жена будет учительницей, а я - землеробом.

- Марька - учительницей? - Ермолай кивнул бородой на Марьку, выезжавшую вместе с- Фненой со двора.

- А может, Люся.

- Ты. то самое, шути, да не очень. Я отец, не отдам.

- Послушается? - Автоном прищурился. - Пора бы вам сойти с дороги, а то столкнут. - Он отстранил дядю и ы.тбежал. за ворота.

- Вернитесь! - кричал женщинам, махая рукой.

Марька потянула за левую вожжу, поворачивая игреБШЮ, а Фиена - за правую.

- Что вы, бабы-дуры, коню губы дерете? - устыдил проходивший мимо сосед. - Пьяные, что ли?

Марька уступила вожжу, рванулась выпрыгнуть ва ходу. Но Фиена удержала за пальто. Постыдилась людей Марька пререкаться со старшей невесткой, только тихонько умоляла не ездить дальше первого проулка. Фпена же промчалась кругом улицы как бешеная, а когда разгоряченный конь остановился во дворе, Автоном стащил жену с тарантаса. Фиена с испуга едва открыла разбухшую избяную дверь.

- Убил! Марьку-у!

Сидевший за передним углом Максим махнул через стол, но, видно, ноги отяжелели, повалил яичницу. На дворе он схватил зятя за грудки, рванул так, что иуговиды поддевки горохом брызнули на лед.

- За что? Распутная она, а? Тогда сам разорву, душу выну.

- Не знаю, Максим Семионовпч. Может, за венчание, может, за мягкость восковую, за совесть, укоряющую меня. Не вижу - тоскую и уж таким подлецом себя понимаю! А увижу - разорвать готов. Чем больше виноват перед нею, тем страшнее, тем труднее удержаться. А ведь люблю...

Отчев задумался, пальцы разжались, выпуская сукно Автономозой поддевки.

- Чаял я, с женой осилю свою матушку самодержавную, по-новому заживем. А она пригнулась. Ну, почему она такая божья дочь? Как же мне жить, Максим Семнонович?

Кузьма с четвертью кишмишовки подошел к Огчеву:

- Сват, сват! Разберемся потом...

- Он всю кровь нашу иссосал, сердце высушил. Ты не можешь

учить сына, тогда другие научат.

8

Весну любила Марька. Больше лета и зимы. И едва влажный ветер дохнул на снега, суматошнее зачирикали воробьи, купаясь в золе, а воркотня голубей подладилась под звон капающих сосулек, как молоко с коровьих сосков, светлее и просторнее стало в избе от обтаявших, окон, - повеселела Марька.

Люди выхлынули на берег любоваться разливом полой воды. Радовало Марьку водополье с той самой детской поры, когда смотрела на реку с лопасной соломенной крыши, теплой от солнца. Плыли льдины с вехами, с почерневшими дорогами, с годовалым телком, видно унесенным льдиной в тот момент, когда, почуяв весну, нерасчетливо взбрыкнулся он бежать от хозяйки.

Земля встала из-под снега в тенетнике и паутинах, просила тучку взбрызнуть дождем, чтоб игольчатой травке легче зазеленеть к солнцу. И неясные и очень молодые надежды зароились в душе. И хотя в семье постились, сидели на капусте, картошке да хлебе, все вольготнее становилось ей дышать. -Даже тот, кого носила под сердцем, не стеснял легкости. Свекровь и свекор говели, ходили в церковь, говорили смиренно, мало ели, мало спали и не покладая рук работали.

В субботу шестой недели великого поста привезли в дом священника, и он исповедовал бабушку Домаушку, Марька обхаживала старуху, стойко привыкая к ее острому запаху, и только боялась, как бы не заприметили родные. Грела в печи ведерный чугун воды и, когда засыпали все, тайно от свекрови и насмешливо-ехидной Фиены подходила к запечью и со словами "Бабаня, возьми меня за шею" выносила иссохшую старушку к жерлу печи, раздевала и, посадив в корыто, мыла худенькое сморщенное тельце мылом, поливая из ковша.

- Не горячо?

- Нет, касатка, можно погорячее. Холодит меня изнутри.

Руки не терпели от кипятку, а бабушка только вздыхала, удоволенная. Иссохшие в будылья руки и ноги, пустые, вылущенные временем груди не возбуждали у Марьки чувства брезгливости. Жалко было ее, слепенькую, как новорожденный котеночек, беспомощную. Расчесав редковолосую голову, облачала бабку в прокатанную рубелем льняную рубаху и относила на чистую постель.

"И она была молодая, любила, счастлива была или били ее, а вот теперь дожила, все сторонятся. Не приведи бог мне пережить свою силу", - думала Марька.

- Беззлобная касатка моя, - плакала Домнушка, целуя руки

Марьки. Милосердная. Для любви, сердечная, родилась. Дай бог тебе счастья и пошли тебе господь хороших деток, чтобы не бросили на старости лет. Чтобы заботная рука омыла и накормила.

- Бабушка, в ладу жила с Данилой-то?

Если не ныли ноги, отвечала с певучими нотками в хриплом голосе:

- С молоду в одну дудку дули. Норов у Данилушки ровный, тихонький, как утро майское. Словом не обидит:

все думает больше, много он думал. В глаза посмотришь - темный лес, непонятность сплошная. Сама я к нему убегала, вдовый он, засыпкой на мельнице работал.

Родители, царствие им небесное, не выдавали. А мне он дюжа по сердцу пришелся: что стать, что речь умная, голос спокойный.

Если же бабушка не в духе была, жаловалась:

- Чего я за ним видала? Отдала женатику младость свою всю до последнего цветка, уманил он меня, глупую, посулами да ласками. А потом, как дурачок, улыбится.

Я его и так и разэтак, а он знает свое - скалится, мол, покричит да перестанет. Егорка мой откован весь в отца...

Чую, пахнет вешней рекой и рыбой...

Кузьма принес полведра полосатых окуней да щуку - голубое перо, свежих и холодненьких, как хрусталины битого льда, вместе с рыбой попавшие в сачок. И глаза у Кузьмы стали живые, наигранные, как у ястреба, хотя великопостная голодуха исхудобила так, что живот прирос к спине.

- Вот, мамака, начну рыбой откармливать тебя, и ты поднателеешь, сказал Кузьма матушке.

- Я песенница была. Бывало, идем вечерней зорькой с поля среди хлебов выше грудей и поем на всю-то степь.

Господи, что за голоса тогда у людей были!

Жалостно и грустно становилось Марьке оттого, что полумертвая, припахивающая тленом старуха, кажется, совсем недавно радовалась духмени вызревающей пшеницы, легко ставила босые ноги в остывающую под вечер дорожную пыль, вслушиваясь в зовы дергачей. И оторопь брала от мысли, что и она, Марька, будет такой же немощной и станет оплакивать мутными слезами свою молодость, краткотечную, как эхо кукушечьего ауканья.

Господи, зачем наказываешь человека старостью и немощью?

Близкое общение с бабкой Домнушкой исподволь настроило Марьку на такой старческий лад, будто сама она прожила бесконечно долгую жизнь, тонула, горела в избег рожала десять детей, слепла.

- Душе-то моей тесно и скушно стало в моем теле.

Томится онат касатка, по воле нездешней, по краю бескрайнему. Дай-то мне, господь, легкое расставание души с телом.

Марька умилялась тому, с каким спокойствием готовилась к смерти бабака, упрашивая всевышнего в своих вечерних молитвах скорее прийти и обрезать узы жизни.

Боясь обидеть Домнушку, Марька спрашивала, правда ли ей хочется умереть.

- Пора уже мне, девонька. Бабий век сорок лет, а я скриплю до ста. Износилась, как рубашка. - И вдруг заплакала Домнушка: - Удостой меня, грешную, жизни праведной. Сколько насуперничала, напакостила. Даруж царствие небесное врагам моим.

- Я вот молодая и то уморилась жить.

- Нет, милая, не гоношись. Поживи, пострадай, в ветхость придп. Молодому умирать грешно, все равно что завязь ва яблонях рвать или цыпленку прямо из скорлупы голову резать. Пусть само поспеет и упадет в свес время. Живи, рожай детей, радуйся, жени и замуж выдавай, погорюй над ними, когда они хворают. Не одну ночь до слепоты поплачь. А они, может, под старость тебя, как суку беззубую, со двора прогонят. А ты не ропщи.

Бог зрит все. Видала, как спорынья сосет молоко из зерен ржи? Порча эта черная. Такая же спорынья на мозг человеку сядет, и тогда он круговою хворью мается, лезет ва стенку, ближних родных готов кусать. Автономка-внук - тем же испорчен у нас. Не злись на него, не виноват сн.

Лечить его надо. Меня ведь тоже бил покойный всем, что под руку подвернется, только печкой не кидался, а о печку стукал. А ты об смерти! Бес нашептывает эту белу.

Хочется ему лишить белого света всякую живность. Спелая я. а все вижу нутряным зрением. Ночью вы спите, а бесы обступают мою запечку, мол, как душа полетит, мы ее закогтим. Только ангел махнет на них мечом, они, как воробьи, в кусты...

За время говенья выперли у Марьки скулы, потускнели губы, а вот глаза, казалось занявшие все лицо, светлели апрельским небом, да спокойствие чувствовалось в пришедшей к ней степенности.

Автоном не трогал ее, срывая злость на скотине - однажды лошадь наступила на ногу, так он, удерживая ее в поводу, крутясь по двору, бил до пота. Даже мать в страхе крестилась. Все дальше он уходил от семьи, чернея лицом; временами глаза его то жутко накалялись синим огнем, то перегорали, сизо холодея.

Возился со своими породистыми двумя коровами, чистил и холил лошадей, зимой пахал треугольной волокушей снег на озими да на зяби, чтобы не унесло ветром в овраги. Вечерами сидел над книгами и журналами. Даже любимых голубец забросил - двухохлых, турмана в бормотуна. Маръка заплакала, когда Автоном, вернувшись с какого-то собрания, отрубил голубям головы.

- Автонома, милый, ведь дите скоро будет у нес, любовался бы голубками.

- Не видишь, ночей не сплю? Завяз, как свивья в трясине. Вспахал тайком десятину на госфондовских землях.

- Тайком? Грех-то какой. Автономушко.

- Сам не знаю, как вспахал. Глядел-глядел за чернозем, да и начал пахать. Жалко бросать. Целину подымы коней чуть не надорвал. Гляди мне, не проговорись.

Грех земле холостой лежать, а засевать - дело святое.

- Зачем поведал мне? Не утаю греха, тяте раскроюсь...

- Ну и дура. Сгубишь меня.

Автоном не говел, пил сырые яйца, ел сало, в церковь не ходил. На сетования стариков ответил глухо:

- Расшумелась темная дубрава.

Объяснялся с матерью с глазу на глаз в горнице, а Марька и Кузьма на кухне молчали, поглядывая робко на голубую дверь, будто государева дума мудрила за той дверью. Вышел Автоном, закусив молодой ус, глаза - в холодном синем огне. Оделся прямо по-жениховски в легкую касторовую поддевку табачного цвета, фуражку - на макушку и ушел, блеснув начищенными сапогами.

Вытирая слезы концом темного платка, Василиса ослабевшим от великопостного говения голосом попрекнула Марьку:

- Муж прямешенько в ад иноходью бежит, а ты не остановишь. Я-то надеялась, богобоязненная жена отвратит парня от нечестивых. А ты, видно, распевала у Ольги Цевяевой божественные молитвы для приманки сватов, мол, глядите, какая я непорочная голубица.

- Грех вам, матушка, говорить такое.

- Не перечь! Пашка-монашка тоже дощеголялась святыми ляжками до того, что с Якуткой-собашником в одной кровати уснула. А теперь в приживалках у директора совхоза. О господи, прости меня! - Василиса вынула из сундука медный складень с ликами матери божьей и сына ее, стерла купоросную зелень, развернула складень на столе и, затеплив свечу, опустилась на колене, творя молитву.

Обрезанный ее укоряющим взглядом, Кузьма встал рядом шевеля губами. Ни одной-то молитвы он не знал до конца.

Марька на память стала читать Евангелие от Луки, пасмурную кухню наполнил ее чистый умиленный голос| звучащий из самого сердца.

В субботу с утра нашествие из совхоза: трактор с красным: флажком на радиаторе глубоко ископыгил коггисгыми колесами волглую землю дэ самой церкви, за ним с песнями и красными флагами проболи рабочие, увлекая за собой детвору. Замитинговали напротив церковных ворот на площади. Успели вырыть могилу и захоронили в ней останки Ильи Цевнева, покоившиеся до того в кирпичной яме за селом.

Захар Острецов до слез растревожил своей речью совхозских рабочих и сельчан. Многим показалось, что еще слово - и убийцы покаянно падут на колени, откроется темная тайна гибели Цевнева... Но Захар уже предрекал мировой буржуазии: пусть-де она попробует напасть, одна попробовала, да родила. Так и буржуазия родит мировую революцию, она уже беременна ею.

Тимка не говорил речь, только у могилы отца постоял подольше других. Ольга же, матушка его, молилась в церкви, а потом тайком положила на могилку под дерновый пласт медный крестик. Шествие тронулось с революционными песнями. Автоном шел в первых рядах, вдыхая запах отработанного трактором газа.

В канун светлого воскресенья Христова в школе ставили спектакль. Сам директор совхоза Колосков играл бывшего генерала, принявшего правду красных, стрелял из нагана холостыми патронами, а экономка его, бывшая Пашка-монашка, ныне Пашенька, подсказывала самодеятельным артистам, спрятав белокурую голову в наспех сколоченной будке.

Старенькая шинкарка Мавра своими глазами видела, как переполненная легковерной молодью школа приподнималась над разверстой пропастью, летала вокруг церкви, чуть не задевая углом за ограду.

Василиса ушла ко всенощной, Фиена металась то в церковь, то в школу, только Домнушка за печкой да Кузьма остались. Марька вязала свекру носки из поярковой шерсти, а он чинил прорванную щукой крыленку.

- За что бьет тебя, деточка? - спросил Кузьма сноху напрямик.

- Нет, он не трогает, батюшка.

- Не ври, вижу и слышу, как ты крепишься, побои переносишь. Скажи, кланялся-то он долго за тобой, когда замуж уговаривал? Больше трех разов?

- Забыла все, батюшка. Да и не считала. Поклоны зачем мне? По любви вышла.

- Ни в чем не допущай, чтоб больше трех разов упрашивали.

Или соглашайся, или отнекивайся наотрез.

Потому что после третьего отказа не человек уж просит полюбовно, а злоба его умасливает. И вот она, пречерная злоба, унижается, валяется в ногах, а сама прикидывает:

только бы заманить тебя под одну крышу, оттсвздпть воротами от людского глаза, там я пососу твою кровушку, погрызу твое ретивое. И неловко мне говорить о своем сыне, а скажу, чтоб знала ты, Марья, как своей головой распоряжаться: всеми потрохами в мать он, до смерти помнит обиду, даже если и нету ее, а ему примерещилось.

Грядасовых порода. Через них и я десять лет каторжничал. Я бы унял Автонома пальцем левой руки, да клятву дал неземным силам укорачивать себя. А еще научу я тебя, ты терпеливая и, видать, живущая, могутная, можешь одолеть его, только пусть мои слова внаук тебе пойдут.

Марька околдованно расширила глаза - старой будто заночевал в ее страшных сатанинских думках: а что, если бы мучитель ее помер?

- Господи, что ты, батюшка...

- Не драться я учу тебя. Такого забияку силой не переважишь. Добром тоже не возьмешь. Кровь ярит дикого зверя, а добро - лиходея. Приворожкой возьми его.

- Батюшка, ведь грех ворожить-то.

- Сразу видать, дурочка, молодая дурочка. Ворожба ворожбе рознь. В неволе так-то у нас аспид с ружьем издевался над нами аж до собственных своих слез. Особенно перепадало одному кроткому, неизьестно, чем живу.

Ну, я и отвел забияке глаза. Как? Об этом не спрашивают и не рассказывают, только вместо лютости задумчивость у мучителя появилась. Бывалоча, меня увидит, белее снега вымеливается лицом, с носа пот капает. Сколь начальство ни допытывалось, с чего стал такой трясучий, он не сказал. Потому что взгляда моего и слова он и во сне не забывает. А опосля смерти пять лет помнить будет.

- Страшно ты говоришь, батюшка.

- Автономку испортила наговорами баба. Я-то знаю.

Ученые бабы хитрее колдунов, потому что книжная мудрость лукавая съела в душе совесть. Им все дозволено:

мужей чужих сманивать, самим, как челнок, нырять от одного к другому. И только тебе под силу исправить вывих в душе его... Вкоренить в него жалость к тебе - вот дело. Овца белоухая не допускала ягненка. Я выстриг у аее шерсть, повесил на его шею - подобрела, аж лижет не налижется. Надо выстричь на затылке Автонома клок, повесить тебе на шею. Да, вот тебе бы в мужья-то

Власа - душа, даром лицом худ, рябой. А Автонома-бурана свести бы с Фиенкой - пусть грызутся. Да надолго ли собаке блин? .

Не пошла Марька в божий храм, а поплелась полночью за село в луга, встала лицом к дикому терновнику. Поручейники и черныши вспорхнули и опять затаились.

- Встану, нз благоеловлясь, пойду, не перекрестясь, в чистое поле. В чистом поле стоит тернов куст, а в том кусту сидит толстая баба, сатанина угодница. Поклонюся я тебе, толстой бабе, сатаниной угоднице, и отступлюсь от огца и от матери, от роду, от племени. Поди, толстая баба, разожги у моего мужа сердце ко мне.

Тихий ход лисы, прыжок зайца, шелест мыши слышались во влажной ночи отчетливо-огромно. Старюка на залужазшей залежи шуршала так, будто копну сена волокли по траве прямо на Марьку.

Вернувшись домой, Маръка подоила коров, поставила варить пасхальный обед. Кружило голову от скоромного запаха, хотя в открытые двери избы и сеней половодьем текла заревая прохлада. Управилась до восхода солнца, надела свою любимую голубую парочку, вышла за ворота.

Почти у каждого дома стояли люди в торжественном ожидании восхода солнца - в пасхальное утро оно заиграет, радуясь воскрешению Христа Спасителя.

Откованная легким утренником тишина была так прозрачно чиста, что слышался не только всплеск в реке от обзалоз подмытой кручи, но и робкая капель тающего на крыше инея. За селом и рекой призывно чернела земля, жаждущая материнства.

Марька напряженно смотрела на темную волнистую линию холмов, за которыми, мешкая, изготовилось всплыть солнце. Сизое облачко по-гусиному раскрылатялось над сурчиной. Возрадовались в посветлевшем небе трепещущие жаворонки, на отпотевшей крыше заворковали сердито-любовно голуби. Маковки церкви заблестели, в проеме колокольни вычертилась фигура звонаря, изпод руки глядевшего на восток.

Марька зажмурилась, гася ломоту в пазах. В чистый ядреный воздух, пахнувший утренником, брызнул звонарь гулкие звуки колоколов. Что-то ласково-теплое и светлое коснулось Марькина лица. Сквозь ресницы увидала она разноцветное облако. Одновременно вздохнула и широко открыла глаза с почти сбывшейся надеждой.

Опираясь на крылатое, намокшее в золоте облако, играючи, легко всплывало солнце из голубого, разлившегося над землей воздуха. Шло оно наискось неба над луговым берегом, над рекой. Пели жаворонки, скворцы, и только ястреб, сморенный солнцем,

дремал на сухом сучке ракиты среди уже зазеленевших ветвей, навострив уши на хворое квохтанье наседок.

9

У крайнего дома улицу переехал всадник, на мгновение как бы перечеркнул солнце. У ворот Автоном свешался, все еще глядя на Марьку...

Торопился, бороновал ночами. На днях, возвращаясь с сева домой, он встретил у моста Степана Лежачего с удочками - сидит, сдвинув шапку на макушку, сосет самокрутку.

- Автоном, ну как там моя земля? Подсохла?

И хоть делянка Лежачего выветрила, потрескалась, Автоном с затаенной издевкой улове ли л лентяя:

- Земля твоя пока сырая. Рыбачь.

- Ну, тогда я погожу выезжать в поле. Бот такая щука сорвалась, отмерил по локоть Степан. - Возьми окунпшек на щербу Марье. Бабы на сносях любят свежую, как кошки, аж с костями трескают, - он высыпал из садка в торбу серебристую рыбешку.

- Не затягивай с севом, Степан, сушпт, - сказал Автоном, поворачивая к восходящему солнцу темное от загара и пыли лицо. Пыль забила уши, жесткую курчавину на шее, причернила тонкие крылья носа. - Знаешь, бери моих коней, поезжай сеять.

Подъехал Автоном ко двору Лежачего, ждал, когда тот соберется. Степан долго стоял перед бороной, почесывая затылок, потом постучал обухом топора по раме, зашел в избу, хлебнул ложку-две постных щей. Щи были холодные, а разогревать не хотелось. Он так бы и не собрался в поле, если бы рассвирепевший Автоком сам не выволок из сеней два мешка семенной пшеницы, которые егде зимой дал Степану.

- Садись в бричку! Хватит тебе на небо глядеть да носом по ветру водить!

Помогая Лежачему бороновать и сеять, Автоном с едкой горечью вспомнил: "Как там моя картошка? - каждое лето спрашивал Степан. - Пора окучивать?" - "Да нет, Степа, рановато", - отвечали бабы, закончив уже вторую прополку своего участка. А как начиналась страда, Лежачий кручинился над своей хилой, забитой сорняками пшеницей: "Эх, голова садовая, у всех хлеба чистые, а мои сурепка, куколь задушили. Будто черт насыпал мешками вредные травы".

Помочь-то Степану помог Автоном, но только возненавидел его, а заодно и себя за это. Ныне он перед рассветом ездил на госфондовские земли. На тайно вспаханной десятине земля в конце загона была ископытена чьим-то конем. Неужели Марька разболтала Острецову по своей святости? Да как же жить-то?

Значит, нужно идти в сельсовет признаваться в самовольной запашке, платить за землю. Да и как признаться? В комсомоле не восстановят. Или махнуть рукой на все?

Под мостом он опять встретил Лежачего, только не с удочками, а с железной лопатой - сидел на дубовом, с развилкой бревне, думал, морща лоб. Поджидал комсомольцев из Хлебовки. чтобы врыть стояк под оседавший у въезда мост. Автоном пустил коня на траву, а сам взялся за лопату.

- Ну ладно, копай яму, хоть ты и исключенный, - не сразу уступил Степан.

Смотрел, как Автоном тутится в обнимку с камелястой сохой, сочувствовал и осуждал:

- Зачем дубовую? Надорвешься!

И Лежачий припоминал вслух множество примеров, кто сорвал живот, кто сломал спину, у кого жила внутри лопнула. Не жалел, а насмешливо бранил этих людей.

Сколько ужасов и бед подстерегает ретивых в работе!

Осведомлен он был дотошно о разных хворях, какие приключаются с уснувшим весной на земле пахарем, с напившимся родниковой воды потным косарем, с застигнутым бураном сеновозом...

- Ты, Автоном, все в поле пропадаешь, не слыхал, наверно, что еще один выдающийся деятель аж губернского масштабу помер вчерась, - сказал Степан так горестно, будто наступал его черед расставаться с жизнью.

Автоном, сдувая с усов пот, утрамбовывая землю вокруг стояка, вспомнил с завистью и негодованием, как посылали Степана на разные курсы: то избачей, то по заготовке кожсырья, то по уморению ядами сусликов. В одно лето он все сени забил суслиными шкурами, во ве хватило расторопности сдать их на пункт, и их побила моль.

- Вот бы артезианский колодезь пробурить на нашей горе, лилась бы вода по долинам, камыши бы поднялись, а рыбы развелось бы пропасть! мечтательно сказал Лежачий Степан.

"Да Степка-то, кажись, умен. Кости не заломят с перетуги. Да и зачем без меры работать? - думал Автоном, садясь на коня. - Сейчас приеду домой, вымоюсь, возьму Марьку и айда в луга разгуляться. И непонятно, почему руку на нее подымал. Ох, как стыдно. Попрошу прощения".

И он уже будто видел приветливое лицо жены: она вытопила баню, блестят ее огромные глаза в дымной слезке... Льном пахнет чистое полотняное белье... Но не пришлось Автоному пойти с Марькой в луга... Только завернул за кусты бересклета, увидал гуляющую парочку - Захар Острецов и Люся.

Ясностью взора, без былого радушия, Люся отгородилась от Автономова взгляда, поправила на своих плечах Захарове пальто.

- Значит, сватовство мое на пользу вам пошло, - с издевкой сказал Автоном.

До самого дома не поднимал он отяжеленных горячей кровью глаз.

"Похристосовается со мной или нет?" - замирая, думала Марья, с испугом и готовым прорваться восторгом глядя на обветренное, с треснувшей нижней губой лицо мужа.

Размахивая перед собой левой рукой, как бы огребаясь, Автоном провел коня мимо жены, через плечо кинул косой взгляд на ее несчастное лицо в тот самый миг, когда конь хлестнул хвостом по ее голубой юбке.

Ноги ослабели у Марьки. И не было сил притворяться.

В горнице садились за стол гости - Егор с женой. Со всеми поцеловался Автоном и только Марьку ве замечал.

- Кум, ты куму Марьку вроде раньше всех видал, а почему не похристосовался? - напомнила ему Фиева, обтирая после поцелуя тонкие губы свои.

- Он пронесся мимо, как полоумный, - не сдержалась Марька.

У Василисы в глазах изумление. Но она встрепенулась, ласково прося Егора:

- Егорушка, садись. Настенька, тяни мужа за стол, - и жестко Марьке: Что зенки-то вычернились исподлобно? Подавай лапшу с курушкой.

И только зачерпнула Марька первый половник, подкатился к горлу полынный комок. Убежала в мазанку, уткнулась головой в хомут, зарыдала. Отвратны стали ей наряды, люди, муж и ее жизнь. За глинобитной стеной мазанки на обсохшем незатопляемом берегу плескались веселые голоса девок и парней, все ближе подходила гармошка.

Зашаркали шаги; по двору, в дверях нагнулся Егор, улыбаясь добрыми маленькими глазами.

- Марья, идем, я не буду исть я пить без тебя. Что это за порядки? Потерпи.

- Да я только и делаю, что терплю, конец пришел и терпению.

- Это верно, стань овцой - волки найдутся. Вез же не срами стариков и нас. День-то какой? Скоро закроем все праздники. Заживем по-новому. Без царя пожили, наступает пора без бога жить.

Вспомнила Марька играющее солнце, глаза свекра Кузьмы, виноватые, умные.

- Только ради вас пойду. А так мне праздник - нэ праздник. Все веселятся, а я как проклятая. - П вдруг словно новые нотки

прорезались в голосе: - Что я хуже всех, что ли?

Егор поднял ее на руки, понес в дом.

- Пусти, Егор Данилович, еще подумают: сколько за ней поклонов.

Впервые не опустила глаза, спокойно, с чужинкой встретила взгляды невестки, свекрови. Села рядом с Азтономом.

- Подвинься, чай, я тебе жена. Хороший бы муж куска без жены не съел, а ты ломаешься, за родню меня нэ считаешь.

"Уйду сейчас, пусть проклянут, осмеют, но и на него ляжет срамота на всю жизнь".

- Пей на меду настоянную, Марья, - ласково сказал Егор.

- Мне и хлеб противен стал.

Но Егор тянулся к ней через стол с рюмкой настоянной ва меду самогонки.

Автоном ударил по руке дяди, внно вылилось на клеенку. Егор встал, стукнул кулаком по столу:

- Долго будешь изгаляться над ней? Обута, одета, чистая, работает с утра до БОЧП, а БЫ, брат и невестка, в едовольны ею.

- Можа, она не любит его, - сказала Василиса.

- Василиса, не пускай в глаза пыль. Все я вижу. Да на меня ни одна девка так не глядела, как она глядит на тебя, Автономна. Сердце мое кровью заходит. Я свою Ностю взял обутой? Одни гусарики худые не пожалел ее родитель. Я сам же приданое ей справил, да так, что тятяj(а ваш, царствие ему небесное, не догадался. А ты что мудруешь над Марьей? Ногтя ты ее не стоишь. Я сейчас же пойду к свату Максиму Семионовнчу и велю ему увести сюю дочь. Не поет больше Марька - родной муж вынул душу вместе с голосом.

. - Не смотри так высоко - глаза запорошишь. Разбушевался! - прицыкнула Василиса на Егора.

- Василиса, гордый стал Автоном наш. На свинье сало, а на сердце гордость нарастает. Избаловала его Марька своими охами да ахами.

- Правду Егорий молвил, - сказал Кузьма, катая крашеное яйцо по столу. - Чем больше кота гладишь, тем выше хвост дерет.

Обед прошел кое-как. А когда ушли Егор с Настей в Фиена, Василиса расходилась безудержно. Швыряла ложки, рвала и метала.

- Пли я уйду, илп ее выгоняйте.

Кузьма сник на лавке, аж бородой касаясь своих колен.

- Я уйду, если ты будешь жить с такой злоехидной тихоней. Красивую нажил себе, вот и мучайся. Да разве вто жена, если на мужа недоуздка не накинет. Где женская власть-ласка? Его, мужчину, вот как надо обхаживать! - И понесла Василиса

выказывать свою волю, напоминая Кузьме его бесправие в доме.

Автоном молчал, подавленный гневом матери. Вся-то жизнь опостылела ему и думал зло: "Чего хотят от меня?

Маманя шумит, а батя молчит, копается в бороде, как курица в своих перьях. И эта стерва Фненка мутит весь дом".

- Иди, Марья Максимовна, к отцу. Видно, не судьба нам, - покорно, с сожалением сказал Кузьма.

Марька, будто окаменелая, сидела у кровати, положив руки на выпуклый живот.

- Не пойду, батюшка. Буду на поденку в совхоз ходить, работать за троих, мыть ему ноги и пить омызки, умру на работе, а домой нет мне возврата, - голос ее был печален, но тверд. - У меня еще четыре сестры. Поело святой недели замуж выдают Дашку. Что люди подумают о ней, если я уйду? Скажут: эта ушла и та такая же. Откажется жених. - Марька встала, шагнула на середину горницы, ко всему-то готовая, лишь защищая руками живот. - Убейте меня, а я не пойду. Убей, чтобы не мучилась я на свете.

Кузьма схватил рванувшегося сына за воротник, и новая рубаха полетела в клочья.

- Беж и к отцу, Маша!

Во дворе она остановилась, содрогаясь от бешеного рева Автонома:

- Пусти! Будь проклята вся жизнь в этом доме! Сожгу! Убью себя!

Кузьма придавил его к стене, скрутил за спиной руки:

- Не буди мою силу страшную. Эх, Автоном, не моэкешь смирить в себе зверя. И книжки о породистых коровах не помогают. Пускаешь в ход кулаки, как волк зубы...

Василиса плакала, затенив платком лоб.

- Лечить его надо, отец.

- Сейчас вылечу. - Кузьма сорвал с гвоздя сыромятный кнут, свистнул сына по лопаткам. - Отлучу о г семьи, негодяй. Ты еще поползаешь в ногах Марьи, пока не вымолишь прощенья.

Все крепилась, а переступила каменный порожек задней лазейки с огорода, вошла в свой родной двор, заплакала тяжко и беспомощно, забившись на кизяки, чтоб отцу с матерью не встревожить. С распухшим, саднящим лицом вошла, з дом, едва поднимая на крылечке измятые ноги.

Отец отдыхал на кровати, широкой спиной к двери, мать убирала со стола посуду. Только что ушли меньшая дочь Дашка с женихом.

- Максимушка!

Максим повернулся резко и неловко, упал с кровати.

Едва поднялся - внезапно отнялась спина, видно, с испуга. Бледный, потный, подошел он а дочери.

- Убила ты меня, Марька.

- Несчастные мы, господи, - прошептала баба Катя.

Ночевала Марька у родных. А чуть посветлело, пошл:".

с отцом к Чубаровым за добром.

В это время Автоном привел во двор игренюю кобылу и жеребенка. Капала кровь с распоротых боков матки.

Видно, метил кто-то выпустить кишки, да промахнулся, чуть повыше полоснул ножом, до ребер развалил. Жеребенок лег, матка понуро стояла над ним, подгибая колени.

Кузьма начал заговаривать кровь. Все молча стояли з стороне.

- Воды и мыла мне! - сказал Максим Отчев.

Василиса достала из печки чугун теплой воды, налила в таз.

Когда кровь остановилась, свалили и связали матку.

Максим зашил рану на боку.

- Ну что ж, Кузьма Данилыч, и ты, Василиса Федотовна, были мы с вами сватами, теперь конец. - Максим повернулся к Автоному. - Ты отныне мне не зять, а Марье не муж.

- Горе-то у нас какое - злодеи лошадь порезали, тут еще ты добавляешь, - запричитал Кузьма.

Максим молча пошел в дом, чтобы взять дочь.

В горнице лежала у сундука Марька.

- Уйди, тятя! - закричала она.

Где-то рядом с ней в ворохе ее нарядов заверещал младенец.

Василиса направилась в горницу, но Максим закрыл дверь, придавил спиной.

- Ту сдурел? Помочь надо, наше женское дело, сват.

- Не допущу до ребенка никого из Чубаровых. Нет среди вас закона человеческого. И я не верю тебе, хоть ты и сама рожала, Внук будет у меня жить и называться Отчевым.

Когда Фяена привела соседку, Максим впустил их в горницу к Марьке. На кухне на лавке дежурил, пока повивальная бабка не показала ему новорожденного и нэ сказала, что Марьке хорошо сейчас и что она не покинет дома своего мужа.

Свекор и свекровь плакали над младенцем.

Автоному показали сына лишь под вечер, когда прибрали роженицу.

- Сын твой, - сказала Василиса. - Не сомневайся.

Автоном повел бровью на мать:

- А я и не сомневался.

- Ну? Разве она тебе не открывалась?

- Брешут. И ты повторяешь, маманя, брех. Мзрька местная.

В кумовья Автоном уговаривал Тимку Цевнева.

- Без попа обойдемся, Тима. А кумой - Таняку. Ты ве пойдешь, позову Захара Осиповича.

- Захар и Таняка - муж и жена. - Как?

- Да так. У Танякп дите от Захара.

Склонив голову, Автоном долго и мучительно думал.

- Как же он мог обидеть сироту? - заговорил он с болью и злобой.

Вечером он стоял перед Марькой, лежавшей ва кровати, качавшей сына в зыбке.

"С чего же я такой дурак бешеный? - думал Автоном, и ему совестно было глянуть в глаза жены. - Ревную? Не зноблю? Да ведь хорошая она, Маша-то моя. А может, потому и лютую, что она лучше меня".

Прислушался, как Марька, качая в зыбке сына, напевала, видно, самой же придуманную колыбельную:

Не играйте, трубы медные,

Барабаны, попритихните,

Маво Гриню, маво малого,

Воявати не зовите...

- Уберем урожай... а там что? Неужели для того и живешь, чтобы крутиться в работе, есть, ппть? Порезали кобылу с жеребенком... могут поджечь... Эх, хоть бы ма-.

л ость пожить без хитрости... В законе простом, ясном и суровом: один за всех, все за одного...

- Бог даст, доживем, только торопиться не надо, не судить людей... Отдыхал бы... измотался, перепал, штаны спадают.

- Марья, ты хоть бы побила меня, ну вон тем руГелем, что ли, а? Аж до самой печенки прознобила стыдобушка перед тобой...

- Не надо терзать себя и унижать, - остановила его Марька, обвиноватишься безмерно, хуже злиться будешь. Если можешь, лучше прости меня, Антоном.

Он вытер слезы с ее щек.

- Со многими бывает, мы тоже маху не давали. А девка, она всего на одну ночь, а там баба на всю жизнь. Важна душа, Я бы и его простил, только не знаю, кто оя.

Заставив его побожиться, что оя никому зла не сделает, Марька призналась.

Антоном сел на высоку кровать, сжал кулаками меж колен. Даже сумеречность за ситцевым пологом не пригасила выступившую изморось на обрезавшихся скула к.

- Сын у нас, Автономша... Не губи себя.

10

Ночью кто-то, закутав лицо башлыком, подстерег Захара

Острецова у моста через реку, прикрутил жеребца к ветле, вытащил Захара из тарантаса. Молча, не лютуя, деловито укатал на суглинке до полусмерти. Потом положил совсем беспамятного в тарантас, привязал вожжи к передку и пугнул жеребца. Чуть тепленького Захара привез жеребец к родному дому.

Старуха мать то ласково, то грозя и стыдя просила назвать палачей. Но Захар так и не разомкнул спаяняого кровяной пленкой рта.

А когда сын отдышался к утру, выпил крынку холодного молока, мать снова приступила к нему:

- Хоть ты, Захарушка, своевольник, темный от большого ума, все же сын мой, кровь моя. Скажи, не из-за баб?

Захару и в голову не приходило, что игра с бабами может кого-то прогневить до зверского остервенения, чтобы увечить человека.

- Что ты, маманя! Тут действовала рука классового врага.

Последние годы старуха извелась душой о сыне: умна его широколобая голова, да слаб - не может отказаться от рюмки. А угостить всякий рад хорош собеседник Захар, да и бумажке любой ход даст.

- Встану на ноги, закапканю!

Вспомнились Захару слова Тимки Цевнева: "Прибереги эти деньги на поминки свои, обелосветят тебя, бабий угодник..."

- Почему это Тимка глаз не кажет? Я же люблю его, и он меня за отца почитал. Мне-то Тпмоша нужнее всех.,.

ему поверю... сказать надо кое-что, а вдруг умру... Как-го нелозхэ, все село проведует, а он избегает вроде. Автоном Чубаров оказался другом до черного дня - даже в окно не глянул. Отец травами лечит, скорбит, а он...

Встрепенулся Захар каждой жилкой, когда глядевшая из окна мать возвестила, что подкатила к воротам совхозная пролетка.

- Мама, вытри пот с моего лица...

Но навестил его не Тимка, а директор совхоза Колосков. Строго слушал Захара.

- Не узнал я, Онисим Петрович. Хоть и луна светила, да ехал-то я в мечты весь запутанный. Хватился, а он - в башлыке харя, тянет ко мне ручищи железные. Ну, хоть бы слово сказал, подлец! Кажется мне, еще двое стояли под ветлами. Один-то он наверняка бы убил, а трое-то остерегались связать себя таким страшным преступлением. Рука классового врага орудовала, не иначе.

- Ну, батенька мой, за что же серчать на тебя классовому врагу? Гуляешь вместе с лишенцами и кулаками.

Однако ты не просто Захар, а товарищ Острецов, и они могли тебя походя решить - многое знаешь о них... Берись за силу, а

пока заместо тебя будет член сельсовета Максим Семионович Отчев.

...Максим Отчев допрашивал братьев-близнецов Таратошкиных, Фому и Ерему. Какие бы беды ни случались в Хлебовке, Таратошкиных всегда допрашивали - они не обижались.

Давно когда-то отец их, Алешка-Таратошка, угнал пятерку коней у гумеровских татар. Хлебовцы сами изловили вора и связанным привезли на границу полей: делайте что хотите. Потолковали старики, отрешенно глядя, как зеленые мухи жрут окровавленное ухо вора, решили грех пополам делить: привязали Алешку к хвостам двух коней - русского и татарского, повесили на шеи по клочку волчьей шкуры... Не пришлось потому и ставить у въезда в Хлебовку черные столбы, упреждающие проезжих, что водятся в этом селе конокрады.

Братья Таратошкины до того неразличимо схожи, что даже жены, ходил слух, путали их. Носили кепки козырьком до горбинки носа, и удивительно было, как из-под такого навеса видят дорогу их щуркие глаза. Словом остерегались задеть братьев, боясь мести. Мстили они обычно в праздник или в какой-нибудь радостный для людей день.

- Ну, ребята, Острецова не вы маненько поучили? - спросил Отчев братьев.

- Дядя Максим, тут классы орудовали, а мы в классах не разбираемся, ты нас знаешь. Мы не увечим человека, издевательства не в нашем характере. По-нашему, или сразу без мучениев лишай жизни виноватого, или пальцем не тронь, - сказал Фома Таратошкин и снова опустил фуражку козырьком на нос.

Ерема сдвинул фуражку на макушку и, сказав, что Захарку, умнейшего в Хлебовке человека, бить может только какой-нибудь идиот, снова надвинул ее козырьком на нос. Они сели на скамейку, свернули по цигарке.

На вопрос Отчева, не подозревают ли они кого, улыбнулись снисходительно и нагловато.

- На подозрения нет зрения, тут без подзорной трубы не разглядишь.

- Подзорная труба есть у меня, вот тут, - похлопал по столу Отчев. - И ножик есть, каким порезали лошадь у Автонома Чубарова.

Братья вышли, но под окнами остановились. А когда Отчев выглянул, выманили его пальцем к себе. Встали по бокам его и, тесня локтями, отвели к колодцу.

- Посмотри вглубь... Так вот, ты от нас ничего не слыхал, Максюта, сказал Ерема и открылся: мол, может, за Марьку

отплатили Автоному, лошадей поувечили... совесть держится на ней, и за нее они, грешники и мытари, кому хошь горло перервут. А с Автономом они квиты, пусть он больше не опасается.

А Фома попросил принести из сельсоветского стола ножик, и, когда Отчев принес, братья плюнули на лезвие и бросили в две руки тот нож в колодец.

- Мы случайно той ночью стояли у моста под ветлой, видели, кто выбивал блох из Захария нашего, - намекнул Ерема. Фома же уточнил:

- Чубаровы - не то Автоном, не то Влас.

- Вы брешите, да не забрехивайтесь до полоумия.

Влас-то погиб давно.

- Мертвые-то еще больнее увечают: бьют мослаками, как цепом дубовым...

Братья обняли Отчева, одновременно дунули хладноструйно Фома в правое, Ерема в левое ухо:

- Мы не говорили, ты не слыхал. Аминь!

Долго Захар Острецов зябнул, не вылезал из валенок и пальто. Невеселой была его свадьба. С одной рюмки позеленел, широкий лоб покрылся потом. Однако молодая жева Люся выходила Захара, только стал с тех пор тяжело сосредоточенным взгляд его умных, в темных обводах глаз.

Захар сидел во дворе на завалинке, пил кумыс, когда заехал на коне Халилов.

- В доме есть кто, Захар Осипович?

- Один я, мать на огороде, жена в школе.

- Прекрасно, поговорить надо. - Халилов привязал коня под сараем, сел на чурбак, с удовольствием выпил налитый из бурдюка в кружку кумыс.

- Тимка Цевнев привез давеча.

- Тимофей?.. Он не мог вас? Ну, знаете, по каким-то давним обидам... Нет, нет, я не утверждаю! Вы, кажется, были правой рукой, ну что-то вроде охранника его отца.

- Да, я служил в его эскадроне. О Тимке выкиньте из головы, товарищ Халилов.

- Выкинуть никогда не поздно, отодвинем это пока в сторонку. А не могли вас те же самые, которые Илью Цевиева убили? Вы помните, как его? Для меня это очень важно, Захар Осипович.

Смутно помнил Захар...

Кажется, надежно спрятал своего командира Цевнева Б а гумне в риге Ермолая Чубарова, закидал соломой сморенного сном, ворота подпер жердью, коней поставил за омет и всего-то на часик отлучился навестить свою матушку. Она заспешила в

погреб за молоком, тайно от сына прихватила его винтовку, на избяную дверь накинула чепок. Захар выдавил окно, вылез на двор в то самое мгновение, когда мать подняла над колодцем винтовку. Оглянувшись на сына, она разжала пальцы, и винтовка упала в колодец.

Захар увидал, как два конника ведут связанного Цсввева. Впереди и позади ехало несколько всадников. Липа закрыты башлыками, а один был в зипуне, подпоясанный патронташем. Захар смешался со все густевшей толпой вокруг телеги. У дома Ермолая остановились.

- Узнаете этого вора? Чей он? - спросил один, лвшь чуть оттянув башлык, прикрывавший усы.

- Богов этот человек, - ответил уклончиво Ермолай, косясь на избитого Цевнева, стоявшего между всадниками. Рот Ильи был завязан широким ремнем, пристальный гзгляд отыскивал кого-то среди растерянных, изумленных людей.

Жена Ермолая Прасковья Илларионовна напевно и яростно взликовала, так всплеснув руками, что с плеч упала накинутая шубейка:

- Анчпхрист, что ли, попался?

Ермолай двинул ее локтем, и она, икнув, прикусила язык.

- Антихристу, сказано, пятьдесят лет, а этому и сорока нетути, - сказал всадник в зипуне.

Тут подъехали верхом на низкорослом мерине Кузьма Чубаров, почти чертя опорками подсохшую супесь.

- Слазь, борода! - скомандовал ему, видно, начальник этого дикого отряда.

- Да я и так почти стою на земле.

- Знаешь этого вора?

- Человека этого хорошего как не признать. А вот зачем вы лица свои попрятали, как азиатские невесты? Отпустили бы вы Илью, хватит маяться людям.

В понакрытую вечерней зарей степь увели Цевнева.

В тревожном разливе зари полз Захар по сухим будылъям лебеды. Горел костер из коровьего помета, спутанные, кормились кони на попасе. Двое допрашивали Илью Цевнева, сидевшего у костра со связанными назад руками.

Потом ему помогли встать, подтолкнули на край кирпичной ямы. Вскинули винтовки.

Захар уткнулся лицом в землю, зажал уши. Арапниками щелкнули выстрелы. Он поднял лицо. Кони вскинули головы, потом снова стали щипать прошлогоднюю травку-зимовуху. Поправив башлыки, все сели на коней, потек сырой звук копыт, на дороге четче загудел удаляющийся топот перешедшего на галоп

отряда. Догорал костер, несмело побежало пламя по сухому травостою, замерло, истаивая дымок.

Захар зашел с другой стороны от реки, утопая по Щиколотку в иле, нанесенном недавно схлынувшим половодьем. Спустился в яму - забегала, затрепыхалась рыбешка, мелькая гребешками поверх воды. Пахло тиной.

Цевнев лежал навзничь, живот запал, выпирала грудь.

Когда Захар стал развязывать веревку на его руках, Цевнев поднял незрячую голову, ртом шла крозь.

Остановил Захар ехавшего мимо на телеге соседа.

- Увезем в село.

- Да ить не оживет в телеге-то. И как же так Захарка? Что за люди убили его?

Но тут снова подъехали двое и велели зарыть Цевнева в яме. И пошла с тех пор черная молва, будто убили Илью свои же люди за конокрадство. Не мог тогда Захар встать грудью на защиту своего командира, боясь простого и страшного вопроса: где был ты сам последние часы его жизни?

А он и сам плохо помнил, потому что сыпняк свалил его к вечеру того же дня, а когда встал после хвори, далеко отодвинулась в неясном тумане вся жизнь... Потом начал Захар неразборчиво опираться то на то, то на другое плечо. Жил под страхом...

- Черную вражескую клевету с Цевнева мы сняли, перенесли его прах на площадь, захоронили как героя, - сказал Захар.

- Это хорошо. Но где же вы-то были? А может, он жил бы поживал до сих пор, если бы не захотелось вам так сильно навестить свою бедную мать.

- Илью Ильича сгубили угановские отступники. Слышали о таком, товарищ Халилов? - Захар остановил на лице Халилова глубокие в провалах глаза.

- Уганов, кажется, вместе с Цевневым начинал революцию в здешнем крае?

- Начинали вместе, потом разошлись. Цевнев - за пролетарскую революцию, Уганов - за какую-то середняцкую, мужицкую. О нем я много слышал, но не пришлось видеть его. Влас Чубаров рассказал бы вам, да погиб, похоронная была - в рядах Красной Армии сложил голову. А Уганов что? Заблуждался, но тоже, говорят, к концу-то порубил Волчью сотню, к нам перешел.

- Занимался я Чубаровым Власом и Угановым. Оба они мотались долго между белыми и красными, потом погибли. Да, а вас вот не тронули угановцы... Я рад. - Халилов встал, одернул гимнастерку. - Ну, Захар Осипович, все-таки я доберусь до тех,

кто руку на вас поднял. А дело о смерти Ильи Ильича Цевнева, может, целесообразно закрыть за давностью лет, а? Новые ждут нас испытания...

11

Степан Кириллович Афанасьев присматривался тайком к новому кузнецу Калганову, казался кузнец хитрым и злым. "Лишь бы он не заметил вые лежку за ним, - робел Афанасьев - По морде видать, несдобровать мне, если учует".

Он сам не рад был своему тревожному любопытству к пришлому кузнецу. То агентом ГПУ казался он ему, и тогда Степан Кириллович находил в своей жизни столько зацепок - бери за любую и подвешивай! "Беда моя, люблю работать на совесть. От Дуганова, окромя благодарностей, ничего не видал. А теперь, вишь, ошибка это.

И дороги не будет мне. А ведь я как ползать начал, потянулся к плугу. С раздополья до белых мух - на полях.

Чем же виноват, что и сейчас не по часам работаю, а от зари до зари? Выслуживается, хвост замаран, мол". И Кириллыч скрипел зубами, когда уличал себя в том, что старается понравиться кузнецу.

- Степа, не захворал ты? - спрашивала жена Аряша, растолкав Степана среди ночи.

- Во сне молол чего-нибудь?

- Пот, как у хворого, вонючий.

- Поработай с мое... У меня нету диколонов, чтобы как Дуганов, прыскать себя с разных заездов. Помнится, зашел я как-то с гулянки, а он сунул мне в руки пузырек с красной грушей резиновой, разнагишался и велит прыскать. Я давлю грушу, как коровью сиську, из пузырька через трубку брызги, а мой хозяин поворачивается, да как упадет на четвереньки и прямо сахарницей ко мне:

"Орошай!" Это он ждал в гости в тринадцатом годе наследника. Трехсотлетие дома Романовых праздновали...

Так-то, Ариша, пахну я по ветхости... Не дает мне спокойно дожить новый кузнец. Не простых он людей, хотя инструмент играет в его руках.

- Ну, поехал, Степа! После братоубийственной воины столько рассказов было о переодетых помещиках да офицерах. Потом поутихло, а теперь опять за старую погудку, знать, перед новой войной-межусобицей. Забрось удочку, побалакай с ним.

- Распирает мне голову мысль: а вдруг кузнец преступник ужасный, человека убить для него все равно, что почесаться, - поскребся и забыл, какое место жиляла блоха. Почует он за своей спиной догляд, обернется раз одну пятерню на горло, другую на

рот, и каюк!

Временами Кприллыч уверял себя в том, что кузнец из бывших, чья жизнь порушена революцией, кажется, без надежды восстановить ее, потерял, разнесчастный, родных, свету не рад... Но от этого прэдноложения было еща горше. "Закапканят волка на нашей: овчарне, начнут шерстить, перелицовывать, свежевать овец, не скрывается ла иод их шкурой вторая одежда волчья. Первому мне несдобровать: знал, да молчал, а не знал, так почему? Вороз ворону, знать, глаз не выклюет?.. Эх ты, распроклятая жизньжестянка, а не существо естественное! Хоть со своей должностью бефечь имение по наказу Цевнева. То красные, то Зелые захватывают имение, все требуют, а жалованье никто не думает платить. Да и какое жалованье, когда жизнь человека упала в цене, аж волос дыбом становится".

Как-то Степан Кириллович подслушал разговор кузязца с плотниками - они строила створы для кауза, он оковывал железом.

- Что ты мне, Петруха, завидуешь? - говорил кузнец, сидя на перекладине над каузом, свесив ноги. - Ты обсевок в поле, а я совсем, может, непаханый? Вот и выходит, плешивый позавидовал лысому.

Плотник Петруха вбил гвоздь, выпрямился, вытирая пот с белого, в глубоких морщинах лба.

- Да так это я. Человеку не угодишь, ему все мало.

На войне, бывало, вженькают кругом тебя пули, а ты уговариваешь судьбу: только бы выжить, а там рад буду пробавляться сухой коркой, лишь бы воздухом дышать.

- Что ты ему про войну, он ее, чай, сам знает вдоль а поперек, - подал голос Степан Кириллович из-за ветлы.

Показалось ему, что плечи кузнеца повело, как от озноба,

- Смерть солдату - свой брат, - сказал кузнец.

- Любишь ты коней, Калганов, а ни разу не попросился оседлать.

- Наше дело железо. - Угнув бритую голову, кузнец усмешливо взглянул на Афанасьева из-за дыма папироски. - Что ты присматриваешься ко мне, Степан Кириллович?

- Живешь по-чудному: молодой, а баб сторонишься, в компаниях не видно тебя.

- Деньги берегу... А ты почему с плетью ходишь? Не скучаешь по Дуганову, а?

Афанасьев сделал зверское лицо, замахнувшись плетью на кузнеца. Тот даже глазом не моргнул.

- Неробкий молодец.

- Вот если я взмахну, - сказал кузнец, крутанув над своей

головой ребровку, - по уши в землю уйдешь...

Разговаривая, они незаметно пришли к хатке кузнец,; вошли в палисадник под клен. Влас угощал Афанасьева водкой, томил загадочными речами...

12

Проплакав в свое время, Фиска облегченно вздохнула:

теперь можно погулять, помянуть мужа. Подружилась с бывшим попом Яковом и его подругой Надеждой Ненастьевой. Яков работал засыпкой на мельнице по совместительству заведовал библиотекой, собирал по всем округе книги ц со временем столько натаскал ах что малевькая хатенка его ве могла вместить.

Фиена участвовала в спектаклях и до того перевоплощалась в любую роль, будь то вдова или мужик-доходяга, что даже односельчане не сразу опознавали ее.

Фиена лезла в каждую семейную ссору, защищая женщин, виноватя мужчин. Чуть свет, только еще коров выгоЕЯЮТ, она уже сцепилась с каким-нибудь "угнетателем"

чихвостя его за несознательность. Вместе с Ненастьеь она помогала сиротам. С ходу стыдила баб за их темнот .

смиренность, звала сгуртоваться, чтобы отстаивать жеь ские права. Но вскоре Ненастьева и Яков откачнулись с нее, потому что Фиена учиться не хотела, зато все чаш, стала захаживать к Мавре за рюмкой.

Все говорят, что я ветрено гуляю,

Все говорят, что я многих люблю,

Вот про все я всегда забываю,

А про это забыть не могу!

и вызывающе хлопала по бедрам. Шла, распустив свои толстые, до пят, косы, раздувала ноздри, хишно щуря киргизские глаза.

Свекровь и свекор отворачивались от нее.

- А-а, вы любите Марьку, меня не любите, - наступала на них Фиена.

- Не заносила бы хвост на сторону, - советовал Кузьма.

- У меня муж погиб! Не имеете права ругать мевя.

Фиена всхлипывала, потом пускалась плясать. Отдышавшись, требовала раздела: - Отдайте мне мой пай! Лошадь и корову, поставьте мне избу. Корову на милостыни сиротам раздам, пусть поминают моего Власа. А на лошади буду кататься.

- Тарарьш тебе в рот, дура! - Василиса замахнулась на нее половником,.

- Только тронь, я казенная! Я общественная! Сожгу Библию!

Антоном угрюмо молчал, подавляя тяжелое бешенство,

- Власушка меня любил. Он у меня вот где находился! - притопывала Фиена каблуком и вызывающе поворачивалась грудью к Автоному. - Попался бы ты мне, куриный пастух. Я бы жилы из тебя повымотала! Запрягай лошадь в тарантас, поеду в волость за инструкциями.

Волость отвернется, уйду в монастырь!

Любила рыбу - сама бегала рыбачить, потом чай пила с ягодами - хотелось потолстеть. А как стала активисткой, работы не видали от нее.

- Хлеб убирать надо. Пшеница лезет с поля, - сказал Автоном.

- Езжайте страдовать. а я понянчусь с вашим Гришкой. Я люблю детей.

Вместе с отцом и женой Автоном скосил и заскирдовал пшеницу безостую на своих полях, потом собрался убярагь и тот, потаенно засеянный на казенных землях клин, уж не радуясь, что соблазнился распахать его по-воровскому. "Земля ничья, жирует бесплодно... А если накроют, пропал тогда я", - думал он. Ни матери, ни отцу он не проговорился об клине, знала только Марька. Но она наотрез отказалась убирать этот хлеб. В самую последнюю минуту открылся Фиене, соблазняя ее поехать с ним на уборку. Та жестко выговорила себе треть денег от продажи зерна с того участка...

Вокруг поля на десятки верст лежала извека не тронутая плугом земля... Объедут на жнейке несколько кругов, - Фиена правит лошадьми, сидя на высоком чугунном стульчаке, Автоном, упираясь ногами в палубу, сваливает колос к колоску, - ставят коней к колоде с овсом, а сами вязать снопы. Томит в долинке жаркое безветрие, пот заливает глаза, а они еще злее работают... В обед Фиен+ налила шулюм в чашку, загорюнилась под фургоном:

- У всех мужья, только я разнесчастная одна-разъедяная...

Автоном вытер мякишем хлеба дно чашки, запил айраном обед, посыпал лошадям сено ржаной мукой, прилег под фургоном. Но заснуть не дала сноха: ругаясь, плача, размахивая руками, ока кляла свою жизнь, всех Чубаровых с таким остервенением, что Автоном вскочил, усмири взлетающие гневно руки ее, обняв крепко.

- Кума, свихнулась?

- Пусти, я тебе сестра, - она слабо вырвалась.

Он испугался ее слов, отодвинулся, весь взялся жаром.

Фиена же улыбнулась зло, расплетала косу, подняв подбородок на ветерок, держа шпильки в зубах, попросила невнятно:

- Ты мне помоги, кум, отделиться.

- Это я сделаю, Фиена Карповна, - согласился Автоном, украдкой, с томительной хмуростью взглядывая на ее так похорошевшее смуглое лицо, поднятое к горячему ветру. Ситцевое платьишко вылегло по фигуре, как мокрое.

"Выделить ее поскорее, пока не обкулачили. Промотает? Пусть, все равно прахом идет. Без нее спокойнее заживу", - думал Автоном, толкаясь около коней, отгоняя мух.

- А поможешь мне дом поставить, всегда будешь желанным гостем. Уж я бы тебя примала! А Влас что? Много ли жила с ним? Забыла его, думала по дурости, это когда получила похоронную: а что бы кум Автоном взял меня.

- Вот бы жизнь была! Как черти яблоки делили. Куриным пастухом дразнила, а то бы еще придумала.

- Правильно дразнила, щупал ты кур, а кого надо, не догадывался. Может, любила тебя...

- Замолчи!

Автоном сел на коня, двух взял по бокам в поводья, поехал на водопой.

...Разогнула спину Фиена, а совсем рядом сидит на своем коне седоусый Степан Кириллович; удивление и любопытство выступили на его задубленном лице.

- Так-так, государственную земельку прибираете к рукам?

Как ни в чем не бывало Фиена кивнула ему головой и засеменила к волушке, скручивая на ходу вязку, - умела работать, когда охота находила на нее, вот даже сейчас, без деверя Автонома, уехавшего в кузню наварить поводок жнейки.

Степан Кириллович распалился, любуясь гибкой в стане молодайкой. Слез с коня, похлопал ее по спине: если улыбнется, хотя и ругаясь, значит, можно после ужина стлать на крестцы плп залужавшую ложоинку, гдз з росяой траве перепел уговаривает спать.

- А что, Фиена Карповна, ведь не поздоровится теое с Авгономом, если власти узнают об этой десятине, - припугнул Афанасьев Фиену властной октавой.

- Земля-то вдовствует, как я, разнесчастная, - Фиена взглянула на него горячими узкими глазами.

- Я тебе жениха нашел. Зачем говеть в младые годы? - Степан Кириллович прямился, скалил зубы под усами. - Жених образованный. Смекай, бабенка.

Кто бы из мужчин ни заговаривал с Фиеной, хоть самый древний старик, она не могла не взглянуть в его лицо чуть искоса, заигрывая глазами, раздувая ноздри. Взглянула и на Степана Кирилловича из-под белого платка, укутавшего все лицо до самых глаз.

"А в бровях-то у него еще не слиняла чернинка... зубы хоть взялись желтизной, как у десятилетка коня, все же целые и редкие, значит, влюбчивый".

- Куда нам, темным, до образованных? В кухарки? - спросила Фиена таким тоном превосходства, что ясно было, что и в кухарках она свое не упустит, жене любого начальника утрет нос. Оглянулась на уставленный снопами взволок - не едет ли деверь. Но кругом знойная млела тишина.

- Ничего, он жених али хахаль, сказать лучше, хоша я образованный, резон имеет. Красоту понимает... Тебе по о г делу-то, чай, лошадь с коровой достанется? На какую болесть чертомелишь у свекра? Заводила бы, девонька, свой дом-терем, пожила бы внакладку... Не вечно будешь пружинить на резвых ноженьках, закаменеют от старости, как у моей старой шишиги.

Она не отрывала взгляда от его сапог, до сухого блеска натертых о стерню, ждала, что вот и подступится к ней.

Но он стоял на целомудренном расстоянии от нее недвижно, все подбрасывая в огонек:

- Замухрышки и те получше живут, не томятся в эту проклятую жару, а холодовничают дома, вечерними зорьками купаются. Ты бы почище ихнего зажила при твоей-то красоте да сметливости.

Одной сухожилистой рукой обвил он ее топкий стан, другой вырвал грабли и бросил на жниво.

- Что ты? - зашептала озябшими вдруг губами, пятясь к снопам. Но он, как перышко, поднял ее и, ступая во летошним бороздам, унес в пшеницу на горячую землю.

Фиена дергала его за усы, с каждым шагом все слабея.

- Помалкивай, девонька! Тебя не забуду... Ну ц злая ты! - похвалил Кирпллыч и мягко стеганул плетью по тугому заду.

И зачастил Афанасьев к Фиене в те часы, когда не было Автонома...

13

Обирали бахчи. Кузьма тянул сизые плети арбузов, шуршащеколючие плетп тыквы, складывал в кучи. Позади него чернела голая, высосанная бахчевыми растениями земля. И солнце светило как-то желто, не прппекая. Небо загустело в похолодевшей синеве, спротливо безмолвствовали убранные поля, а березово-дубовые перелески, просеченные просветами, засветились рыжеватым увяданием.

- Ну что за жена досталась Автоному! Бывало, яоет - чисто за душу берет, - говорил Егор у шалаша, устало ожидая, когда поспеет кулеш. Самая пустяпшая песня до сердца доходит. Чего только не вспомнишь!

И петь перестала. Вынул голос и душу Антоном. Знал бы я ее судьбу, разве пошел бы сватать?

Что ты. Маша, прпуныла, Звонку песню пе поешь?

Ты, бывало, распевала - Настоящий соловей.

Марька молчала, помешивая в котле кулеш.

Василиса, перебирая в телеге арбузы, заметила ей:

- Оглохла? Онемела?

- Сохнет в горле, мамушка, - тихо отнекивалась Марька.

- Синит, как наседка на гнезде. Спой, коль хорошие люди просят. Докажи, что жизнью довольная.

Марька, глядя через реку на далекий шихан с дремавшим на вершине беркутом, запричитала вполголоса:

Как за батюшкой, за Яикушкой
Огонек горит, огонь маленький.
А дымок идет, дымок тоненький.
У огня сидят киргизушки,
Что не так сидят, все добро делят:
Кому золото, кому серебро.
Доставалася теща зятюшке,
Посадил тещу на добра коня,
Он повез ее во большой аул.
- Молода ханьша, а призез тебе Русску пленночку.
Ты дай-ка ей делать три дела:
Перво дело - овец пасти,
Второ дело - шерсть прясти,
Третье дело - дитя качать.
- Ты качу-баю, мало дитягко,
Ты по батюшке киргизеночек,
Ты по матушке мне внучоночек.
Молода ханьша все подслушала.
Она бросилась к ней на шекннку:
- Ты родимая моя матушка,
Садись на добра коня,
Поезжай в родну сторону.
А мне, горькой русской пленнотае.
Так уж бог судил, так судьба моя,

- Да. слушаешь ее, и вспоминается тебе жизня, - заговорил Егор. - В семнадцатом годе пошли мы в немецкие окопы брататься. Человек ровно тринадцать, ну что посмелее. Благополучно добрались, винтовки штыками в землю.

Целый час у них гуляли, угощались. Плясали. Товарищ?

Камрад! Обратно пошли, а со спины холод, дрожим - пулеметы-то у них стоят наготове. Нажмут гашетку, и конец. Скатились за взволок, один солдат говорит: "А я на вас в штаб

донесу, к ворогу ходили гостевать". - "Мы тебя за это можем прибить. Любишь ты лычки заслуживать". Прямой был это гад, говорит: "Все равно донесу, вы присяге изменяете. Вас надо полевым судом судить".

Тогда один толкает меня локтем: мол, пропусти на два шага и бахни ему в затылок. А у меня на душе до того хорошо, так-то любы мне люди! Война, думаю, кончается.

И зачем мне убивать этого злыдня, пусть едет домой к бабе и детишкам. А он. зараза, чем ближе к своим окопам, тем зловреднее, лютее талдычит угрозы. Подведет нас под расстрел эта шкура, шепчутся между собой солдаты. Один отстал на два шага, снял винтовку, на ходу поцелился з затылок. А тот почуял, стал оборачиваться, да только Е успел висок подставить. Сняли мы с него сапоги, шинель.

И что горько, так эти подлецы часто из своего же брата образуются.

Маръка я Фиена сели на вышитый ползучей травой берег Камышки. Постаревший пес Накат, будто беду чуя, не отставал от Марьки последнее время ни на шаг. Лег, не скуская с нее грустных глаз. Вода, тяжелая и плотная, темнела иод кручей, остуженная холодными утренниками.

Талы роняли узкие, тронутые ржавчиной листья. А весной тут бражно ленилась коловерть, прогревая под солнцем воды для прорастания чакана да потопушкп, чирки с безоглядной смелостью новобрачных гнездились в зарослях тростника. А сейчас отражается в омуте одинокое и ненужное на бахчах чучело - рваный зипун на сбитых крестом кольях, шапка шерстью наружу. Вот дошел до пугала свекор Кузьма, выдернул из земли, понес к бричке.

- И никак я не пойму, почему не везет тебе, кума Марька?

- Да что ты, Фиена, бог с тобой, хорошо живу.

- Не любишь ты горюниться, жалобиться. А я, только ужми меня, заверещала бы на весь свет.

- А зачем? Люди жалеют на время, а потом самим им неловко. Давай, кума, сыграем песню, батюшка любит.

Они прислонились плечом к плечу, вытянули ноги рядом - босые - Марька, в ботинках - Фиена, - сдвинули платки с высоко навитых кос на макушках. Глядя сузившимися глазами на чернобыл на том берегу, Фиена тоскливо затянула сипловато осевшим голосом:

Уродился я,

Как былинка в поле...

Марька поймала лист с вербы, прикусила зубами, невнятно подхватила:

Моя молодость прошла
По чужой неволе...

Страшась своего рвавшегося вверх голоса, она повела десню одна, лишь с укоризной покосившись на Фиену.

А та, обхватив руками колени, положив голову на них, покачивалась поклонно, зажмурившись. Потом опрокинулась на спину, заслонив ладонями глаза от солнца и из этой тени глядела в небо.

..Не пошлет ли мне господь
Долюшки счастливой,
Не полюбит ли меня
Паренек красивый.

- Соловей ты залетный, кума. Думала я о своей жизни под твою-то песню. Вот бы мне разбогатеть. Я бы не чертомелила, пила бы чай с каймаком, сдобными булками.

Была бы гладкая, каталась бы на троечке. А ты о чем думаешь?

- Грех это, - едва слышно, как бы издалека прозвучал голос Марьки.

- Что грех?

- Да все это грех - не работать, кататься - и все грех. Пусти душу в ад и будешь богат.

Марька взяла ведра, пошла под берег на капустник.

Накат метнулся в тальник, но тут же осел, виляя хвостом:

из-за кругляша-песчаника высунулась голова Острепова.

- Марья Максимовна, одно слово... - Он протянул поцарапанную о ежевику руку, но Марька не замечала ее. - Скажи мне по-человечеству: Автоном... обижает?

- Всех баб обижают. - Я свою не трогаю.

- А надо бы. Уж больно замечталась Люся Ермолаевна, чуть на ходу не спотыкается...

Не склеилась семейная жизнь Захара. Жена чуждалась его, дом запустила, сохла на глазах, говорила сквозь зубы. И Захар диву давался, невольно сравнивал жену с Марькой: муж бил, свекровь рычала, а она легка была на работе, пела песни, а когда говорила, голос звучал отрадой. И все чаще стал подкарауливать Марьку, хоть словом перемолвиться... "Мне обеими руками надо было уцепиться за Марьку, а я испугался", - думал он все горше.

- Ох, Захар Осипович, слабый ты, изверченный, хоть душа добрая. Сфальшивил ты мою жизнь вон тама... а теперь спрашиваешь, как, мол, мужик? Хвалит не нахвалится... Кума-а-а! Иди сюда, тебя председатель ищет.

Пока Фиена пробиралась по кустам, Марька, зачерпнув с мостков воду, ополоснула свои загорелые по щиколотку ноги.

Как-то уж слишком просто спросила Захара: велик ли грех человеку руки на себя наложить?

Норовя повернуть на шутейный лад, он сказал, что человек сам себе хозяин - может жить, может и умереть.

Его смутила слабая, горько-примиренная улыбка на серьезном лпце Марьки.

- А-а, мой ухажер тута! - сказала Фиена с бесстыдной самоуверенностью. - Посиди с нами, Захарушка.

За ветлами у брода взлютовал голос Автонома:

- Засеку, сволочь, до смерти! Н-но! - И свист кнута, и опять ругань.

Марька побелела.

- Убьет лошадь. Ох, кума Марька, не попадайся ему на глаза, - сказала Фиена.

Они видели, как от реки яа берег выбежал с изломанным кнутовищем в левой руке Автоном в бязевой рубахе, в засученных штанах. Синие глаза зло, по-коршуньему, круглились на его темном лице.

- Марька! - хрипло позвал он.

Она рванулась встать, но Фиена приковала ее к земле.

- Не ходи. Изувечит.

- Марька! Куда, холера, делась?

Автоном кинул левой рукой кнутовище в пруд, оно, вжикнув, торчмя врезалось в омут и гадюкой выметнулось у синего атласного лопуха потопушки.

Марья подхватила ведро, лейку, заглянула в глаза Острецова:

- Захар Осипович, зла у меня нет на тебя, - тихо сказала она и вышла на дорогу.

К Фиене подбежал Накат, присел и завыл.

Фиена скинула с левой ноги ботинок, перевернула подошвой кверху.

- Ты зачем это? - спросил Захар.

- А сам-то не знаешь? Чтоб покойника не было. - Фиена ушла, поманив собаку.

...Когда Марька вышла из кустов, Автоном замахнулся на нее хворостиной, но не достал. На том берегу он сел на дроги с только что срубленными ветловыми слегами, поехал домой. Колеса скрипели, как всегда в последнее время, потому что Автоному опротивело хозяйство. И слеги ему не нужны были, но коли разделили по дворам, он вырубил свою делянку.

Она шла позади, по пояс в пыли, которую взметала лохматая вершина ивы, волочившейся листьями по дороге.

- Садись, - велел Автоном, останавливая гнедого.

Марька прошла мимо, незнакомо решительным шагом.

Встречь попадались подростки, отводившие коней в ночное.

- Сам едешь, а жена босоногая по колючкам сбочь дороги ушагивает, сказал один бойкий подросток.

- Не срами меня, садись, Марька.

Она остановилась на секунду, потом ускорила шаг.

Дома ждали ее две коровы. Но нынче она не стала доить их, взяла из люльки сына, села на табуретку у стены мазанки, дала ему грудь.

- Не наглядишься на своего Гришку! - сказала Фиена и, громко стуча подойником, пошла доить коров.

Марька, распеленав сына, пересыпала желтой деревянной гнилушкой пахи.

Домнушка сидела на порожке мазанки, палкой отгоняла кур и воробьев от вянувшей на скатерке лапши.

- Марька, дай мне своего-то крику на, - попросила Домнушка, протягивая руки на крик ребенка.

Мальчик пугливо смотрел на белые, как молоко, бельмастые глаза, прилипал к груди матери.

- Господи, боится он слепую... а прежде любили детки меня.

Марька ласково уговаривала сына пойти к бабке. Он вздрогнул, очутившись в ее сухих и тонких руках. Бабка держала его на коленях, задыхаясь от горькой радости, целуя теплую макушку, тихо плакала.

Василиса зашипела на нее:

- Когда ты развяжешь мои рученьки, сидень? - и пробовала отнять у нее мальчика. Но он уже не уходил от слепой.

- Господи, услышь мою слезницу, приобщи меня, грешную, ослобони людей от моих обуз, развяжи руки им, - сказала Домнушка.

Почуяв запах молочной упревшей каши, Домнушка попросила Марьку положить ей ложечки две.

- Бабаня, каша детская, невкусная. Скоро ужинать...

Помолчав, Домнушка опять попросила:

- Сама не своя, едун какой-то напал на меня.

Пока Марька доставала кашу, маслила, старуха забыла, чего просила. Но когда Марька хотела унести кашу, она вцепилась в чашку, заплакала. Несколько раз промахивалась ложкой мимо чашки, а зачерпнув, заносила куда-то чуть не за ухо. Вдруг широко открылись незрячие глаза, рот повело на сторону. Сползла с каменного порожка, и палка, служившая ей много лет, сиротливо притулилась к косяку.

Перенесли Домнушку в передний угол под образа. Она попросила у всех прощенья. А после соборования дышала так тихо, будто легкое майское дуновение порхало по избе.

С чувством светлой грусти Марька помолилась за скончавшуюся... Все корни, связывавшие бабку с повседневной жизнью, отболели, и плыла ее душа в иной мир тишайшего успокоения.

Фиену в этот вечер какое-то беспокойство так и гнало из дома. К удивлению Автонома, повела коней в ночное, почему-то вырядившись по-праздничному. Спутала в зеленой лощине и заиноходила в совхоз. Не терпелось повидаться со Степаном Кирилловичем, а заодно взглянуть на свою соперницу - жену его. У дубового колка повстречался ей Ермолай верхом на коне. Узнав, что идет она в совхоз, он натянул поводья, свесился с седла, касаясь бородой. Фиениной щеки:

- А зачем?

Увертливые ответы Фиены навели его на подозрительные мысли. И он поведал осторожно о совхозном кузнеце, очень схожем с покойным Власом.

- Сходи тихонько и осмотрительно. В кустах укройся.

Если он, значит, есть причина блюсти себя, жену не допускать. Только я тебе, мила, не говорил. Может, мае поблазнилось. Земляной дух морочит разум человека. Все в земле и от нее - любовь и злоба, благодать и убийство.

И она же все прячет. Нет лучше ларя, чем земля - одних убитых сколько, а попробуй нащупай?

- Растравил ты меня, Ермолай Данилыч. Сна лишусь аи с ума сойду.

Ермолаю не удалось удержать Фиену от похода в совхоз ни насмешками, ни угрозами.

- Ну, Фиенка-стерва, если ты брякнешь, висеть тебе вон на том дубке. Ни глазом, ни ноздрей не показывай людям, что узнала его... Ох, девка-баба, сама лезешь в петлю.

Рабочие мастерской как раз банились в этот час. Зазелененная сиренью баня попахивала дымком и веником на крутом берегу речки.

Степан Кириллович отправился на песчаную косу нарвать белотала и увидел притихшую за кустом Фиену в розовой кофте, с полушалком на плечах: сидит, вытянув ноги, травинки сует в зубы, перекусывает. Украдчиво и греховно минуту смотрел он на смуглое лицо с горячима узкими глазами, прикидывая, как бы ему после баньки утечь от жены... Поскреб пальцами по груди полосы крест-накрест.

- Потянуло родимую на подножный корм - травку щиплешь, а?

Фиена помогла Степану Кирилловичу нарвать татарского мыла.

- Слушок привел меня к вам: будто из кузнецов ктото про муженька моего знает. Погиб, а вот какой смертушкой повенчала судьба, не ведаю.

- Ты что ж, Кирпллыч, ушел, и нету, - встретил Афанасьева в бане кузнец Калганов.

- Тут два нарвешь! Сидит на берегу такая Дуня, что не миновать беды...

Пока Калганов при меркнувшей в пару коптилке услаждал веником жилистое тело Афанасьева, тот намекнул ему, что бабенка заявилась неспроста, любопытствует взглянуть на него, кузнеца. И даже обрисовал ее облик.

Уже все, окатившись строщенной водой, пробками повыскакивали из бани, а Влас еще долго ворочался на полке, нагнетая обжигающий пар, тер мочалкой мускулистую грудь, занывшую тревожно. Женщины уже роптали вокруг бани, но он мешкотно одевался в предбаннике, выглядывая из оконца на рассевшихся на берегу рабочих - собрались выпить в складчину. Нехотя зашаркал сапожными опорками по тропе, теребя усы. Красное, с белыми усами лицо Афанасьева засияло над сиренью.

- Бесстыдник! Мы давно поостыли, а ты распарился там! Как баба после родов. Аида по маленькой пропустим.

Глаза Власа разбегались - на товарищей, на розовую кофту неподалеку. По этим нешироким плотным плечам, по каштановой шишке на макушке с гребенкой узнал он свою Фиену, ждал ее возгласа, как выстрела в упор.

Она встала, отряхнула подол юбки, повернулась лицом к нему. На секунду будто рванулась, потом опешила.

- Пойдем к нам. молодая! - позвал он озорно, подошел, пожал руку. Будем знакомы, раскрасавица, - Калганов Вася.

Смышленая, поняла его, начала подыгрывать.

- А что ж с таким кавалером не посидеть? Лишь бы жена глаза пе выцарапала...

Села в компании мастеровых. Уж что другое, а водку пить не надо было упрашивать Фиену. Играть же, придуряться она привыкла сызмальства...

Фиена и Влас затерялись в зарослях бобовника.

- От законной жены прячешься? - Она сомкнула руки за его шеей, прижалась горячим лицом к его.

"Пропал. Повис на мою шею бубенчик, теперь нигде не схоронишься", думал Влас с тоской под звездным небом, а жена перекатывала голову на его вытянутых ногах и, не понимая тревоги его, говорила о том, как они заживут.

Для нее все было просто и ясно, как эта игра речки на перекате. И еще она собиралась выцарапать глаза разлучнице,

если та, бессовестная, прибежит за ним. И еще бы говорила Фиена, глядя на звезды, радостно чувствуя затылком теплые мускулы его ног, если бы глухие рыдания:

мужа не остановили ее.

- Влася, миленок, скажи, что исделать, я все исделаю.

Горло перегрызу любой гаде.

- Всем жить охота. Куропатка на гнезде парит, подходишь, не взлетает сразу, а отбежит, чтоб от гнезда увести. Смерть за мной ходит, Феня. Как в сказке: я - голубем, она - кречетом, я - рыбой, она - неводом, я ковыль-травой, она - острой косой.

- Давай, Влася, в народ залезем. Затеряемся, как иголка в стогу сена, не найдут.

Влас велел ей притихнуть, даже пригрозил: если хочет в живых остаться, пусть забудет его.

- Гуляй с кем хочешь, я не осерчаю, не до того мыэ сейчас. Все прощаю, сам грешен. А вот болтовню не прощу, - сказал он, больно сжав ее руки повыше локтей. - Меня ты не видела, понятно? Да и какие мы с тобой муж и жена, если жили недолго и промеж нас легли темные годы совсем разной судьбы? Да и прежде чужими были.

Вспомни, как женил меня батя на тебе. Докалякались наши отцы по пьянке, твой оставил в залог шубу моего старика.

- Неужели ты не скучал по мне?

- А что вспоминать-то? Как ты выкамуривалась? Все, Фиена. Размежеваны мы до гробовой доски. О жизни своен не рассказывай, известна она мне до последнего шага.

- Ты хоть бы родителям дал о себе весточку.

- Ни советов, ни вопросов я не хочу слышать. Иди с миром. Спокойная жизнь твоя зависит только от тебя самой. Меня ты не видала, и не было у нас встречи. Со а это.

Втихомолку, укрывшись зипуном, до рассвета проплакала Фиеза в лощине, где паслись кони, скулила, как осиротезшпи лисенок на сквозняке.

15

Теска исподволь отравляла Марьку... С весны хлынул туркестанский суховеи, до времени смолкли соловьи в лугах. Пожелтели травы, на потрескавшуюся землю опали спаленные зноем листья. Вода пересыхала в мелких протоках. Загорелся сухостой в степях, огонь перекинулся на пойменные леса, на колки и уремы. Бежали от жары и дыма лисы, волки, лось однажды проскочил по селу. Вспыхнули пожары по деревням, хуторам и уметам. Поехали по селам погорельцы с обожженными дугами, казахи на верблюдах, голодные, прикладывали ладони ко впалым животам - курсак пропал! Бродяги, богомолки кружили в

поисках хлеба...

Первый раз в жизни Автоном где-то пропадал весь день. Лишь под вечер, пьяно качаясь, забежал в свой дом, хлопнув дверью, чуть с петель не слетела.

- Я те, шайтан, похлопаю! - прицыкнул на него отец.

Марька только что вернулась с огорода, снимала с головы платок. Автоном закрыл на крючок дверь, поплевал на платочек и, весь дрожа, стал тереть щеки Марьки.

Пунцом вспыхнуло ее нежное лицо, и будто впервые он разглядел, как она лучезарна в этом голубом платке, отливающем на ее плечах.

- Думал, фальшивый на твоих щеках румянец... Фиенка брехала про тебя. Прости, никогда даже словом не зашибу. - Сел на лавку, обхватил свою черную голову руками. - Ничего-то ты не знаешь, и никто из вас не знает, какая судьба поджидает нас. Гулял сейчас у Мавры с одним у-у-умным человеком из Голубовки, Чемоданов его фамилия. Мы не собаки, чтоб свою блевотину жрать - паря не позовем на престол. Но что, говорит, исделали из крестьянина? Да гори, говорит, пылом эта разнесчастная жизнь! Много сала возьмешь со свиного хвоста? Вон рабочий в совхозе без резиновых сапог не желает навоз убирать: тамэ, мол, вот какие микробы, с таракана. А я ног-то не отмываю от навозной жижи. В надоеду работа стала.

За какие грехи прикован к земле? В навозе копайся, собирай по зерну на калач, а умные смотрят на тебя с высокой колокольни, сохатиком величают, учат уму-разуму кому не лень. А мы как трава - вросли корнями, с места не стронемся. Давал я себе зарок - не выеду сеять. А как застонут перелетные птицы, как запестреет проталинами пашня, так и потянет немыслимая сила в степь. Городские учитывают эту дурь нашу, жмут, все равно, мол, трава не убежит. А ведь, сукины сыны, когда-то ползали, учились ходить по земле... Ну когда будет почет пахарю-сеятелю? Уходить надо, Марька, из села. Подошел к зыбке, где дремал сын Гриня, уткнулся головой в пеленки, зарыдал так страшно, что Марька позвала свекровь.

Собрали ужинать на дворе. Ранняя луна воспаленно закровянилась на мглистом небосклоне за рекой.

Фиена затрещала накаленным злостью и слезами голосом:

- Я все знаю, только молчу. Как меня обманывали насчет Власки? Спасибо, люди добрые намекнули: сходи, Фиена Карповна, к кузнецу Калганову, он вроде вместе служил с твоим покойным... Я наплюю в бесстыжие глаза свекрови и свекру-батюшке. На поповой башке волоска не оставлю от его гривы. Бога обманываете - ваше дело, а над женщиной изгаляться не позволю! Я не какая-нибудь терпеливица божья мать, я активистка! Доберусь и до Власа, скажу ему: жена я тебе, так давай в открытую, в обнимку пройдемся по селу, а то в кустах валяться со мной можно, а другое законное нельзя? Что он такого наделал, что людей боится? Да кого? Тимку Цевнева? Пришибу я этого чертенка. Они и Марьку за Автонома сунули, чтоб свои глаза и уши в чужом доме были. Мало ты ее лупишь, тихоню. Я бы так била, чтоб оглохла и ослепла, вражий подкидыш!

- Теперь я буду бить тебя, смутьянка! Тебе ведь свет не мил, если люди живут хорошо.

- Да? Ладно, выведу всех вас, Чубаровых, на чистую веду, за жабры вытащу на ветерок, погляжу, как вы будете разевать рты при смерти.

- Маша, чего же ты не ужинаешь? - спросил Кузьма.

- Я не хочу, батюшка.

- Да как же так? Огород поливала, чуть не весь пруд вычерпала ведрами, а ЕСТЬ не хочешь?

У Автонома задрожала ложка в руке. Наотмашь плеснул из нее щи на жену.

- За то, что тайно от меня Гришку крестила! Все вы, маманя, батя, сноха, обманщики! Не могу жить с вами...

Марька настигла Автонома в калитке, упала в ноги:

- Прости меня... за все... последний раз...

Поднявшись из пыли, Марька унесла сына в темную, с завешенным окном мазанку, положила в люльку, перекрестила, задернула полог. Опустилась на колени перед маленьким образом божьей матери.

"И настанет мой час, и меня вот так же, как мамушку Домнушку, ударит боженька по темени... Господи, почему нелады в доме моем? - заметалась в думах Василиса. - И когда фальшь-то началась? И почему ныне все такие изнутри разветренные".

...Автоном долго сидел под старой ветлой. Мимо прошли рыбаки, угнездились на своих прикормленных местах, засеяли воду распаренной пшеницей. Тишина вызревала на реке и в селе, и шум воды в каузе на мельнице за тополями и ветлами лишь усиливал ее мягкость и примиренность. Прямо над Автономом дромеж узорчатой листвы сумерки раздували робкие огоньки

звезд.

"И как же получается у меня шиворот-навыворот? Неужели рожден я для такой несуразной жизни?" - Автоном поднялся, усталый от невеселых дум о своей жизни и о жизни близких людей. Шел по плотине, наступая на свою тень. Под серебристым тополем стоял человек в болом, но подойдя ближе, Автоном увидел, что белел ствол тополя, облитый лунным светом. Такого густого лузного света он никогда не видел прежде.

"Сам я вынул чекушки из осп, пустил под раскат свою и ее жизнь. Батюшки, но я-то жив... Зачем?"

Часть третья

1

Батюшка в праздники обходил с молитвой все дома, кропя святой водой селян, а Захар Острецов перед отчетно-выборным собранием навещал своих избирателей, не брезгуя их угощениями. Потому-то, видно, и был он своим человеком почесть в каждой семье... Зашел он и к Егору Чубарову в его саманную ухетанную избу на краю Хлебовки. Убедить Егора - значит полсела уговорить...

На одном месте Егор жил недолго. Только сложит саманную избу под соломенной крышей, аккуратно подстриженной по карнизу, пристроит к ней погребицу, конюшню, сарай с плетневыми, глиной обмазанными стенами, как ни с того ни с сего начинает выламывать перекладины, потолок, пол, рамы, все деревянные детали постройки и переезжает верст за десять на какой-нибудь вновь возникший хуторок. Прилипла к нему эта непоседливость (Василиса говорила - васса в ногах завелась) с того будто, как земли помещиков перешли к народу, - поселяйся, где твоей душе угодно. В трех хуторах-выселках остались зарастать лебедой руины покинутых Егором усадеб. И откуда бралась в нем сила, и как не надоедало ему каждый раз возводить жилье себе и скоту, тетешкая саманные кирпичи или поднимая глинобитные стены.

Правда, последнее переселение Егора проходило полегче - изобрел из досок и камыша какие-то щиты, ставил их, скрепляя железными угольниками, и получался остов дома. Научился, видно, у киргизов и казахов, кочевавших со своими войлочными кибитками по раздолью от Камышкв-реки до Каспия. Уговаривали Егора насовсем перейти к ним, принять кхнюю веру, но он пока ещз колебался - нету бани у них. А баню Егор любил до смерти.

Жена его Настя, безответная, нэ раз тихо плакала над покидаемым ухетанным жильем, стыдобно каясь перед домовым, маня его на новое место, и боялась, как бы домовой с устали не осерчал. И еще тревожилась Настя, что сыновья будут вылитые в

отца. А известно, что если отец рыбак - дети в воду смотрят. Плохое дерево в сук идет.

Острецов всегда заставал Егора или за починкой сбруи, или в окружении детей.

Вся пятерка детей у Егора - налитые здоровяки, хотя молоко от ненадойной коровенки хлебали шилом. Спали на голых досках полатей, а кто и под столом, на лавке, где сморит сон. Как метлой, мели любую еду, что ставила мать на стол, только ложки стучали да кланялись постриженные лесенкой головы - сама Настя стригла овечьими ножницами вертлявые калганы.

И сейчас Егор утвердился на чеботарском табурете - с ременным, крест-накрест сиденьем, чинил ботинок.

Захар глядел, как он быстро шьет: нацелится шилом, воткнет, только хрустнет подошва, щетинки встреч друг другу провзденет и как бы с веселым удивлением разведет руки на сторону, - глядишь, а дратва затянута. Предпоследнему сынишке врезал ремнем:

- Марш на полати портить дух! С высоты до нас не дойдет.

Захар приготовился услышать детский рев, но парнишка взбрыкнул ногами и полез на полати под хохот своих братьев.

- Эта зима сытная, - говорил Егор. - Размолол ржи сорок пудов. Баба напечет ковриг, ребятишки наедятся и потрескивают всю ночь, что твои овсяные кони! Весело живу.

Настя нарезала ломтями душистой ковриги, поставила на стол соль, лук и чаю.

- Я тебя люблю, Захарий, ты пьяница и курач. А кто не пьет и не курачпт, тот ни хрена не значит. Садись с нами. Ермолай-то, тесть твой, не всегда догадается чаем напоить. Хоть кого другого, а председателя умаслит.

А вообще-то ужасно экономный, - незлобиво говорил Егор. - С одним яичком витушку пшеничную съедает.

Яичку понюхает, а хлеб откусит. Женить-то надо бы мою сноху Василису да Ермолая.

- Он умный?

- Нужда-то? - невнятно спросил Егор, слюнявя концы дратвы. - А и что? Даже большому гусю все равно не высидеть теленка. Как человек умный, так хитрый, а как хитрый, так жадный. Жадность прилипчивая, как корь али парша лошадиная. Поговори с Якуткой, он расскажет, как на погорелое ездили собирать. Конечно, Якутка запросто не раскроется, угостить надо. Много знает этот Якутка одноглазый. Ну, ты, Анастасья, занимайся своей постирушкой. Нечего тебе ушами водить, разлопушиваться.

- Нужны мне твои секреты! Тут никак не придумаешь, чего на ужин варить.

- Тю, баба, опирайся на картошку! Самая середняцкая еда.

Захар свернул цигарку из рубленого самосада, глотая сладковато-крепкий дым, спросил:

- Разве Ермолай горел когда?

- Уродил тебя дядя, на себя глядя. Нуждой-то его через чего дражнют? Давно, при старом прижиме, запрягает клячу в обгорелые сани с обгорелой дугой и оглоблями и клянчит по чужим селам - подайте погорельцам!

- Неправда!

- Плачется, бывалоча, мой братец: корова стельная в дыму задохнулась, сами выскочили из огня в одном исподнем. Не веришь, веди своего мерзлозубого Ермошку, скажу ему. Правда, он отопрется. Вечно плакался на нужду, за то и прозвали нуждою. Вылитый маманя покойная, царствие ей небесное.

Егор сшил поводья, постучал молотком по шву.

- Ермолаю нужен зять рукастый и головастый. Мой племяш Автоном как-то подъезжал к Люсе, да я его отговорил: куда тебе? Племяш мой истый буран бешеный, чуть скребком башку мне не снес, ладно я пригнулся. Ну, а тебе эта Люся в руку. Только без ножа не ложись при ней спать. Дашь ей повольку - наплачешься. Вот ты спросил, почему я не справный?

- Я не спрашивал.

- Но подумал, не все ли равно, что хрен, что редька, что жена, что баба-суседка. Я остерегаюсь, не угнетаю себя работой. Не врастаю глубоко корнями в хозяйство.

Только почую на себе эту паршу, давай ломать дом. Думаешь, я не мог бы разбогатеть? Укрыть посевную площадь в наших степях дело не трудное, если совесть спит.

На роду так написано. Давай-ка, Захарушка, песню заиграем.

- Ребятишек разбудим.

- Не пахать ехать, выспятся. Успеют побороться с землей. Ты толкуй свое, а я буду тихонько мурлыкать песню, вникать в твои задумки...

Пока Захар говорил о выгоде заиметь дисковые сеялки, сноповязалки, молотилки и трактора, Егор мурлыкал в бороду, смежив ресницы. Но как только Захар сказал, что дальше нет житья без артели, серые, глубоко сидящие глаза Егора враз наострились.

- Мой тесть, вон Настин батя, развел пять собак, а ему хотелось овец поболее. Думает, дай поотрубаю хвосты, может, овцы получатся. Не получилось, брат, только собак покалечил зря. Нечем им стало вилять, оказывать людям свое уважение и виновность. Ну какая с нашим народом артель? И какой дурачок возьмется кормить моих едоков? А кто будет похмелять

пьяненьких? У кого воровать братьям Таратошкиным? Шабаш на Лысой горе, а на артель, не повертка налево. В новую жизнь нельзя пушать всех подряд. Да что там! Язык глаголет, шея скрипит. Соберемся, побрешем, обдушим махорочным дымом школу, аж детишки неделю угорать будут, и располземся по своим закуткам, как бывалоча. С древних времен собирались одной семьей под общую крышу, а потом - кто за камень, кто за нож или дубинку - и айда делиться. Все к себе, только курица от себя гребет. Но ума большого за ней никто не замечал. Для петуха она госпожа гожа - не ревнивая.

- Крутишь, Егор Данилыч. Сам-то пойдешь?

- Я, что ли? Как все. Я за Советскую власть. А ежели ладу не будет, никакими уговорами меня не удержать. - - Егор провел кончиком языка по нижней треснувшей губе, чудаковато улыбаясь. - Ощербилась губа, осерчала на постные харчи. На собрание я приду, послушаю умных, сам по глупости ляпну чего-нибудь. За тебя подыму обе руки. Ты для всех подходишь.

- И нашим и вашим, что ли, я?

- Законы блюдешь, порядок наводишь. Одним словом, власть на местах.

"Да. я - власть, законы блюду. Оберегаю свою Хлзбовку от наскоков слева, от замашек справа. Знаю всех до потрохов. Меня не купишь звонкпм словцом, на испуг не возьмешь", - думал Захар.

- Ты хоть выпиваешь временами, а на жпзнь глядишь трезво, - сказал Егор. - Есть одна Хлебовка всамделишная, иной нету. И ты ее не покинешь.

- Это верно, звали меня в волость, да не пошел.

"Вот с этими людьми и будем новую жизнь в Хлебовке ладить. Не захотят люди - не будет новой жизни. Уговорю? Искра должна упасть в сухую солому, чтоб загорелась. А не на камень", - думал Захар.

Любил он смотреть, как заползают под сараи закаты на спинах коров, как плывут по логу посеченные градом тюльпаны, любил слушать песни на стогометке, когда дымок клонил голову над обкошенным кустом крушинника, а на скулах парней и девок дотлевали отсветы вечерней зари.

- Егор Данилыч, надоело мне услужать да уговаривать. Новое время наступает, и я осерчаю.

Каждый раз в школу на отчетно-выборные собрания приходили и лишенцы, не то от скуки, не то в смутной надежде на какие-то изменения в своей судьбе. Пока не открывали собрания, хлебовцы сидели в коридоре, курили, разговаривали.

- Иван-да-Марья, ты-то зачем заявился? - спросили

сквернословнпка Потягова. - Или голос прорезался?

- Дискант появился после пожара. Теперь я зажиточный бедняк, верная опора Захара Осиповича. Пою, как кулик на болоте: через три... кувырь-кувырь!

- Опять оштрафуют тебя за божественные слова.

- Припас два целковых, специально утаил от бабы подкожные деньги на свое культурное развлечение.

- Ермолай Данилыч, а ты не заблудился? Шел бы к батюшке Михал Михалычу, неизменному лишенцу. Пропели бы плач на реках вавилонских.

Ермолай сел на полено, распахнул шубу, разглаживая льняную рубаху на животе.

- У меня какой голос отняли? Зажиточный, а там еще остался середняцкий, - указал Ермолай пальцем на свой рот с прореженными зубами. - Ить как Владимир Ильич баял о мужике? Две в нем природы-души: одна мироедская, другая трудящаяся. Мироедскую я выкинул вон вместе с лавкой, пусть околевает али перевоспитывается в кооперативе, зато другая душа-природа взыграла во мне вполне классово. Нынче ее голосом и подпеваю на путах к социализму. Вста-й-з-аай, проклятьем заклейменный!

Бызшин лейб-гвардеец Преображенского полка, трубач в кавалерийской дивизии крас кома Ивана Каширина, пыне разбогатевший Тютюез толкнул локтем в бок Степана Лежачего:

- Зашиби пустобрехов своим веским словом. - Встал, раскрылатил руки (крестатая тень затемнилась через весь класс). - Эй, вы, не пейте вина зелена, ни дарового, на купленного. Степан молвить хочет. Говори!

- А ты скажи по-серьезному, доходяга.

- Надо закрыть церкву, отдать ее под народный дом, пусть спектакли ставят и пляшут.

Лежачий будто воды плеснул на горячую каменку - зашумели, завозились.

- И почему ты, Степан, всегда бунтуешь против бога?

Мало было свергнуть царя, буржуев и помещиков с купечеством, так ты на господа бога наскакиваешь, как задиристый чубаровский куруя на баб. Баешь, на самолете тебя возносили на две версты, и ты разглядел, что нет там бога.

Степан Лежачий летось по доброхимовскому билету выиграл катание получасовое на самолете в Сорочинске, и с тех пор его будто подменили: о чем бы ни шла речь - о борьбе ли с самогонкой, о сборе ли кожсырья, о травлении ли сусликов, о ликбезе ли, - он непременно, выставив масленый чуб, атаковывал бога.

- Нет ничего там за облаками, понял?! Одна линялая

голубынь!

- Ты вот что, Степа, скажи, - вмешался в разговор вечный по божественной части супротивник Лежачего Пимен Горячкин, накручивая на палец жидкий скипец бороденки, - корова что жрет? Сено. А овца? Тоже сено. А почему они жуют один корм, а до ветру ходят поразному - одна лепехой, другая враздрип? Почему? Научно объясни!

- Не знаю, что ж врать-то буду.

- Значит, не знаешь? - взвил Пимен Горячкин вздрагивающий торжествующий голос. - Эх, милай, раз мы в скотиньем дерьме не разбираемся, где же нам разобраться:

в б-эге?!

- Дурак, что ли, я разбираться в пустой дырке? Бога-то нет!

- Если нет его, то почему Ивая-да-Марья Потягов поминает боженьку в каждой присказке?

Избранный председателем собрания Максим Отчев на сразу дал слово Острецову, а сначала велел лишенцам разойтись по домам или, на худой конец, отроиться в сторонку и сидеть там смирно, посапывая себе в дырочки.

Тютюев, Ермолай, Горячкин и Потягов угнездились у порога, а Таратошкины Фома и Ерема - на полпути между ними и равноправными сели по-татарски, калачиком поджав под себя ноги. Через их руки и кочевали кисеты с махоркой ко всем курящим хлебовцам.

Лишенцы тихонько прикидывали, кого изберут сельчане председателем сельсовета.

- Лежачего надо... Пусть он ругает бога - господь не таких хулителей видал за свою вечность, - сказал Ермолай Ереме Таратошкину, тот передал Фоме, а Фома - дальше. Но тут нагрянули совхозе кие вместе со своим Колосковым и возмутились присутствием на собрании лишенцев. А когда лишенцы удалились и галдеж унялся, Острецов доложил сельчанам о своей многотрудовой работе .на благо четырехсот семей Хлебовки. Терпеливо снес он критику и просто вздор.

Как всегда, избрали его единогласно, и он снова привычно взял в свои руки власть.

2

Активисты до рассвета, дымя махоркой, ссорили, кого раскулачить и выселить из Хлебовки.

- Их что ж. на годик, на два отошлем, так, для острастки? - спросил Лежачий.

- Навсегда, - ответил Колосков как бы мимоходом.

- Вот оно что?! У нас только или по всей России война-то эта?

- Ликвидируем как класс по всей стране. Мы не мстим, не

наказываем, мы навсегда избавляемся от самых многочисленных врагов нового строя.

- Их из пулемета или вешать?

- Ну и дурак ты, Степан Авдеич! - сокрушенно покачал головой Острецов. - Не тужи о них, работа им найдется в Казахстане, в Сибири.

- Ты меня не дури! Не о себе я волнуюсь, а твою жену Люсю жалею - ее пть тоже, согласно резолюции в деревне, должны угнать. Пли взять, к примеру, супругу Онисвма Петровича... Оплотом самодержавию служила Пашка-монашка. Уж если взялись крушить, так все зубы повыбьем, - не унимался Лежачий.

- На войне меня от германской пули бог уберег, а когда промеж себя свалялись, вон русская-то пуля ухо разорвала. Меченый, как баран. - Егор Чубаров раздвинул волосы, показал рассеченное надвое ухо. - А будь я Еопроворнее, погорячее, на оклик тот обернулся бы и в аккурат лоб подставил. Может, знаю, кто метил промеж глаз, ла виду не даю. Все мы, люди, - ветки на одной березке.

Что же получится, если начнем обрубать друг друга?

- А если я вот возьму да и женюсь ныне ночью на Маньке Тютюевой, а Тимку уговорю взять Грипку Горячкину. Разлучите нас? Останутся в селе корни, и давай гнать побеги смешанной породы. - Лежачий озадачил Егора.

- Да женись хоть сразу на трех, только съезди в Гумерово к мулле, чтоб обрезанием в мусульманскую веру тебя обратил, - нашелся Егор. - Детей можешь пущать на свет, сколько душе угодно, всем дела хватит. Слышь, Антоном, ты там записываешь все подряд или через борозду?

Антоном сам не знал, что писал в тетради, - чертил, чтобы унять растерянность. Ухмыльнувшись, бросил глуховато:

- Пяти возов бумаги не хватит записать вашу брехню.

Все нити в душе Автонома натянулись, когда тесть его Максим Отчев поднялся за столом:

- Ударю я, кажется, беспромашно: лишить всех прав и состояния и выселить Пимена Горячкина, Тютюева, Ермолая Чубарова, Потягова Иван-да-Марью.

В немой тишине тяжело поднимались руки, а когда опустились, послышался глубокий, с шумком, вздох, будто люди окунулись в холодную воду. Изумленный тем, кг к просто обрезались извечные связи и вчерашние богатые превращались в ссыльных и начиналась новая жизнь Хлебовки, Автоном позже всех хватился, что руку пора опустить.

Начали прикидывать, не обошел ли кого справедливо карающий перст. Тут-то Тимка Цевнев и разошелся - один кулак,

другой - подкулачник...

Автоном ждал - вот-вот назовет его имя Тимофей.

И удивительно было, как запросто решает судьбы важных и даже временами страшноватых сельчан этот совсем егцз молоденький паренек с узкими плечами.

Тимка требовал очистить село от попа, братьев Таратошкиных, Фомы и Еремы, шинкарки Мавры - в завтрашней жизни, справедливой и согласной, не предусмотрены должности воров и дурманщиков.

Автоном увидал его затылок в завитках давно не стриженных волос что-то наивное, детское было в этой запущенности, но от этого тяжелее казались слова Тимки...

Тимку укротили - до воров еще доберемся по другой статье, они батраков не держат, воруют сами, без подсобных рук. Шинкарка же... трудовому человеку отвыкать ог пузырька тяжко и мучительно.

- Неужели и при колхозной жизни будут выпивать? - спросила вдова Олешкова.

- Еще как! Артель большая, по полтиннику с рыла, и то ведра два накапает.

Беря щепотку махорки из кисета Отчева, Острецов упрекнул его:

- Зятя своего Автонома пожалел? Это жэ палач, а нэ человек. А что он культурное хозяйство вел, гак от этого больше вреда, чем пользы. Вместе со всеми он должен загреметь в степи Казахстана!

Автоном вскинул голову, и осторожно следивший за ним Семен Алтухов, кажется, впервые заметил, что черная голова эта вызывающе горделиво и круто подымалась из широких плеч.

- За что меня? Я не кулак, не поп, в белых не служил, - прохрипел, как в удавке, Автоном.

- Успокойся, Захар же к примеру сказал, - Семен Алтухов потянул за руку Автонома. - Помалкивай.

Но тут поднялся Тимка Цевнев. Презрительно улыбаясь стянутыми шрамом губами, глядя в лицо Автонома с жесточайшей беспощадностью подростка, сказал:

- Марьку обезголосил. Не нравится - расходись, а зачем же тиранить? Годика на два не мешало бы выселить...

- Эх ты, зубило, а еще товарищ...

- Не серчай, для Тимки сейчас каждая баба святым ангелом кажется. Они жалуются на жизнь, а возьмись нас угонять, они подол в зубы - и айда за нами.

- За жену можно судить и без раскулачивания, если подаст заявление, сказал Семен Алтухов. - Я говорил с ней. Никого она

не впннт...

- Вот если бы правдой оказался слушок насчет его покушения на товарища Острецова... - мечтательно сказал Лежачий.

- Ну, а если бы я побил Острецова? - с глухим вызовом огрызнулся Автоном. - Совсем не за то, что в Совете работает. За одну сироту. Ее родной дедушка по своему слабосилию спустил обман, не скосорылил... Посторонние поучили пенкоснимателя. Мужчины настоящие не перевелись. Меня вы не подведете под кулака - чужим трудом не пользовался. В бога не верю.

- Вся Хлебовка пестовала твоего племенного бугая.

Как же не пользовался чужим трудом? Мало перетаскали масла твоей матушке за производителя?

Автоном вспомнил, как ухаживал за новорожденным, немощно распластанным бычком, дул в его уже холодевшие ноздри, а когда тот мыкнул, целовал глаза. Как-то по недогляду вертихвостки Фиены объелся Пятнаш сочным клевером, раздуло живот, и Автоном поставил клизму, а когда понесло из бычка, Автоном смеялся радостно, гладил прорезавшиеся рожки. Долго держал пестрого Пятнаша в строгой нравственности и возликовал, когда обгулял бык первую корову. Будто сродниками, гордился Антоном запестревшими в сельском стаде телятами, вылитыми л Пятнаша, с подгрудниками чуть не до земли, с царской строгой важностью во взгляде... А теперь все припоминают Автоному: тому отказал, у того корова сломалась...

- Бугая не тронем, тебя перевоспитываться вышлем.

Хватит, отгляделся ты свысока на нашего брата.

- Ну, если меня отлучите, многих придется изгонять.

Я не смирюсь, дойду до самого товарища Сталина.

- Не равняй себя с другими! Брат Влас твой в белых служил! - как палку под ноги, подкинул ему Острецов.

Заспотыкался Антоном, многих повергая в странное недоумение, и особенно своего друга Семена Алтухова:

- Ну, служил, ну и что? В белых? А... погиб в красных, а? Ты же сам читал известие о его смерти, Захар Осипович. Или это филькина грамота? Я за брата не ответчик! - Автоном не обращал внимания на то, что Семен Алтухов дергал его за руку: "Уймись, слушай других!" - А если я думой извелся о судьбе крестьянина? Горько мне, что не умеем жить ни по-старому, ни по-новому. Ломать можем и любим, а строить нет навыка. С наших хозяйств единоличных возьмет государство хлеба, как сала со свиного хвоста. Земля уважит крупное хозяйство, машины Из ста изб дворца, а из ста лодок корабля не построишь.

Я с большой верой и надеждой прошусь пустить меня Е неизведанную жизнь. Я люблю землю, кое-что понимаю в ней...

Любую работу буду делать, хоть сторожем... Ну, а если придется выселять меня, я вам дуриком не дамся!

Умирать буду на этой земле... - Автоном надвинул папаху на брови, вышел, тяжело косолапя.

Чем ближе подходил к своему дому, тем все более жалким чувствовал себя потому, что испугался, утаил от людей правду о брате, правду о себе, а без этого к чему задушевные слова о земле? Порывался в новую жизнь с фальшивой отвагой, на самом деле эта новая жизнь артелью в равной мере манила и пугала. И в сторожа просился по трусости и гордыне, мол, смотрите, я умнее всех, а на побегушках, вот до чего вы довели меня... Вошел в дом, притулился к косяку, как непрошеный странник. Жена и мать переглянулись. Мать велела ему сесть за стол.

- Пока холостой был, я тебе словом не перечила, теперь хватит по собраниям бегать. Можешь уходить в свой колхоз бесповоротно, а Марью и дите не отдам. Мои они! - сказала мать.

- Ты Марьку не тронь, мамаша.

- Я и Марья бросим вас, мужиков-смутьянов, проживем без вашего ума. Повоевали вы, наломали костей, не поумнели. Поиграйте еще з свалку - мала куча, верху нет, стащите вместе добро, скотину сгоните подыхать у многих-то нянек. Мы не дуры какие сбиваться в один табун, свары разводить. Без строгости заживо сгниете, распутники.

- Ну, а ты-то как? Со мной али со стариками? - спросил Автоном жену.

- С батюшкой и мамушкой останусь. О сыне все мои думы, раз уж о своей жизни думать бесполезно, "Сознаться сразу во всем, а? - думал Автоном, возвращаясь на собрание. - Не смогу, рано... под горячую руку свернут мне голову... Я-то черт с ней, а тут семья".

В дверях школы Автоном остановился - казалось, дальше не пускали устремленные на него взгляды. Саял папаху, склонил голову.

- Выселяйте меня одного. Смиряюсь. Жену и сына не трогайте, пожалуйста, я разведусь с ней. Старикам дайте помереть на родине. Скотину можете забрать всю, оставьте коровенку, - сказал он.

"Да, этот человек умеет делать свою жизнь трудной, - думал Колосков об Автономе. - Упускать его из виду никак нельзя".

Во время перерыва Колосков, Отчев и Захар разговаривали в учительской комнате.

Колосков спросил Максима Отчева, что думает он. Отчев трудно поднял отяжеленную стыдом и горем голову, раздвинул усы, глянул быстрыми глазами:

- Уважать мне Автонома Чубарова не за что. Поизмывался над

моей дочерью вдосталь. Но ведь не в этом же сейчас дело. Разве мыслимо сводить личные счеты, когда революция идет? Вот Ермолап Данилыч ничего мне плохого не сделал. Человек не хуже нас с вами, не курит, вином не балуется, с богом не дружит, с людьми мягок и вежлив. Но он кулак, это видно зажмуркой, хотя и поделил хозяйство. У Автонома три коня, две коровы; а пайщиков тоже три: отец, сноха... Хлебовка наша зажиточная. О двух-трех лошадях у нас больше половины дворов. У меня тоже мерин, матка да стригун. Разор семьи Чубаровых, стариков, как отзовется на хлебовцах? - спросил Отчев с тихим нажимом. - Не шагнуть бы туда, где добро в зло превращается. Чуть неверный взмах, и полетит голова свойская... - Отчев помолчал, потом закончил привычными словами: - Давайте думать.

- Умно сказал ты. Давайте думать! - отозвался Колосков.

- Дядя Максюра читал акафисты! - усмехнулся Захар. - Я уж говорил тебе: Марьку отобьем от ихнего табуна. А если она своей грудью их заслонять решила, пускай на себя пеняет. Так я мыслю и заявляю от имени революции.

И Отчев от имени ее же, революции, с болью сердечной:

- По совести надо... избавляться от тех, у кого душа пестра изнутри, как рысь - снаружи.

Мрачновато посмотрел Захар пз-под крутого высокого лба. Он и прежде замечал за собой: вдруг потащпт в крайность до полного самоотрицания, и тогда с болью и вызовом кому-то бросал в грязь свою жизнь...

- Мешаешь ты мне, Ояисим, довести до предела одну идею. Я тебе всю ее не открою - боюсь напугать.

- Хорошо, упредил, говори, не поседею от страха, - сказал Колосков.

- Половинкины мы дети, все делаем наполовину. Что же требовать в таком разе с людей? Ни к черту они и на к богу, а так - посередошный грех один. А начать бы эту идею вживлять в человека с нас с тобой. Моя жрна - дочь кулака, твоя милаха - монашка бывшая, за версту ладаном воняет. Давай без поблажки, вышлем их, а?

Несколько недель назад Паша перевелась в скотницы.

Сваливала с лопаса сено нынче, когда подъехал Колосков на санках.

- Подкинь коню позеленее сенца, я надолго приехал.

Воткнув вилы в прикладок, долго глядела на реку, гдо в проруби поземЕга полоскала длинные снега, как холсты.

Спускалась Паша по лестнице, не глядя под ноги, и лицо ее занималось жаром. На последней ступеньке он подхватил ее на руки, откинув шаль, целовал пахнущие морозом щеки...

На свежем сене рядом с женщиной виделась завтрашняя жизнь в белой роздыми цветущих садов, в волнах пшеницы - согласная жизнь, братская. Не мрут от хвори дети, не индевеет сердце в тревоге за свою десятину - как бы не посек градобой. От слов Захара ломило в душз Колоскова острой болью.

- А уж когда я себя разнагишаю до нитки, упрекнуть меня в корысти никто не может. Нужно непременно вперэд забежать, чтобы потом откатиться назад. Всегда так делали народы: рванутся вперед, потом шаг назад. Мужика трудно сорвать с насиженного места, а уж если спихнули, гни до предела. Подымет пятерик - четверика бояться не будет. Нужно подпортить память о частной собственности, усомниться в привычке к ней: обобществить все до курицы, до теленка. Поживут без частной живности, надломится в душе привязанность к ней, тогда вернуть.

После этого не будет боязно идти вперед: заскакивали, видели, нюхали, не помирали. Даже жить беззаботнее, безответственнее: не мое. Окромя того, великая мысль возникает у них: от кого получили своих несчастных курей и коров? Кому обязаны? В кои неограниченная сила и мудрость? Надо, чтоб человек чувствовал: не жилец он без руководителя... - закончил Захлр.

Колосков не любил отлетать на сторону мыслями: русский человек уж слишком намечтался, самоусложнился, по его мнению. Безбрежности этой голубой Колосков противопоставлял свою деловитость с суровннкой: поменьше краснобапть, порасторопнее работать, побогаче жить - ведь многие фантастические заскоки и надрывы от нищеты. Обуются, наедятся - перестанут дрожать нервно, аж до пота, кидаться в крайности.

Колосков повернулся лицом к Захару, прицелился глазами в его глаза:

- А знаешь, Захарий, не получится у тебя опыт показать себя владыкой. И Люсю свою не вышлешь, хотя тебе страсть как охота избавиться от нее. Но ведь другая, перед кем виноватишься, кого любишь, замужем.

- Автоному тут не бывать, товарищ Колосков.

И после перерыва занимались Автономом.

- Эх, дурак я, дурак, хотел ведь весной уйти в совхоз рабочим, да баб послушался, - сокрушался он.

- Закрутился, самолюбивый сатана!

- Врешь насчет совхоза, Автономна! С перепуга врешь. И при директоре не стыдно?

Колосков подтвердил: просился к нему Антоном весной.

У Колоскова не было добрых чувств к Автоному, более того,

сильный парень этот постоянно тревожил его своим мучительным душевным разладом, неподатливостью. Нужен ли этот человек Марьке? В Хлебовке, конечно, жизнь шла и будет идти и без него. "Но ведь и без тебя, Колосков, наверное, жизнь тоже не остановится, а? - думал Колосков. - Надо вывих исправлять, правду восстанавливать, вызволять парня из беды. Иначе он сбесится".

- Я и сейчас могу принять Автонома Чубарова. Мне полеводы нужны. Хлебовка обойдется, кажется, без него.

- А ты уж всех кулаков спасай! - зло присоветовал Лежачий.

Колосков вскинул брови: хорошо он понимал злое настроение этого крестьянина, его куцые мысли о будущем.

Дай ему волю, и он завтра уравняет всех до нуля, а вот будут ли заниматься землей всерьез и упорно, чтоб кормить страну? Думает ли он, что артельная жизнь властно потребует от каждого еще большего и напряженного труда, жесточайшей дисциплины? Шуба на нем рваная, а ведь мог бы починить и валенки подшить, чтоб не торчала солома из запятников. Это он вчера требовал обобществить всю живность вплоть до куренка. Как ему не терпится сразу перескочить в мир равенства и изобилия. Ни хозяйственной сметки, ни навыка обращаться с машинами. Ни пороть, ни шить не научился в своей хронической бедности. Зато картишки, курение самосада, пустые разговоры длинными зимними вечерами. Семка Алтухов другой - хоть и бедняк, но ухетан дом его, одежонка залатана аккуратно, и сам выбрит и пострижен. Два года назад заработал в совхозе телку, а теперь у него корова и полуторник. Из больших рук его вряд ли вывернется какое дело. Таков же и Егор Чубаров, только кочевать любит да посозерцать жизнь. Богатство в его глазах не имеет никакого значения. И в артели он не отстанет и вперед не побежит. С философией в голове мужик. А Тимкина мать...

пошла бы в артель от своих икон и святых книг?

Колосков вынул из кармана наган.

- Вот чем я голубил врагов, товарищ, как тебя?

- Зови Лежачим или Доходягой, чего там! Я уж сам забыл свою фамилию, кажется, Полежаев.

- Раскулачивание - только начало, товарищ Полежаев. Покончим с ним за два счета. А вот дальше предстоит самое трудное - наживать достаток, давать державе хлеба и мяса все больше и больше. Много рабочих рук заберет промышленность. Село станет меньше, а вырабатывать будет больше. Вот и прикидывайте, на чьи плечи и руки ляжет земля. Так, товарищ Отчев?

- Так точно. Ягодки впереди, Онисим Петрович. Не шутки

шутить, не игрушки играть поднимается народ.

- Вот и давайте не сходить с главной линии. Нет оснований разламывать жизнь Автонома Чубарова. В колхозе нужны знающие люди, - закончил Колосков определенно, сердито.

- Да что тут толковать, больше Автонома вряд ли кто работает, заговорил от порога Семен Алтухов. - Автоном сызмальства так размахался косой, что ребро за ребро заходило. А дядя Кузьма и Василиса Федотовна трудятся до кровавой воды в глазах... а все нету вылета вперед. Заколодила жизнь... Я вот считаюсь бедняком...

- Зажиточным бедняком считаешь себя, Семен, - перебил его Егор Чубаров.

- Это для веселья, дядя Егор. Нам хозяйство умеючи надо вести, сеять больше. Так я понимаю новую жизнь.

Не к бедноте, а к достатку зовет нас партия. Если же Азтонома под зад, то половину Хлебовки выдворять придется, а окна и двери досками забивать. И получится картказ.

разорения земли русской. Не похвалят нас за это власти.

- Выгоним и половину, не испугаемся! - загорячился Степан Лежачий. Жизнь почему тяжелая и дикая?

Одни выскакивают, других топят. Надо по совести, все в общий котел. Всех уравнять до единого. Никто чтоб не высовывался, не задирал башку, как пустой колос. А ктэ сунется - стук его по макушке. Хватит, повысовывались индивидуально, артельно надо шагать.

- Хорошо байт. Только ведь на руках пальцы разныэ.

Вот ты ученый, почему один палец большой, а другой указательный?

- Я сам мизинец.

- Илья-пророк, на печке промок, а под лавкой высох,

- Хватит по старинке. Долой старый быт!

- Да ты и по-старому-то не запотел в работе.

- Все перетряхнем! На то она революция. Пожил я они в свое удовольствие, хватит. Дай нам пожить. Из их домов мясными щами пахнет, а у меня? Мышам жрать нечего.

- Поменьше бы спал. На ходу дремлешь, Степа. Лень раньше тебя родилась, - сказал Алтухов.

- Врешь, Сема. Не был у меня на крестинах.

- Ты скажи, кем себя считаешь? Какие понятия о себе имеешь? Ты хоть один день цельный в году работал?

Погуливаешь, выпиваешь с богатыми. Их же новостям ч снабжаешь... Люмпен ты - вот кто! Хоть бы поскоре?

услать тебя на какие-нибудь курсы... башка разваливается от твоего словесного трезвона... - Семен Алтухов гак разошелся, что

насилу остановили его.

И уж совсем зашли в тупик при выборе председатели:

артели. В соседнее село Голубовку прислали рабочего-тысячника. И нам бы кого стороннего - ни кума, ни свата, ни брата родного. Для такого все ровня, пока не снюхается с кем-нибудь.

- Может, Фиену? Вдоза бойкая, - как бы отдыхая, перешли на шутку.

- Не жизнь будет, а сплошная гулянка, широкая:

масленица круглый год.

- Обоих Таратошкияых уважить: свою скотину изззедем, у других наворуем.

- Егор бы Чубаров добротой подошел, да ведь придется избы заменить кибитками, и айда кочевать по степям и по долинам.

- Походный колхоз на колесах. Цыган бы пиманить с бубенцами.

- Маните вы мужика в райскую жизнь, а вот сам директор берись за гуж. Что тебе со стороны не хвалить?

Катаешься на рысаках, сани ковровые, лохматой полостью ноги укрыты, тулуп непродуваемый на плечах, - сказал Лежачий. - Тимку Цевнева, видишь, нельзя - молод и учиться охота. А нашим детям вредно, что ли, ученье?

- Давайте, братцы, Степана Лежачего, - порядочек будет при нем, как в Москве - спать до обеда.

Конец шуткам положил Егор Чубаров, назвал Отчева.

Но Отчев наотрез отказался:

- Кто победнее нужен, я же середняк и даже во сне видел себя кулаком.

Незаметно, мягко управляя шутками и серьезными разговорами, подвел Колосков опять к тому же Автоному Чубарову. Но ставить председателем настоял Отчева, а Автоному поручить полеводство. И, закруглив собрание, сказал, что совхоз поможет трактором. Но сами себя тащите за уши из бедности.

3

- Ну что ж, Люся, извиняюсь, пойду отца твоего выселять, - сказал Захар, усмешкой кося рот. - Вот она и есть - революция, наш последний и решительный бой.

Лицо Люси опалило краской, только ямочки на щеках белели увядающе. Пошла и она вместе с мужем.

На Каганцевом углу поджидал Острецовых Тимка Цевнев.

- Проститься с родными надо бы раньше, - сказал он тихо. - Зачем при людях травить раны?

- Она не прощанку задумала, хочет показаться сильнее жалости, - боевито сказал Острецов, с вызовом взглянув на жену.

- Ничего я не хочу, просто исполняю свой долг, да и люди не будут попрекать, мол, чужие гнезды разоряла, свое стороной обошла. Ну, проворнее, что ли, шагайте.

Люся вырвалась вперед, вывертывая каблуками бурок отсыревший снег. Подол короткой шубейки ластился к ее упругим голеням, покачивались бедра в спором шаге. Голова в пуховой шали откинута навстречу взмывающему от сугробов ветру.

- Не надо бы ей, - сказал Тимка Цевнез, придержав за рукав Острецова. По больному месту два раза не бьют.

- Ничего ты не понимаешь, Тимпга, ей вот как необходимо отрезать себя от родителей... Тут уж останавливать человека нельзя, в ударе он...

От шатрового дома Тютюева грузным шагом вышел наперерез Семен Алтухов.

- Горячкиных я отправил в сельсовет, а с Тютюевым не получается у Степана Лежачего: оба они, Тютюй и Степка, вдрызг пьяные... запеснячивают.

Навстречу родимая мать... - доносились голоса из дома Тютюева.

- Я им попью! - вскипел Острецов. - Тимка, закругляй с Ермолаем Данилычем... Я этому активисту липовому! Пошли, Семен!

А брат твой давно уж в Сибири,

Давно кандалами гремит...

Из трубы дома Ермолая валил плотный дым, хотя по времени все жители уже протопили печки. Не пищей, как обычно, пахнул тот дым, а краской горелой, выдержанным деревом. Крылечко подметала сама Прасковья Илларионовна. Подняла налившееся кровью лицо, огнем полыхнули узко сведенные заплаканные глаза.

- Топчите, - сказала с яростной покорностью. - А-а, и ты тута, доченька...

Тимка задержался, чтобы не видеть, как будет прощаться Люся с родителями, но Люся в спину втолкнула его на крыльцо.

Ермолай сидел у жерла печки, рубил топором венские стулья, кидал в шумевшее пламя.

- Мир вам, святые разбойнички! - склонил он осеянную рыжим венчиком голову. - Извините меня, старика, сесть вам не на что, все взял очистительный огонь.

Прикинул я с точки зрения революции, и шепнули мне сам господь бог, товарищ Карл Маркс и его пророк Ленин, что негоже вам, работникам справедливости, сидеть на стульях, какие провоняли смердящие псы мира уходящего. Да и неколи будет

вам нежиться, в хлопотах и битвах проведете БЫ жизнь свою... - Ермолай вырвал из рук жены веник, подмел загнетку, сунул веник в огонь. - Проживете без веника, это мы, охламоны, мусорили, вы же заживете чисто. Ни пить, ни есть, ни до ветру ходить.

- Общество решило лишить вас, Ермолай Данилович, и вес, Прасковья Илларионовна, Чубаровых, всех прав и достояния и выселить за пределы края, - сказал Тимка. - Возьмите с собой по две пары белья, полпуда муки.

- Так надо, мама и батя, - сказала Люся. - Я вас предупреждала, вы не послушались...

- Да мы все отдадим, только дайте помереть на земле родной, - попросила Прасковья. - И дом оставим, в бане проживем...

- Рок голову ищет, - сказал Ермолай и стал собираться в путь.

Вышли во двор. Якутка уже запряг пару коней в проездные санки, стоял, мигая глазом, засунув рукавицы ва красный кушак, подвернув полу шубы, держа под мышкой кнут.

- И собаку нельзя взять с собой? Да как же мы будем тянуть собачью жизнь без пса? - сказал Ермолай. Он вразвалку подошел к черному кобелю на цепи, прижался щекой к остроухой голове.

Тимка не успел подлететь к нему - коротким, наотмашь, ударом топора Ермолай развалил голову своему верному псу.

Люся вскрикнула, закрыла лицо руками.

- Перепрягай в дровни! - приказал Тимка Якутке. - Откатались на проездных. Вести себя не умеете, Ермслай Данилыч. Нет достоинства, лютость одна осталась.

Вошли непрошеные братья Таратошкины, бледно посмеиваясь.

- Чай, не к благочинному поехал в романовском тулупе, Ермолай Данилыч. Или дочка по-свойски утеплила? - сказал Фома, а Ерема тут же слетал в дом, вынес зипун с заплатой на локтях.

- Переамуничивайся, Данилыч, - посоветовали братья Таратошкины, вытряхая Ермолая из тулупа. А когда натянули на его опустившиеся вдруг плечи подбитый выношенный зипун, он трудно задвигал ногами, оперся о наклеству розвальней, упал на охапку сена, голова его откинулась назад и чуть набок. Меловые губы мелко дрожали.

Люся сбегала в дом за сердечными каплями. Отец нехотя разжал зубы, несколько каиель застыло на бороде его.

- Ишь нос-то побелел, как у хряка, когда под левую лопатку нож пустишь, - угрюмо засмеялся Фома, а Ерема кивнул, зацепился одним глазом за Люсино лицо, другим за лицо Химки:

- Невеселое расставаньице...

Тимка пальцем поманил Фому Харатошкина, заглядывая з его

глаза под навесом треуха-малахая:

- В худом зипуне не дело везти. Верните Ермолаю Данилычу тулуп.

Таратошкин Фома переглянулся с братом, и тот принес из сезей уже отложенный для себя тулуп, заботливо наккяул на Ермолая поверх зипуна.

- Отец твой, будь жив, не похвалил бы тебя, Химоша.

Химка велел братьям идти по своим делам, и они покинули двор.

Якутка посадил в сани Прасковью Илларионовну, взял вожжи, но Тимофей отстранил его:

- Без тебя найдутся провожатые. Автоном отвезет.

Позови его.

Химка замкнул двери дома, опечатал и, пройдя медленным взглядом по надворным постройкам, остановился.

Приглушенный вскрик во дворе услышал он, крадущимся шагом прошел под сарай. На .сбруе колодца сидела Люся, закрыв лицо руками, шаль сбилась на плечи.

- Людмила Ермолаевна, - позвал он, - пойдемте провожу.

В темном углу сарая на соломенной подстилке тяжко мычала в родовых муках короза-перволеток, лезли из орбит налившиеся кровью глаза.

- Надо помочь, - сказал Химка, подходя к корове.

Присел перед ней на корточки. Хеленок выходил передними желтыми копытцами, белолобой головой, в материнской пленке. Засучив рукава, Химка легонько потянул телка, и, когда тот вывалился на солому, горячий и скользкий, корова тут же встала. Ноги ее дрожали, дрожь шла по вспотевшим впалым бокам. Корова широким языком стала облизывать теленка с ноздрей. Химка взял место, вынес во двор и зарыл в снегу.

Люся все так же сидела на венце колодца, вытирая ягцо. - резко пахнул платок духами.

- Не надо было вам приходить, - сказал Химка. - Покройте голову, простынете.

Она не отстранилась, когда он застегивал пуговицы ее шубы. Проходя мимо убитого кобеля, он заслонил его плечом от глаз Люси. Отомкнул сени, унес в дом телка.

Автоном хмуро глядел на дорогу - поземка заметала двойчатый след саней. Позади Химка кучерил - вез Горячкиных, а за нпм ехали Хютюевы в сопровождении Семена Алтухова. Замыкали обоз розвальни Потягова Ивана-да-Марьи. Он и сейчас не переставал матюкаться то на своих плачущих жену и дочь, то на лошадей и возницу Егора Чубарова.

На Прощальной горе, за которой навсегда скрывалась

Хлебовка, кони сами по давней привычке остановились.

Каждый прощался по-своему: Ермолай плюнул через плечо; Потягов помочился в сторону видневшейся колокольни, покрыл Хлебовку и жителей ее многоспиральным матом; зато отец Хютюева, высокий седой старик, до того допричитался, становясь коленями на снег и кланяясь на все четыре стороны, что не только сноха и девки взвыли, но и сын, бывший лейб-гвардеец, заплакал в голос.

Пока Семен Алтухов и Автоном уговаривали старика сесть в сани, вели его под руки, а он храпел от лютости, его сын, бывший лейб-гвардеец, выхватил из голенища валенка наган и начал стрелять куда попало. Благодушие, лукавая веселинка враз сошли с лица Егора.

- Свяжем его, - сказал он Автоному, хоронясь за санями. - Эй, Хютюй, перестань дурпть, а то хуже будет...

Хютюев расстрелял патроны, наотмашку кинул наган за снежный увал...

- Это ты мне ухо прострелил в девятнадцатом годе, - сказал Егор.

- Все равно передушим вас, советчики...

На гамалеевском полустанке стоял длинный поезд товарняка. Конный конвой с винтовками проезжал вдоль полотна железной дороги. Комендант эшелона, скуластый татарин в барсучьей шапке, крикнул что-то по-татарски, и несколько КОНЕНКОВ спешились, подошли к Автоному.

Автоном узнал комсомольца из Гумерова, спросил, в какой вагон грузить хлебовскпх.

- Везде как семечек в арбузе. Давай, гипташляр, телкай перед. Там ночью Адашев забирал троих. Обрез нашел.

Автокод, Тимка и милиционер повели хлебовских к переднему вагону.

- Погоди лезть-то! Женщина родила, - бойко закричала, высовываясь из вагона, девка в поярковой шали и в писаных валенках.

- Нашла время рожать... - вырвалось у Автонома.

- Надо бы заранее упредить, что губить будете, - огрызнулась девка, лузгая семечки, проворно работая белыми, как на подбор, отлитыми зубами.

- Ты-то вот догадливая, не зарядилась, - сказал Автоном, глядя повыше голенищ на ее крепкие ноги.

- Где же ты, синеглазый, пропадал? Пришел бы хоть мясоедом, спас бы... Хотя по мурлу видать, ты не из бедных... Комиссар, возьмешь?

- Ищи там прихихешку в своей стае.

- Не тужи, найду! Я не чета вашим безбрюхим с постных щей, у меня в животе не забурчит.

- Ну и сучка, видать, - отрезал Автоном.

- Погоди, напложу сыновей, они вам посшибают башки-то! - Девка блеснула серыми глазами, повернулась широким задом к свету полдня, глядя на Автонома через плечо.

По подвесной железной лестничке полезли в вагон хлебовские навстречу недовольному рычанию обжившихся за сутки выселенцев.

- Что ты, бугай, по живым людям шагаешь?

- У него, видать, купейный вагон.

Автоном вместе с Исметом залез в вагон, огляделся в потемках. На верхних нарах лежали в обнимку парень с курносой румяной бабой, в углу верещал ребенок, старуха кутала его в рядно, другая, отстранив Автонома, выкинула на снег что-то красное.

- Роженицу надо оставить, - сказал Исмет, - так велел Адашев.

Растолкав по углам своих хлебовцев, Автоном подошел проститься с Ермолаем.

Праскозья отвернулась, Ермолай прошептал на ухо:

- Что там поговаривают товарищи? Посекут нас пулеметами?

- Будет болтать-то! Поселят вас на новые земли, жить будете.

Ермолай почесал бороду, глядя левым глазом на круга выгнутые брови племянника:

- Скажи Люсе, прощаю я ей все - своя рубаха ближе к телу. А ты вот что: уходи из села как можно скорее, иначе пропадешь через Власа.

Автопом боднул головой.

- А еще... поблюди дом мой, скоро вернусь... другие державы не потерпят измывательства над нами. Не дураки, знают, чем это пахнет для них. Выручат нас, вот увидишь.

- Бона какие у тебя заметки!

- Теперь я понял, племяш, сами мы виноваты: не перевешали вас, сусликов. Посмеивались - мол, пускай комсомольцы спектакли играют... быстро вызрели... ну, уж если бог даст - вывернемся, бить будем вас страшным боем, суродуем... Сто лет харкать кровью будут ваши дети и внуки.

Автоном закогтил ворот дядиной рубашки, глухо выдохнул ему в лицо:

- Ну и сволочь же ты. Из-за этой распроклятой частной собственности на какое палачество готов!

- Ладно, прощай, развозжай, раскисляй поехал, - в шутку повернул Ермолай.

- Открыл, дядя, глаза мне, снял с души камешек:

теперь жалеть не буду.

Автоном выпрыгнул из вагона.

- Племянничек в каторгу спроводил, - услыхал он голос дяди.

- Ну, это небольшая родня, - скрипуче сказал кто-то в вагоне, - а вот меня родной сын обрек на муки. Рано мы, старики, сняли с них узду, рано волю дали. Сгубят все на свете, изблудятся!

- Когда же мы проморгали? Бить и жечь надо было...

- Все идет по Священному писанию, братья...

Грипка Горячкина плакала в дверях, качала головой, глядя на Тимку. Он не отводил взгляда, задумчивого и строгого.

Паровоз толкнул состав назад, потом рванулся вперед, и поезд покатился по задуваемым снегом рельсам, извиваясь гадюкой. Из окна высунулась голова Ермолая в лисьей шапке. Глаза его широко смотрели далеко в степь, где под низким солнцем расчесывала седую гриву поземка.

За вокзалом в санях лежал прикрытый кошмой молодои татарин с перерезанным горлом - порешили в пути комсомольца сыновья старого бая.

Хлебовцы возвращались домой с молчаливой опаской, а как заискрилась морозная лунная ночь, сели по двое на одну подводу, пустив две порожняком. По снежной накатанной дороге лошади споро рысили, только сани поскрипывали да потрескивали завертки. Через тальник по приречным низинкам или мимо всегда таинственных перелесков, светившихся как бы откованными морозом стволами берез, понукали коней вполголоса.

Семена Алтухова подымало в собственных глазах и как-то непривычно тревожило то, что согласился он стать заместителем Захара Острецова в сельсовете: сможет ли он, снося вздорное подначивание, убеждать, настаивать, улыбаясь, как Захар. Семен шумно, прямо-таки по-коровьему, вздыхал, соскакивал с дровней, тяжело бежал за подводой, косясь на свою огромную тень, скользящую по снегу.

Ехавшпп вместе с ним Егор Чубаров еще на выезде со станции завалился спиной в передке саней, подняв воротник тулупа, так и не шевелился, будто до смерти окоченелый. Изредка стонал прямо-таки по-детски. Заныла у него пояснила внезапно, когда Тютюев, нырнув за сугроб, выстрелил из нагана. Егор боялся, что не отпустит скоро, а завтра надо вести скотину на общий двор. Он горько, с досадою недоумевал - почему так уплотнплпсь каменные пласты между кореньями жизни его и брата Ермолая, почему так очерствело сердце? Ничего из посуды илп из одежды брата он не захотел взять, хотя Ермолай два раза присылал к нему Якутку. В печальной строгости чувствовал себя Егор оттого,

что ближе и понятнее брата был ему сейчас БОТ этот огромный Семка, бежавший рядом с санями, клонясь вперед, расхлестывая коленями полы тулупа.

- Семка, какого рожна ты сигаешь с саней, бежишь, как старый кобель внатруску? Аль чужие блохи в тулупе не дают покоя?

- Да я сам не знаю, дядя Егор, - на бегу отвечал Алтухов, из его рта вырывались клубы пара. - Пружина сжатая застряла в нутре, так и вскидывает, так и взбрыкивает.

- Прыгай в сани, разопьем маленькую, в левом рукаве у меня греется.

На задней подводе Автоном и Тимка лишь поначалу пути поспорили, как всегда, все о том же: кто и что заглавнее в жизни: рабочий и город или мужик и земля, потом умолкли, и, хоть привалились плечо к плечу, думы разводили их по разным дорогам. Для Тимки правда, справедливость, совестливость была в городе, в сказочной личности рабочего.

- Города огромные были - рухнули. И опять могут рухнуть, но земля останется, - возражал ему Автоном не настойчиво, полуутвердительно, потому что слова эти были не его, услышал он их от брата Власа, с которым встречался тайно ото всех два раза. - Земля древнее всех.

Для Тимки же все прошлое - лишь первая пробная борозда, а вот день нонешний и дела наши - начало всех начал. Радуется, что радиоприемник для Хлебовки везут:

мол, знать будут люди, как другие живут. "А зачем? - ехидно спросил в культотделе подвыпивший узколицый человек. - При радио переведутся поэты, потому что у детей не будет своей бабушки-сказительницы, а будет в один и тот же час артистка-притвора баить по радио сочиненную сказочку, засевать детские души тертыми пятаками".

Автоном чувствовал такую уязвимость свою, что ктонибудь пожалей его сейчас хоть словом, и он заплачет.

Раздергивало и знобило его в ночи, потом стало жарко, звезды над головой крошились, Тимкин голос не за плечом звенел, а где-то далеко, на полосе блестящего под луной наста. А Автоному очень хотелось захворать до беспамятства, до забвения всего, что с ним было в жизни, забыть скрывающегося под чужим именем брата Власа, не видеть глаза Марьки...

4

К правлению артели - дом Ермолая Чубарова - Максим Отчев приехал на паре своих коней затемно, чтобы никто не видел и не подумал, будто он норовит поучительный пример показать другим. Коней выпряг и вместе с жеребенком, все время

толкавшимся под брюхом матери, крупной кобылы, завел под сарай, снял узды. Почуяв чужой запах и шевеление в темноте чужих коней, они всхрапнули, перекинулись игогоканьем и захрустели сеном.

Пока расчищал деревянной лопатой дорожки по двору, зажигал в доме лампы и затапливал голландку, внутри его все натягивалось, и чудилось ему, что вот сейчас из темного угла или с печки протянется чья-то рука и упрекающий голос хлестнет по сердцу: "Что тебе надо?!"

Уже роздымью взялся восток, но никто пока не сводил скотину на общее подворье, только Егор Чубаров приехал на своем саврасом и стал задавать сена осиротевшим братниным животным, пошумливая на коней под сараем. А потом приехал Колосков и Острецов, озябшими руками щупали горячую голландку.

- Гладите-милуете ее, как молодуху... все равно печка не ответит, почему анадысь руки подымали за новую жизнь, нынче каждый в свое дело по ноздри залез: кто за сеном поехал, кто убирается со скотиной, - сказал Отчев, снимая со стен семейные фотокарточки Ермолая и пряча их на божницу за иконы.

- А ты-то, батенька мой, разобрался? - смеясь глазами, спросил Колосков.

- Да тут трехлетний разберется: душа никудышная в человеке, узкая. Богатых лаем, а сами себя во сне видим на тройке борзых... Пока Василисин край не тронется, никто шагу не шагнет. Думать приходится. - И Отчев напомнил Острецову и Колоскову о том, что революция сломала межевые барьеры помещичьих и отрубных владений, хлынули крестьяне заимками, хуторами на вольные земли по речушкам, озерцам да суходолам. Селились широко, с размахом первопроходцев и первосевцев, двор от двора далеко голоса не услышишь летним зноем аль зимней вьюгой. Поначалу шалаши ставили, потом лопасы раскрылатили, чтобы кони и быки холодовничали полднем. Замаячили крышами у Васплисина края, но не загустили его, не втиснулись меж домов - остановило крутоложье. Василисин край, Хивой прозываемый, незримо отмеживался от других краев Хлебовки строгостью, порядком, круговой порукой. Даже женились тогда на родственницах, работали вроде сообща, но каждый собирал урожай со своего участка, негласно закрепленного навечно. Маткой этого небольшого улья была Василиса, к слову ее прислушивались, приговора ее побаивались.

- Что же получается? - огневался Острецов. - Третьего дня согласились полюбовно, а теперь разбежались, как суслики по своим норам? Поднажмем осложением индивидуалов, оорежем

землю - запоют сознательным голосом.

- Эх, Захар Осипович, всю жизнь пасешься среда женщин, тайную силу ихнюю не знаешь. За ночь-то развели они своих любых мужиков по старым дорожкам...

С женщинами надо толковать, товарищ Колосков. Попробуйте приручить мою сваху Василису. За ней хивинские бабы, как пчелы за маткой, полетят. Думать надо.

- Есть в районе одна по работе среди женщин. Вызвать?

- Это какая о Восьмом марта по бумажке читает да спотыкается, как слепая кобыла? Не сладит с Василисой, с ней впору мужику, да не всякому зашибет словом.

Зашли к Чубаровым, а там дележка в разгаре: Автоном собрался уходить из семьи. Марька держалась за стариков.

Ковались на сковороднике, и Автоному достались игреняя кобыла, полуторница-нетель. С этим добром он и хотел уйти из дома. Но Отчев, оттеснив его в угол, уговаривал:

- Без ножа режешь, голову сымаешь... Какой же ты заместитель председателя и полевод, если жену родную не уговоришь взглянуть на правду?

- Ты отец, ты и виноват: в девках начала по Евангелью жить-глупить, а ты не суперечил... Уморился я убеждать. Один вступлю, глядишь, и они за мной потянутся.

- Убеждай, калякай на всю глубину, только, ради Христа, не трогай ихнего бога, не выводи баб из себя.

Один ты, без семьи, не очень-то богатая находка для артели... Люди подумают, понарошке ты с артелью играешь.

Захар Острецов подсел к Кузьме, уткнувшемуся в Библию, нажимал задушевным голосом:

- Уж кому другому, а тебе, Кузьма Данилыч, надо бы идти в колхоз впереди всех. Ты страдал при царе, каторги хлебнул...

Кузьма поднял косматую голову от книги, обиделся, на поняв Захара:

- Не попрекай каторгой, жизнь не проживши. Не отказывайся заранее от сумы да от тюрьмы. Моя дела темная, куды народ, туды и я, как капля в речке.

Василиса сидела за столом, откинув платок на плечи, красуясь холеным породистым лицом и молодой белой шеей.

- Вторую каторгу добровольную мой старик не хочет:

года не те.

- Ты что же. тетя Василиса, колхоз считаешь катсргой? Это же контрреволюция! - устыдил свою молочную мать Захар.

- Не знаю, голубь мой, не ведаю, может, и рай ждет вас. Ты-то манишь, ульстить хочешь, а сам знаешь, что за обиход получается? Вот ты, Колосков Онпспм Петрович, будешь с нами

кашу из одного котла есть? А вдруг и кашд не будет, а ритатуй одпн, а?

Весело ответил ей Колосков:

- Не буду, Василиса Федотовна. И вам не желаю, чтобы вы хлебали рптатуп из общего котла. Пли за мосол в обжорки играли. Работать будете сообща, получать по труду...

- Сватья Васена, я буду делить с вамп все, - решительно втиснулся в разговор расторопный Отчев, успевший выпроводить Автонома в магазин за водкой, шепнуть Марьке, чтобы она самовар разжигала, наказать Фиене заманить соседских женщин. - Строгая и умнейшая у нас Василиса Федотовна, а об Онпсиме Петровиче очень даже сказала ни к стенке, ни к лавке, а так стоит твое слово посередь пзбы, хоть палкой выгоняй. Давайте прикинем, какую силу наберем мы все вместе. Трактор, машины по карману тебе одной? А без машин не очень-то поладпшь с землей. Ты глаза не опущай, давай серьезно думать...

Уж и самовар поставила Марька на стол, соседки прпходили и, помявшись, подсаживались к чаю, уж от порога тянулся в горницу дымок, будто тайно самогонку гнали, - Егор Чубаров и Семка Алтухоз баловались самокрутками, гуекая струп из обеих ноздрей в рукава, - а Отчев все лляновал, сколько распашут залежей, скота разведут.

Васплпса прервала его, велела выпить по рюмке - обычно негостеприимная, ньше она, измаянная раздорами з семье, не тяготилась посторонними. И даже задумалась неожиданно для себя по-новому над тем, почему этп серьезные люди - Колосков, Отчев, Острецов, оставив своп дела, семьи, пришли говорить с ней о жизни.

- Ну и надоеды, прости господи! - с оттенком укора и похвальбы заговорила Васплпса, броспв на Колоскова царственный взгляд. - Уломаете, умаслите, а потом, случись неустойка, нас же, баб, будете корить: мол, сами сгуртовались, удержу на вас не было. Всегда вы, чубатые, улещаете нашу сестру доверчивую посулами. Ладно, пусть Захар Осипович будет коноводом на нашем сборе. От женского горя он никогда не отворачивался. Не по доброте ли своей сердечной маялся холостым столько годов?

Еще не старая вдова, одна из тех, с которыми Степан Лежачий искал клад на батыевском городище, со всей сердечностью добавила:

- Знамо, к нему со всякой нуждой шли. Понимает он наше сердце до последней струнки. А как вздыхать начнет да охать вместе с тобой, ну, тут забываешь, что мужик перед глазами - ни дать ни взять родная матушка, только кокошника на голове не

хватает. Бери вожжп, Захар Осипович, духовник наш и надея.

- Женщины, вы знаете меня не один год. Скажите, брехал я когда-нибудь понапрасну? И сейчас скажу голую правду: по-старому жить нельзя, нужду не одолеем. По новому пути - вехи наставила партия - мы должны идти смело. Все зависит от вас, женщины: жить нам - с куска на кусок перебиваться или в достатке и радости.

- Родные мои, дорогие товарищи! - с дрожью в голосе горячо взяла Фиена. - Мы вчистую истосковались-извелись по новой жизни. Даже в девках не мечтала я так пылко о нарядах, как сейчас об артельном быте. Спали мы, женщины, под гнетом и во сне видели ее, желанную. - Она так ласково и вожделенно глядела на Острецова, что он страшился поднять глаза.

- Под каким гнетом спала ты, Фиена Карповна? - спросила вдова Ветрова. - Уж не под тем ли, какой на соленую капусту кладут? Василиса Федотовна, открой нам свои думы.

- Вы, мужчины, с придурью. Для вас умных баб ЕЭтути, - ласково и едко заговорила Василиса, - уж на что иной - кисель молочный, а туда же про длинные волосы да короткий бабий ум толкует. Он, видишь ли, научился, а мы темнота кромешная. Да эти войны, страдания дажэ у слепорожденных прорезали глаза. Нас, матерей да жен, сразу бы надо спросить, хотим ли мы артелью жить.

На словах равноправие, а дела решаете одни, - упрекнула Василиса и, как ножом, провела взглядом по лицам.

Василиса знала не только свое хозяйство, но не хужэ и достаток соседей.

- Сообща работать? Это получится столько-то коров дойных, лошадей рабочих... А пахать-сеять сколько десят;ш? Если как прежде, зачем вместе? Быка на елдыка меняют только неразумные. Ладно, бабы, раз уж притолкала жизнь на край кручи, быть прыгать... никто вечно не живет. Подумаем и, благословись, стронемся с места. - Василиса отыскала глазами Марьку, вязавшую в углу чулок. - Как ты, Марья?

- - Я как вы, матушка и батюшка. На народе и смерть красна. А коли меня спрашивают, скажу: велят - надо идти. Только в это самое правление надо одну женщину завести, чтоб не забывала заботы матерей. Скажем, в поле ехать страдовать, а детишек на чьи руки?

- Вон Ненастъева женделегатка... ее в правление посадить, только ей делов-то: коров нет, детей не бывало.

- Это не курица по-кочетиному закукарекала по глупости. А у самой только и хватило силенок пьяного попа Якова из рюмки вытащить, - отрезала Василиса. - Уж ято людишек знаю со всех

сторон. Иной еще рта не разинул, а мне ведомо, что сморозит.

- Вот бы тебя маткой улья нашего, - сказала соседка.

- Говори, да не заговаривайся. Думы мои о другом улье, - Василиса подняла глаза к потолку, покрывая платком свою вороную, с сединкой, гордую голову. - Вам жить, радоваться или плакать.

Отчев шепнул Кол основу, что дело сделано, потихоньку надо уходить.

"А ведь эта Василиса со скрипом согласилась... да и то не о себе уж думала, а о детях. Не дура, понимает: неотвратимо наступает новая жизнь, решил Колосков. - Старые доживут раздвоенно, а молодые наладятся работать артельно и представлять себе не будут иную жизнь".

- До свидания, Василиса Федотовна, - сказал Колосков.

Василиса поглядела выше его головы, ответила, будто в пустоту:

- Назначай свидания тем, какие помоложе, бывай здоров...

5

Вернулся Степан Лежачий в свою чеканом крытую избенку, умял краюху хлеба с редькой, лег за печь на нары.

"Какая же должность достанется мне в колхозе? Как бы не прогадать. Автоному легко смелеть, v него три конских головы, три головы рогатых, а у меня один бычок-годовик. Завалимся на ухабе, совсем оскудею. Хорошо, пойду, глядишь, при дележе больше достанется хоть одной овцой".

Сгреб в ведро с печки проросшую на солод рожь (недоглядел, промочило ее в сенях целый мешок), насыпал в корыто своему бычку с кривым рогом.

- Ешь, завтра поставлю тебя на новый путь развития.

Живший впроголодь бычок поначалу недоумевал, потом уткнулся мордой в распаренное, с проклюнувшимися ростками зерно.

За ЕОЧЬ под вой метели Степан извелся от дум, осунулся, нос на сером лице стал красно-синий, как жулан на дереве. Чуть свет Лежачий принялся осматривать свое хозяйство. В проломе саманной стены перекосилась деревянная борона, в сенях лежал зазубренный топор с треснувшим топорищем, в ящике ржавые железки неизвестного назначения, в старых домотканых портках завернута алюминиевая головка от трехдюймового снаряда, поломанный ватерпас, огромное - хоть бревно суй - стремя, ржавый шлем, найденные в кургане. Жил Степан давней легендой - отец когда-то нашел кубышку с деньгами, а они оказались фальшивыми. Степан сам с давних пор искал, крадучись, клады на покинутых поместьях, раскапывал древние могилы. Однорукий

сосед Чекмарь натропил его порыться на местах, где жил Егор Чубаров: непременно клады оставляет.

"Все до последнего сдам. Я такой... решусь, не сверну с дороги. Я первый в Хлебовке развелся с женой, показал пример нового быта", - думал Степан. Примерил на голову шлем - плохо! Только нос торчал. Положил в мешок, но за воротами передумал, вернулся, спрятал шлем за печь.

"В городе сдам, только пусть напишут, нашел, мол, Степан Авденч Полежаев. И то, глядишь, дадут на штаны".

Пошел за бычком. А он пластом лежал, бока вздуло, мычал, тускнея глазами.

- Нашел время хворать, идиот кривоногий! Вставай нечего тебе пузо раздувать.

Он тянул бычка за рога, за хвост, но бычок не вставал - Срамишь ты меня перед всем народом. Hv, сделай хоть раз, дойди до общего двора, помирай на глазах общества... - Ударил его пинком в жпвот, плача по-бабьему и магерясь по-культурному.

С подлавкп зашипели на Степана подросшие без людского глаза котята. Кошек у него развелось полный чердак, жили они там зпму и лето, сами кормились, порскали, зазидез его, только самая старая, бывшей женой принесенная, признавала хозяина. Когда Нюрка ушла, она унесла кошку, но та прибежала. Всю-то ночь она мяукала тогда за дверью, но в горести своей Степан так и не расслышал. Кошка обжилась на подлавке у печной трубы. За три года бобылъей жизни Степановой наплодила косяки разномастного потомства, дикого и своенравного. Иной раз так размяукаются на разные голоса, что соседка-старуха руку отматывает, крестясь по ночам.

- Что вы там зашипели? Покладу в мешок, сдам Падышеву в кожсырье. А то выстроим летом общий дом, сломаю хибару, куда подадитесь?

На широкий двор Ермолая Чубарова сводили хлебовцы свой скот. Максим Отчев распоряжался приемкой, заглядывал в зубы коням, записывал в большую книгу, от какого хозяина сколько принял. Несколько человек долбили ломами мерзлую землю, врывали сохи, клали перекладины, вязали стропила для нового скотного сарая.

- Где твой бычок с кучерявыми рогами? - спросил Лежачего Острецов.

- Захворал, - едва молвил Степа.

- Что? И на него кулацкая чума напала? У Кагакцэва кони обезножили вдруг, а у тебя бычок захворал? Такто ты в новую жизнь идешь?

- Не могу я за хвост тащить его. Других заразит.

Степан вытряхнул из мешка железное добро.

- Я все сдал, и вы, гады, сносите пожитки!

- Давай сделаем мала куча, верху нет, а потом отойдем на Каменную гору, ударимся наперегонки, все добро нарасхват, кто больше утащит. Вот и равенство.

Завизжали подравшиеся лошади. Конюх, разнимая двух меринов, резонил их:

- Привыкайте, скоты, жить по-человечески.

- А на том дворе коровы взялись брухаться, на рога подымают. Каждая в своего хозяина нравом.

- В хозяйку, а не в хозяина. Посмотрели бы вы, как Василисина корова презирает всех взглядом, сопит, как царица на троне.

Степан покурил со строителями сарая, потолковал среди скотников, подавая советы, зашел в дом Ермолая, где заседало правление, вступил в разговор; - Курей под одну крышу надо. Кухню общую наладить. Пример показывать должны.

- Степан Авдеич, подсобил бы людям, - глухо сказал Антоном, - как раз за сеном собираются поехать.

- Давай валенки, тулуп, поеду. С удовольствием. Ты на меня не пошумливай. Сам-то небось блинов напоролся, а я со вчерашнего дня не ел.

Степан вышел во двор. Уже расхватали и запрягали коней в сани сеновозы. Достался ему огромный лютоглавый рыжий мерин, только Степан подступился к нему с хомутом, он, прижав уши, вытянул оскаленную морду.

- Цыц, кулацкий зверь! - Степан отскочил, упал, нечаянно надел хомут на себя. - Злые на нас, бедняков.

Возьму кнут, попляшешь у меня, бандит недорезанный.

Егор Чубаров с минуту полюбовался на Степана, потом спокойно запряг рыжего.

- Поедем вместе, Степа. Верп вплы.

Но вил Лежачий не нашел.

- Может, лопату взять?

- Да ведь нам не землю на сани-то класть. Своих аль нет вил?

- Есть, да рожок летось сломался. Рукп не дошли наварить.

- Да... Ладно, дам тебе тройчатки - на возу будешь стоять, а я подавать.

Вернулись онп с возом сена в столь разном состоянии, будто Егор в жаркой стране побывал - шел, ватник нараспашку, шапка на затылке, лицо пыхало румянцем, хоть прикуривай, а Степан дрожал на возу, слез, не попадая зуб на зуб, - все-то время, пока Егор павпвал воз, он дрог под ветром, засунув рукп в рукава, вслух мечтал о лете, как, бывало, знойным полуднем вздыхал о

прохладе.

И еще рассказывал о новостях - выписывал газету "Беднота". Говорил он как одержимый, после даже сам пе помнил, о чем.

- А как ты. дядя Егор, думаешь, кто сейчас в стране главный оратор? Я вот, брат, научусь говорить, как оратор.

- Ты ба просил себе раоотенку по своему уму, - посоветовал Егор, скидывая сено.

Обидно было Степану, что работали все вместе, а ужинать разошлись каждый к себе.

Бычок околел и стыл. Степан начал было снимать шкуру, но ножик был тупой, и Степан бросил, надрезав только на коленях. До оттепели лежал труп под сараем, потом Степан выволок его на лошади за ноги на скотское кладбище, решив, что тухлятину лучше там ободрать, а тушу зарыть. Несколько раз собирался сделать это, но все руки не доходили, скребок гнулся. А когда снег сошел, на бычке сидели страшные птицы, ы Степан, поглядев издали, как они расклевывают падаль, молвил:

- Ишь, черти, прыгают, как спутанные. Обожрались.

Вернулся ни с чем. К весне он получил должность объездчика, информатора, сборщика сводок о полевых работах. Это по его незлобивому созерцательному характеру - знай себе вози сводки в сельсовет, а на станы полевые - газеты, новостишки. Всегда накормят кашей, угостят куревом. Нужен людям стал и потому развеселился.

6

Это была последняя весна вольной горько-сладкой жизни Автонома Чубарова...

Перед выездом на артельный сев яровых Марька крестным знамением осеняла коней, каждому дала по кусочку присоленного хлеба. Автоном покачал головой:

- Хватит, наблагословлялась...

Выехал на взгорье, оглянулся на обоз, услышал, как весело запеснячивают первосевцы, помягчел сердцем.

Всю посевную Автоном жил в степи, шел за плугом, за сеялкой, и чувство порядка и покоя наполняло душу.

И тогда веселили его широко зачерневшие обсемененные поля без прежних размежовок на загончики, звенели в сердце трезвоны жаворонков.

После сева пустили коней на отгул в луга с кустами буйно зацветшего крушинника, бересклета, с ползучим ежевичником и душицей по отложинам да западинам.

Автоном теперь уезжал за Дубовый колок - там на быках поднимали черный пар. Любил Автоном босиком пройти по борозде, лишь слегка придерживая хорошо отлаженный плуг,

потом потолковать о предстоящем сенокосе.

За два утра Автоном натаскал в мешке двадцать сурчат. Дрожали СЕЙ, переливаясь блестящей рыжей шерстью, зыркалп из-под амбара глазками, скучая по матерям своим. Бабы поили нх молоком, и сурчата пообвыкли, начали играть, порская под амбаром. Много давали молока коровы в это майское сочнотравье. На задах вмазали котел, кипятили молоко, потом ставили в корчагах в погреб на лед, чтобы снять сверху поджаренно-коричневую пенку каймака и подать к блинам.

Вернувшись с полей, Автоном пустил коня под лопас к свеженакошеннои траве. Полюбовался Марькой, хлопотавшей у летней кухни, украдкой шлепнул по высокому бедру и побежал огородом на речку купаться. Шел, помахивая хворостинкой, глубоко и ровно вдыхал пахнувший травой и утренней прохладой воздух. Глаз отдыхал, любуясь молодой травой, пасшимися конями, голубым, не тронутым пока зноем, небом.

Б канаве застряла телега с кирпичом, быки не в силах вытащить. А здоровая баба Райка Хомякова сидела верхом на быке дяди Ермолая, пела, потешая подруг:

Сидит дрема, сама дремит...

Увидев Автонома, она придала своему красивому лицу зверское выражение и начала тыкать палкой в сбитую до крови ярмом шею быка.

Помутилось в глазах Автонома от гнева и жалости.

Наотмашь врезал хворостиной Райку по широкому заду.

- Выгоним к чертовой матери из колхоза! - ругался Автоном. Вдогонку ему летела распропащая ругань:

- Доберемся до тебя, последыш вражеский!

Отошел Автоном от Райки, увидал - кружится какойто нерасторопный перед чалым мерином, подходит к нему, держа перед собой на вытянутых руках узду. Конь, прижав уши, поворачивался задом.

- Стой, сволочь кулацкая! - орал на коня Степан Лежачий, взопревший от кружения.

Автоном вырвал из его рук узду и, присвистывая призывно вытянутыми в трубку, треснувшими на ветру губами, подошел к чалому, рука его коршуном вцепилась в гриву, другая сжала своевольно раздувающийся храп.

Взнуздал, похлопал по шее.

- Седлай, Степан Авдеич, джигит раскоряченный... - сказал грустно.

Но и в седловке не кумекал Степан. С едким чувством неприязни, горечи Антоном оседлал коня и едва сдержал себя, чтобы не вывернуть Степкину ногу, когда подсаживал его,

подставив руку, как стремянный под ногу великому воеводе.

Степка дернулся в седле, натянул поводья, зарысил в гору, срамно вихляя тощим задом, - ни дать ни взять как собака на заборе.

Зашлось у Автонома сердце с горя и боли, и ушел оа в кусты на берегу, повалился грудью на землю. Купаться не хотелось.

"Да разве с этими негодяями получится артель? Будь бык своим, черта бы с два стала ты, лахудра, издеваться над животным. Он тебя кормит, заразу, а ты что делаешь?

Господи, тоска-то какая! Батюшки, куда бы метнуться?"

Но всем сердцем он был привязан к этому раздолью степному с увалами, западинами, с выступающим железным камнем горами, к этим травам и небу.

За ветлами услыхал голоса Острецова и Фнены, притих, насторожился.

- По делу я к тебе, Фиена Карповна.

- Что за дело у тебя ко вдове, аль молодых мало?

- Когда последний раз виделась ты с кузнецом Калгановым?

- Ты что, пареной тыквы объелся? Не знаю я никакого кузнеца!

- Я не допрашиваю. Не знаешь, дело с концом. Вот так и отвечай любому допрощику. Ты баба свободная, вольная птица, можешь на свиданку ходить с кем захочется. Кузнеца только не увидишь - рассчитался, ушел куда-то. Это он, стервец, бил меня вон у того моста. Я еще давно учуял неладное, когда дядя Кузьма с похоронной пришел в сельсовет.

- Да за что же ему бить тебя, Захар Осипович?

- А черт его знает, за что! Мешаю, наверно! А может, за ту бекешу, какую подарила ты мне?

- Ну, Захарушка, если бросишь свою с дымчатыми глазами, а меня, бедную, покинутую, не забудешь, открою, кто помял тебе ребры. Бери меня. Все равно Люся уйдет.

Разве ты не замечал, как она норовит попасться на глаза Тимофею?

- Ох, и дьявол ты, Фиена. Вот знаю, что врешь, а начинаю верить тебе. Не насчет Тимки, тут меня никто не собьет с позиции.

- По сердцу ты мне, Захар, не могу скрывать твоего обидчика: Автоном, вот кто! - Фиена сорвала лопушок, надела его на голову Захара. - Чем-то ты ему насолил.

- Пока молчи... Займемся Автопомом серьезно...

Автоном вернулся домой враз осунувшийся. Пересчитал сурчат, облепивших корыто с молоком.

- А где же двадцатый? - спросил Фпену.

- А мне почем знать? - огрызнулась она, кладя творог под гнет. - Ты бы еще волков натаскал во двор. Мало птпцы всякой развел?

В котле плавал раздувшийся сурок, с бока его полянкой отливало молоко.

Автоном изругал Фиепу, побежал к Марьке, взблескивая наясненными о траву сапогами.

Марька выпрямилась у плетня, в упор глядя на мужа.

- Чего ты полоумеешь? Срамник.

Автоном рубанул хворостиной по подолу жены.

Тут-то Кузьма и решил дать укорот сыну. Перегнувшись через плетень, он гибкой ветлиной хлестнул по лопаткам. Автоном крутанулся, опрокинул ногой котел с молоком. Нырнул в темный амбар, громыхнул задвижкой.

Автоном отсиживался в амбаре. Лишь ночью скрипнул дверью, вышел, покашливая. Накрапывал дождь, в душной тьме пахло землей. Застучали, хлопая, ставни и дверп, завозились коровы, сгуртовались испуганные овцы на открытом скотнике, и был слышен хруст овечьих ног в коленях. Ветер смахнул с нашеста молодых курочек, заламывая крылья.

И когда вспыхнуло повыше над двором и белым огнем упал на ветлу грозовой косей крест, Автоном увидел: от калитки в толстых, как вожжи, струях дождя шли по лужам к сеням председатель артели Отчев и Острецов.

"За Власа... За Захара?" - подумал Автоном.

Выждал, пока они войдут в дом, бросился на зады в подсолнухи, потом через речку на мельницу.

Бывший поп Яков не привечал и не гнал.

- Мне что? Грейся. Я тебя не видел.

Яков сел рядом с ним на мешки с зерном, утпхомирпзая гулкий голос своп, спросил: может, выпьем? Есть бутылка за мешками.

- Одному скушно, а выпить охота. Бона гроза-то какая поигрывает.

- Я не пью.

- Похвально. - Яков выпил, кряхтя, спрятал бутылку за мешки.

Вспышки молнии освещали полуоткрытые двери, морщинистое лицо Якова с зажмуренными глазами.

- Не печалься, что новая жизнь пока не ладится, - говорил Яков. Найдет себе свое русло река народная, не заболотится, в песок не уйдет. Мы, возможно, не доживем.

Да ведь и Моисей, ведший свой суеверный, изменчивый, в своих приверженностях народ, сам-то так и не увидел земли обетованной. Такова судьба всех вождей и пророков - подвигнуть

на подвиг, а самим сгореть в пути. Да, Автоном Кузьмич, пришли народы в движение...

Автоном молчал с вызовом и презрением. Он презирал своих бывших друзей, себя за то, что нашел приют у попа-расстриги.

- Работаешь ты, Автоном, горячо, умело. Да разве работой только красен человек? Бык посильнее, поболее тянет, но ведь он лишь суть животная. Не серчай, Автоном, думается мне, надоел ты народу дикостью своей. Не кипятись, выслушай. Книжки читаешь, головой повыше всех стоишь, но потому-то особенно колет людям глаза твоя дикость. Был бы ты глуп и темен, не так бы возмущала людей твоя ужасная жестокость.

Яков утром ушел в село, обещав разузнать кое-что.

Автоном ждал его в кустах за мельницей. И когда появился Яков в своей кепке, в задубевшей от мучной пыли рубахе, спросил:

- Из-за Марьки?

Яков промолчал. Принес из дома каши, накормил Автонома.

- Марька что? Несчастный она человек. Оказывается, жестокосердость твоя безобразнее, чем я думал. Ну, что Острецова бил? Иди, сдавайся властям, пока не напутал вокруг себя новых петель. Хуже будет, если не объявишься.

Автоном скрывался, ночами косил сено для своей коровы, днями отсыпался у реки под кручей или в кустах бересклета. Однажды в страду перед сумерками вышел к пшеничному полю.

Широкое поле без межевых опоясок шумело колосьями отчужденно, больно. Только река с юга да гора с севера перепружали разлив хлебов. Повыше, на равнине, косили лобогрейками. Но сейчас полуднезали в конце я я. го"

на слышался голос баб и мужиков. Услыхал Автоном голос Марькп недоступно, мимо него проходила ее жизнь.

Уж так-то больно повернулось сердце.

Из-за колышущейся пшеницы он видел сына ГрияьКу - игрался около рыдвана. А когда Автоном, крадучись, подошел к табору, Гринька уже спал, уткнувшись щекой в землю. По ногам ползали букашки. В руке цветы мышиного горошка, меж пальцев ног травинки. Перед сном, видно плакал: от глаз по запыленным щекам пролегли светлые вилюжинкп.

- Работничек мой сердешный... ухом припал к земле, знать, слушает, как травка растет... Она тихо растет...

Да что это я размяк.

Автоном встал и, огибая волны пшеницы, окаймленные белым сугробом цветущей ромашки, направился к Марьке. После того как повидал сына, он будто посмелел.

Склонившись над валушкой, Марька вязала сноп. Медленно

выпрямилась, растерянно улыбнулась. Шагнула к Автоному. Вязка лопнула, и пшеница, шурша колосьями, рассыпалась.

- Не стерпел, глядючи, как убираете хлеб. Сам я засевал поле. Садись, правь конями, а я сваливать буду.

Погонщик и свальщик рады были отдохнуть, ушли домой. Увлекся Автоном. Объедет круг, помогает Марьке вязать снопы, а встретится с нею глазами не видит, горят они веселым огнем. И вспомнилось Марьке, как, бывало, он зимой еще до света управится со скотиной, сядет за книги и в глазах ворочается сильная, тяжелая мысль, и лицо, как у сорокалетнего, в заботах, брови коршунячьими крыльями боевито изготавливаются к полету. "Понять бы мне его, господи... Один он по миру бредет", - думала она, любя его по-своему, жалко и тревожно.

- Ну и хлебушко уродился!

Руки у него хваткие, ловкие, ни одного лишнего движения, скрутят сноп кидай хоть с небес, вон с той тучки - не рассыплется. А когда начали скирдовать, он захватывал и волок столько снопов, что самого не видно несется по стерне целый воз.

Загустели холстинно-белые полотнища близкого дождя, гроза арканила дубки в лесочке. Понизу по стерне хлынул, шумя, ветер, качнул подвешенную к бричке зыбку, пузырями надул рубаху и кофту. В пыльном прахе запрыгала катунка по дороге.

Антоном махнул рукой жене. - Лети под бричку! Гриньку укрой!

Прибежал в мокрой, вылегшей по мускулам бязевой рубашке, истомно растянулся в затишке рядом с Марькой.

- Управились поскпрдовать.

Стащил мокрую рубаху, залез под зипун, к себе потянул Марьку. Пар шел от горячей груди...

- Сыграй мне песню.

- В грозу-то?

- Бог твой на песню не огневается. Да разве на тебя можно гневаться, козявка ты безобидная?!

Подкручивая усы, Автоном снисходительно и ласково наблюдал за Марькой: ухитрилась в родничке среди куги набрать воды, нагреть, помыть сына. Автоном отрадно подчинялся жене, мылся на луговинке - она сливала воду на сипну и голову его.

Пока допревала каша, Марька сама мылась в заросле куги.

- Давай полью, а?

- Не ходи сюда!

Улыбаясь на ее испуг, Автоном поглядывал, как колышется остролистая куга, как показывается над нею и снова тонет в зарослях голова Марьки.

Вечерний свет блеснул на ее мокрой груди, когда Марька,

быстро перебирая длинными ногами, прошла мима Автонома. Склонилась над сыном, и рубаха облегла стан.

- Ну и девка-краля попалась мне!

Радостно беспокоил Автопома ее чистый певучий голос:

- Гриня, сынок, ох и болтун же у тебя батя...

Лежа на копне, оп видел в свете луны ее высокую фигуру в белой рубашке: молилась Марька, и столько нежной кротости было в ее плавных движениях, в тонком большеглазом лице, поднятом к небу.

Страшно и дико стало на душе Автонома лишь при одном воспоминании, что когда-то бил ее.

Неслышно приблизилась к копне, склонилась на нам, улыбаясь.

Не как прежде - рывком, с яростью, а осторожно притянул ее к себе под зипун, и она без былой оторопи доверчиво поддалась. Потом, облокотившись, глядела на него блестящими глазами.

- Не узнаешь?

Взяла его тяжелую руку, прижала к своей шее, горячей, пульсирующей.

Автоном смотрел то на нее, то на серебрившийся над кугой туман, то на звезды, и что-то по-новому укладывалось в душе его.

- Марья Максимовна, мне понять надо: в какое время и с какими людьми я живу? Зачем и как живу? Даже вон та ивушка не случайно растет у родничка... видишь, по ветви в тумане купается?

- Вижу... Не выдумывай много-то. Тяжело не от жизни, а от выдумки. Глянь, какая красота кругом - звезды, пшеница...

- Не, я не выдумщик. Кто выдумывает, тому жить легче. В сказке все понарошку: обманулся, вздохнул, и все горе сошло... Что кладет на весы выдумщик? Слова.

А я - жпзнь, вековую привычку ставлю на кон. На земле я вижу жпзнь. Правда, земля тяжелая, и уж если горе завалит мою грудь, вздохом я не избавлюсь от нее...

Пусть не требуют от меня быстрого признания мудрости слов. Читал я у Ленина: политика серьезная начинается не там, где действуют тысячи, а где - миллионы. Как я - таких много. Ладно, за Власа согласен отвечать...

Марька как-то не вникала в его слова, а больше к голосу прислушивалась - она уже знала, что люди много наговаривают, и к словам нельзя цепляться. И то, что уловила она в голосе, в выражениях лица Автонома, сказало ей многое о его душе: светлела душа в страданиях. И Марька предчувствовала, что начнется у них иная жизнь.

Утром, чтоб порожняком домой не ехала жена, помог ей

навить фургон сена.

Жена стояла на возу, он подавал.

- Ну, чего не принимаешь там?

Марька выронила грабли.

- Они едут. Беги! Господи, с трех сторон. Ходил бы осторожнее, тут каждый заметен, как омет в степи.

- Слазь, Маша, я на воз заберусь. Оттуда поведу с ними переговоры.

Поднял руки, и Марька спустилась на них, глянула в его глаза, хоть по-прежнему суровые, но в то же время новое что-то было в них. И даже не верилось, Машей назвал. Задержал над землей на руках, а она обняла его и заплакала.

- Ты бежи бегом домой, а я поеду тоже в Хлебовку.

Чай, дадут они сено довезти, белье взять, - сказал Автолом.

Никогда у нее не было столько ласковости и силы.

Летела над крутым берегом и не знала, чего у нее сегодня больше радости или горя. Все она ему простила только за эти вот сильные, бережно державшие ее над землей руки, за этот будто братский взгляд. И если минутой назад она просто боялась, что заберут его. потому что всякое проявление насилия пугало и удручало ее, то теперь сразу, как игла, вошла в сердце жалость к нему.

И так вдруг затосковала, затревожилась, что вылезла на кручу глянуть, где он.

На возу были еще двое кроме Автонома, и они как-то странно возились, что-то делали над лежавшим Автономом.

Марька подбежала в то время, когда лошади остановились, запутавшись в вожжах, а возня на возу усилилась.

- Слазь. Худо будет, слазь, - быстро говорил отец, взглянул на Марьку, отвернулся.

- Не троньте! - в голос крикнула Марька, тряся отца за плечи.

Острецов и молодой незнакомый парень схватили Автонома за руки и ноги, едва удержавшись на ходившем под ногами сене. И тут произошло такое, что Марька так и не могла понять: не то он сам свалился с воза, не то сбросили его спиной вниз.

Она ахнула, присела у куста одинокой обкошенной ракитки. И сразу все затихло, все присмирели, Автоном, известково-серый, лежал на спине. Марька начала тормошить его, отец подсобил ей посадить Автонома. И тогда он задышал, но глаза все еще белели, закатившись под лоб. Незнакомый парень в своей фуражке принес воды и плеснул ему в лицо. Автонома стошнило кровью.

Быстро скинули сено, оставив лишь вровень с наклестками, положили Автонома и велели Марьке везти домой.

- Ты там языку волю не давай. Никто не хотел его увечить.

Сам он упал с воза, - наказал отец.

- Мы же с ним шутили, - сказал парень. - Ну и горячий...

- Отбушевался, потише будет, - сказал Острецов.

Но чем больше думала Марька, тем страшнее становилось на душе. Они бросили Автонома на землю. Дома родным сказала, что упал с воза, Антоном глотал лед, а к вечеру впал з беспамятство.

Назавтра его отвезли, в больницу.

7

Новая артелъзая жизнь впрягла в одно тягло самых разных людей: Кузьму и его давнего супротивника Карпея Сугурова. Кузьма выпросил у правления три пары могутных быков, а в погонычи своего свата Карпея.

- Тут бы и мальчонка спроворил, да ведь Карп только бородой мужик, а сила в нем отрочья. На ногах не тверже младенца.

Подымали они черный пар в знойную петровскую жару, когда артель приступила к уборке озимых с тяжко налившимися колосьями.

Выехали воскресным днем из Хлебовки в гору, с которой отрадно виднелась зеленая крыша лавки. Карпей слез с рыдвана будто до ветра, а сам как сел на укатанный песчаник у дороги, так и окаменел в упрямстве.

- Дашь вина, сват, поеду пахать, не дашь - не сойду с места. Стыдом ты меня не проймешь, я хворый с похмелья, червяк сидит во мне, сосет.

Подумал Кузьма, почесывая седой затылок, посулил свату четушку перед ужином. Но когда приехал к загону, сварили ужин, признался, что нет у него ни глотка вина.

Карпей поклялся отомстить ему. Ночью Кузьма, пасший быков, задремал; Карпей снял с шеи коренника звонкую болтушку, залез в подсолнухи и начал позванивать, У Кузьмы сердце захолонуло: быки на бахчах! Всю ночь Карпей перебегал с места на место, маня обманщика звоном болтушки.

Кузьма с ног сбился, гоняясь за тревожным звоном.

- Батюшки мои, мотри, быки в просо залезли! И как я, старый пес, упустил, дрыхнул, лежебока...

Но когда рассеялся предутренний туман, он нашел быков в лощинке недалеко от стана - всю-то ночь они спали, не ели, бока пустые. Не пахота на таких. Взбулгачил и почти до обеда пас на сочном разнотравье. Карпей отлеживался под рыдваном, баловался айраном.

Умные, поднаторевшие в работе быки, наевшись и напившись, посапывали, сами пошли к плугу, встали на свои места, покорно подставили могучие выи под ерма, с деловитой

неспешкой потащили плуг, отгоняя хвостами оранжевых крючков.

Идя за плугом, Кузьма думал о своих сыновьях, о жизни своей, одним ухом слушал срамную ерническую болтовню погонщика:

- В нашей родне, Кузя, как жизнь вертится? - оглядываясь на ходу, говорил Карпей. - Что мужик - своя вера, что баба - то свод устав. Теперь все к чертям поломается. Твое - мое, мое - твое. Почему Василиса не принесет нам блинов сюда?

- Хворает, изувечили Автономушку - слегла. А там внук на ее руках. Фиена-то, твоя дщерь, умственную работу нашла на посылках в сельсовете у Захара Осиповича.

- Не верь Василисиной хворп. Псовая болезнь до поля, бабья - до постели.

- Эх, Карпей, женился бы ты на соседке, на Мавре.

Сыт и пьян и нос в табаке.

- Старуха!

- Какая она старуха? Женись, Карпей, ведь одна головня и в поле гаснет, а две дымятся.

- По твоей жизни вижу - дымятся, аж не иродыхыешь.

Кузьма безнадежно махнул рукой - такого пустобреха не переговоришь.

На другой день увидали они Васплпсу - будто плыла за стеноп подсолнухов ее гордая голоза. Накормила лепешками с каймаком, спустилась к родничку. Карп - за ней. Она умывалась. Сел он на кочку.

- А ты не стесняешься меня, мужика, зпать, презпраешь до пустоты.

- Карп, да разве ты мужпк? Бутылка ты из-под водки, кругом за версту от тебя мухи дохнут от вопи. - Василиса смывала со щек кислое молоко, мыла шею в завитках черных волос, искоса глядя на Карпея усмешливым горячим глазом. - Грех один остался от тебя. А вроде был человек видный.

- Из-за меня убегала от мужа, - прошепелявил Карпей.

- Ну и дурак, коли думаешь вкрппь. Себя я обороняла. Прпневолька мне хуже смерти. От человека не потерплю, поклонюсь только богу, да и то своему. Кузю не задевай - мой он. Да такого героя поискать.

Карп хохотал, ощерив желтые прореженные зубы.

- Придурок он, блажной.

- Это с вами, дураками-ветродуями, он простенький, а один с собой мудрец.

- А с тобой? - серьезно и больно спросил Карпуха.

- По-всякому бывал. Начну ум выказывать, он диву дается: эко какая премудрая? Ох, как он знает людей, потешает пх, а живет

своими думами... Молчал. Бывало, ночью в поле проснусь, а он глядит на звезды, сам с собой душевно беседует.

- Василиса, ну хоть что-нибудь есть у тебя в душе-то обо мне? Помирать нам скоро, скажи правду? Окромя слова, мне уж ничего не надо теперь.

- Росток-то по весне был веселый, да ветром скрутило, перевило... Калека ты перехожая, жалко тебя, а может, не тебя, думы свои давние, глупые, девичьи. Поумнели, присмирели.

Из упрямства Карп не покидал таоора, чтоб не оставить Василису и Кузьму вдвоем. Взяла она зипун, кинула на плечо мужа:

- Сходим в лесок, натек оерезовый найдем.

И пошли они рядом, не оглядываясь.

На другой день Карпей напился с утра, привезла ему водку дочь Фиена. Кузьма пахал один. Заворачивая быков в борозду у табора, он слышал: начинает сват одну и ту же песню - "Со востока ветерок дует" - и никак не двинется дальше первых слов. Ночью Карпей пропал. Кузьма поутру так и не дозвался его. Спустился в овражек к колодцу, спустил бадью, а вытащить не мог. Нагнувшись, не сразу разглядел в сумеречной глубине чьи-то руки, удерживающие бадью.

- Кто там? Вылазь, а то камешек кину.

- Не надо камень, сват Кузьма, это я тут прохлаждаюсь.

Насилу вытащил Кузьма Карпея. Ьдва шевелил тот синими губами:

- Черт водил меня всю ночь. То на наклестку рыдвана посадит, то на быка верхом, а потом надоело ему вожжаться со мной, спустил в колодезь. Мокни, говорит, тут до второго пришествия.

Работал Кузьма так, что быки не терпели, а он хоть бы что. За обедом сидел недолго, места не успевал нагреть, а Карпей не управлялся даже пояс расслабить, изготовить мамону к принятию пищи.

- Бог напитал, никто не видал, семеро видели и то не обидели, приговаривал Кузьма.

И только довалится до зкпуна под рыдваном, положит голову на кулак уснет мгновенно. Карпей еще укладывается, ворочается, а он уж вскочил, потирает свою воловью, иссеченную морщинами шею в седом волосе, приветливо улыбается молодыми глазами, блестят в бороде ровные белые зубы. Схватит оборкой посконную рубаху на поджаром стане, подтянет ошнурок коричневых с белыми полосками порток и за дело - пока быки кормятся, сбегает в разнолесный колок.

Всегда для Карпея неожиданно тихо, как из-под земли,

выплывала из подсолнухов или из леска его огромная и легкая фигура. Приносил травы девясилом, зверобоем, душицей и шалфеем увесил рыдван, в мешочке хранил змеиные выползки. И опять до вечерней зари ходит босиком за плугом.

- Черны твои ноги, сват, отруби, брось собакам - есть не будут.

Кузьма только отмахивался рукой, зачарованно глядя на вечернюю зарю. Спокойно, незлобиво нащупывал душой свое место в жизни новой, мысленные слал советы тяжко оступившимся сыновьям Власу, Автоному, чтоб скорее кончилось их бездорожье, посветлел бы перед их очами завтрашний день. Во всем-то деявшемся в людской жизни чуял он предопределение неслышное, как тень орлкного крыла.

Если закрапает дождь, Карпей завалится спать под монотонный шумок по пологу на рыдване. Кузьма же чинил чего-нибудь или надевал зипун, бродил вокруг, выговаривая неразумно разыгравшемуся дождю.

- Подумал бы: ну что я иду? Людям хлеб гною, пырей на пашне развожу. Отстрадуется народушко, тогда бы и полил, как из ведра, развез хляби небесные.

Карпей временами подшучивал над Кузьмой, в полночь заскрипит рыдваном, а сват вскакивает:

- Никак опоздали! Люди поехали работать.

- Куда ты, полуношник? Быки еиде не набили требуху травой. И для кого ты жилы тянешь из себя? Другие небось не запотеют.

Кузьма не думал: для кого он старается. Привык всю жизнь крутиться в работе, потому что безделье - страшный грех.

В последнюю ночь в степи Карпей надел задние колеса на переднюю ось, а передние - на заднюю. Ехали домой, Кузьма заваливался назад, не догадываясь о проделке лукавого свата. Карпей похохатывал, щеря щербатый рот, пока встретившийся им Максим Отчев не ахнул, удивленный:

- Кузьма Данилыч, что с тобой стряслось? Так-то ты в новую жизнь двигаешься? Задом наперед?

Кузьма молча обошел вокруг рыдвана, переставил колеса, тоскливо хмурея лицом.

Карпей льстиво и в то же время ерничая доложил Отчеву, сколько они распахали ковыльной залежи.

- Уж мы постарались удоволить ведущих нас в обновленную жизнь!

- Молодцы старики. Старый конь борозды не портит, видно, правду говорят.

Отчев отозвал Кузьму в сторонку, упрекнул с горькой злостью:

- Брехали вы мне насчет Власа. Жив он, слыхал я.

Кузьма доплелся до переднего быка, уткнулся бородой в его теплый лоб. Потом кинул кнут Карпею и пошел в степь, не оглядываясь.

- Уж как я отговаривал Василину-дуру не выходить за Кузьму, охламона, не послушалась, - сказал Карпей. - Ну и в семейку попали наши дочери, моя Фиена и твоя Марька.

- Ты-то помалкивай. Фиена твоя мастерица заваривать чертову кашу.

Отчев одним неуловимо легким движением вскочил на коня, зарысил в противоположную от Кузьмы сторону.

Карпей, покачиваясь на рыдване, долго кричал вдогонку удалявшемуся Кузьме. Но тот так и не оглянулся, растаял в голубом мареве.

8

А в Хлебовке резали вторую, более углубленную борозду по раскулачиванию.

Сумерками принесла Фиена в дом Чубаровых давно ожидаемую весть: завтра будут выселять.

- Сам Захар Осипович намекнул. Заранее, чтобы мы с тобой, Марька, успели выпутаться. Совместная в родстве жизнь переплелась корнями, как пырей.

Собрались на семейный совет Кузьма, Василиса, Марька и Фиена. Трехлетнего сына Марька уложила з горннцэ спать.

- Поезжайте вы хоть к черту на рога, я вам не попутчица, - отвалилась от семьи Фиена.

- Тебе ехать с нами незачем, - согласился Кузьма. - И ты, Марья, оставайся тут с ребенком. Может, и Васеяу не потревожат. Я один искуплю грехи.

- Нет, батюшка, я поеду с тобой, - сказала Марька определенно и начала собираться в дорогу.

Как обваренная, сидела на лавке Василиса, опустив руки, и напоминание старика о том, что пора собираться в дальний путь, не выводило ее из этого состояния оглушенности и потерянности.

- Не тронусь с места. Пусть лишают жизни у печки, - уже в полночь, как бы опамятовавшись, сказала Василиса. Твердой поступью хозяйки подошла к печи, затопила, гремя ухватом, поставила чугуны, потом, вымыв тщательно свои полные красивые руки, стала раскатывать тесто.

На заре Марька подоила корову, сцедила молоко, налила плошку коту. К этому времени Фиена уже перетаскала все свое добро в горницу, а из горницы вынесла на кухню Марькин сундук, даже сонного Гриньку положила в закуток за печь, где когда-то доживала свой век слепая бабушка Домнушка.

- Летось не отделили меня, теперь сама отделюсь.

Горница моя, чертомелила я на вас. Кто был никем, тот станет всем!

- Живи, но ведь отберут, - сказал Кузьма. - Вон у Ермолая забрали.

- Руки коротки отобрать у меня! Я не какая-нибудь каторжанка, как некоторые! Я активистка!

Оглядев огромные узлы с одеждой, мукой, солониной, Фиена попинала их остроносым ботинком, пощупала пальцами.

- Глупые, да разве дозволят вам везти такую прорву!

Вы бы еще корову, овец да птицу погнали с собой. Отдайте лучше мне на сохранность, глядишь, вернетесь. А на вернетесь, поминать буду, проникновенно говорила Фяена, развязывая узлы и перетаскивая в горницу Авгозомовы костюмы и бекешу, тулуп свекра и Марькины наряды.

- Зачем вам летом теплая одежа? А до холодов не дадут дожить... В песках азиатских помрете, - Фпена заплакала, - жалко мне вас, бестолковых...

К восходу солнца Фиена произвела дележ и ЕО дворе, зг.няв один пз двух амбаров под свое хозяйство. Потом умылась духовитым мылом, подвела брови, щеки, замкнула горницу и приклеила тестом записку к двери, которую писала, слюнявя химический карандаш: "Дом и добро одинокой вдовы-активистки Фпены Карповны Сугуровой.

Только троньте, я до Калинина дойду!"

Низко поклонилась свекрови и свекру, поворковала над спящим Гринькой, бодро тряхнула руку Марькп, четко стуча каблуками, ушла. Но тут же вернулась, поправляя плечики коричневого платья.

- Бороться буду за вас. Похлопочу.

Выволокла за руку Марьку во двор, впилась жгучими глазами в ее лицо с темным, разбавленным бледностью загаром.

- Упади в нош к своему отцу. Отстоит.

- Отец был один до венца. Теперь бог дал мне вторых отца с матерью, и я их не оставлю, - ответила Марька со спокойной твердостью.

- Ну и дура большеглазая. Мало ела тебя поедом свекровь-матушка? Хочешь, чтоб и в чужих краях догрызла?

На каменный порог вышел, жмурясь, Гринька, ручонкой торопливо отыскивая ширинку.

После завтрака женщины убрали со стола, Кузьма подмел двор и у ворот на улице, сел на скамейку рядом с котомкой, в которой лежала с парой белья Библия, поставил меж ног вырезанный на дорогу посох и оперся на него бородой.

"Вот и замыкается мой круг предназначенный. Дай-то мне, господь, покой и твердость на последний шаг, - прошептал он прпмпренно. И потом уж стал прикидывать, как будет доживать в незнаемом краю с людьми сторонними. - Ну и что ж, где люди - там жизнь".

На проулке показались Егор и Колосков. Поравнязшись с Кузьмой, умолкли, поклонились.

- Куда собрался, Кузьма Данплыч? - спросил Колосков.

- В эту самую... в чужие края.

- Там тебя не ждут, Кузьма Данилыч.

- А Марья, аль захворала? Все в поле уехали, а ее не видать, - сказал Егор,

- Здорова, по дому замоталась...

- Детские ясли нужно, - сказал Колосков. И они пошли дальше.

Кузьма вернулся в дом, без усилия сорвал замок с горницы.

- Теперь-то я уж начисто отделю Фиенку. Ставьте все на место. Тут жили, тут и помрем, когда надо.

Первый замах косы по кулакам сверкнул над головами братьев Таратошкпных, но не задел и волоска. Они даже сами вместе с членами комиссии, Тимкой и Автономом, ходили по дворам раскулачиваемых, посмеивались.

Второй замах косы пустили чуток пониже, и срезала она под корень братьев Таратошкиных. Жили они рядом и, когда явилась комиссия, облокотились о стенку, один с одной стороны, другой - с другой, нос к носу. Так и простояли молча, с застывшими улыбками на сильных смелых лицах, пока жены собирали в дорогу детей. В слезах подбегали к мужьям, хватая за руки, прося слазить Б погреб за салом. Оба погладили своих жен по голове и ответили одинаково:

- Пусть пьют нашу кровь, салом закусывают.

- Эта карусель несерьезна и ненадолго. В России все делается шутейно, понарошке, абы отличку от других иметь. А хорошо ли, плохо ли - это русского человека на затрудняет, - сказал Фома, а Ерема тут же утвердил брата в его глубокомыслии.

- Ровная дорога в дремоту клонит, надоть временами взбадриваться. Поиграем в черную палочку, а там - за старое возьмемся.

Пока собирались, стемнело. Братья заявили, что они в ночь никуда не поедут. Законы они знают. И пусть директор совхоза не лезет на стенку, не стращает.

Братья закурили и запели:

У Еремы лодка с дыркой,

У Фомы челнок без дна.

Вот дербепь, дербень Калуга,
Дербень Ладога моя.
Вот Фома пошел на дно,
А Ерема там давно...

Ночью усадьбы их караулили. И потом долго ломали голову, как могли исчезнуть братья незаметно. Объясняли умением отводить глаза. Недаром ни одна собака на них не брехала, куда бы они пи заходили. Жен и детей повезли в Сорочинск, но когда в пути остановились покормить лошадей у реки, они разбежались по тальнику, как перепелки во ржи. Напрасно сопровождавшие их Тимка и Острецов звали, заманивали, даже отъехали, оставив засаду, мол, не выйдут ли хотя бы за вещичками, приманкой положенными на песчаной пролысине недалеко от воды.

Уже забывать стали о Таратошкиных, когда однажды встали люди и глазам своим не поверили: только печки да фундамент остались, деревянных изб нет. Будто коршун в когтях унес. Лпшь губчатый след машин отпечатался на недолгую, до первого дождя, память. Без справки председателя сельсовета они не могли вывезти дома, а справку будто бы написал секретарь сельсовета, сам не соображая зачем. После обеда дремал один в сельсовете, и вдруг чей-то властный голос на ухо повелел взять ручку и писать и даже положить под камень у погребицы Таратошкиных. Сказывали, будто поселились они на окраине заводского поселка, поставили два дома впритык, получилось вроде барака, а к ним другие примкнули саманные хатенки. Попробуй тут отыщи, да фамилия иная, вроде Петилетковых. А завод переплавляет и не таких обормотов. У деревни желудок тонкий, прозрачный, сунь в него одного такого ухаря, и не переварит, будет, охальник, посмеиваться, как Иона во чреве кита. Заводские кислоты разъедают не такие железины. Но не братьев Таратошкиных. Наловчились орудовать инструментами, и захотелось им проверить крепость пломб на товарных вагонах...

9

Каждому возрасту положены жизнью свои заботы и забавы, только не отставай и не забегай вперед, думал Кузьма. При отце жил парнем с дурникой в голове, тискал девок на вечерках, держал мазницу, когда пачкали дегтем ворота гулене, потом женился. А она любила, а может, назло придумала, что любила, Карпа Сутурова. Ходил Карпей парнем, шайтаном по улице, шарбар на шее, гармонь на плече, мизюль в кармане. Похвалялась когдато Василиса: сватались за меня богатые - часы, весы да мясорубка.

Скупая радостями была пора отцовская у Кузьмы, как солончаковая проплешина в скудной травке, и то лишь то весне.

Поженил сыновей, собрался помирать. Гладенько обстругал сосновые доски, сколотил себе просторный гроб. В пару смертного льняного белья завернул богородской травки печальной духменности.

Василиса запоздало и потому покаянно и горько подобрела к нему перед дальней невозвратной, об одном конце, дорогой, поила по утрам парным, прямо из-под коровы, молоком, которое старик пил со смаком младенца. И, не зная, как отблагодарить Василису, растерянно давил на усах белые капли, виноватился перед старухой:

- Весной непременно. Сейчас земля зачугунела от мороза. Рыть могилу тяжело.

Однако зеленая весна сменилась желтозрелым летом, потом заснежила зима, пришла новая клеиколистная, пышнее и радостнее минувших весен, а Кузьма не расшатывался.

Он вынес свой гроб под сарай, застелил сеном и с первой оттепели до снегопада спал в нем, укрываясь старым, из романовских овец, тулупом. Подумывал, нельзя ли просмолить свою храмину, чтобы с него на озере ставить сети на карася, но увиденный сон будто палкой ударил его по рукам: стоял на крыше амбара незнаемый старец в белом окладе бороды и грозил перстом, пряча в другой руке розги за спиной, из рукава разлопушилось что-то вроде кочана капусты первой завязи. Три дня Кузьма млел в поисках разгадки сна, на четвертый велел бабам приспособить гроб под корыто для рубки овощей.

- Успеется с отходом. Для жизни человек родился.

За смертью не торопись. Сама она не ошибется воротами.

Сплел себе гроб из краснотала.

- Нечего доски губить. Полежу и в этом. Только свежей талпнкой крышку заплетите, глядишь, взрастет.

"Вы меня не трогте, не по вашему назначению моя доля. Я сродственник господу богу, кажется, и вы спроть меня невидимы, потому тень огромная исходит от меня", - думал Кузьма.

И хоть не хворал он, стал как-то тихо прислушиваться к чему-то в самом себе. Ни на шаг не отставал от Марьки, работал с ней в поле. Даже сыновей не любил так, как ее.

Как-то на стогометке весь день принимал снизу подаваемые молодыми мужиками навильники, сметал омет - крутой, высокий, аккуратный. Потом спустился по перекинутой веревке, обошел омет кругом, позвал Марьку подальше от стана. Часто и прерывисто дыша, вытирая заливавший глаза пот, сказал:

- Впдал сейчас свой предел, Марья. Вот душа от тела отставать начала будто.

- Прилег бы, батюшка, умаялся ты, сердешный.

- А может, стоя лучше? - постоял, думая. - Нет, стоя, предел отодвигается, а это значит - хптрю я. Об уходе старых не жалей, как по весне молодая трава не горюет о летошней мертвой старюке. А потом сама отзеленеешь, отцветешь, задумаешься печально о старом, потому что твой наступает уход... А ты радуйся больше. Человек родился ходить, ну вот он и идет, покуда свинцовая тяжесть но пришьет его к земле.

Казалось Марьке, что Кузьма даже сам не подозревает, какую тайну людской жизни носит в себе, глядя на MHD глазами, безразличными от мудрости. "Весы жизни на тонком конце иглы, - говорил он будто в забытьи, - извечно приглядывается на рассвете солнце за горой, покуда спят люди. Поглядит этак вприщурку, вздохнет легкоструйным ветерком - полезет на небо дело свое делать.

Жалко солнышку жпвность земную, не нарадуется на песни да заботы птиц, зверья, человека. Каждому своп простор дадеп. Человек не должен наступать на тропу зверя, а зверь - на тропу человека. А если перепутают, то зветэъ сядет на место человека, рыкнет на него, как на раба своего. И весы заколышутся, пойдет движение ветровое.

слепое".

- Нарви мне травы под ухо, лечь, впдно, надо. Марья, тебе признаюсь: видал я с омета Власа - во ржп стоял.

Встретишь его, передай ему волю мою: пусть умрет плп властям объявится. На грехах жизнь не держится - трясет лихоманка.

Лег у колосившейся ржи, потянул к себе куст повптели, и это впдела Марька, спускаясь в лощинку за мягкой травой. А когда вернулась, Кузьма не дышал, застыла полусогнутая рука, не дотянув до головы горсть повптели с белыми снежинками цветов.

Марька качнулась, будто отслонили от плеча надежную опору. Опустилась на колени, с грустной озадаченностью вглядываясь в покойное сухое лицо он унес с собой тайну своей жпзнп и еще большую загадку такой простой и спокойной смерти сразу же после работы - рубаха не просохла, и не выбрал былинки пырея из спутавшихся потных седых волос. Но если бы он жил, она все равно не спросила бы его. Накрыла платком его заземленевшее лицо, пошла на стан сказать людям.

А там Егор Чуба ров прпбаутничал,

- Егор Данилыч, что ты тут болтаешь, твоя Настя в подсолнухах мается, сказал ему на ухо Семка Алтухов.

Егор зарысил в лощину мимо кустов чилиги. Принес в тряпице ребенка.

- А ну, Данька, понянчь новорожденного, а я за другим

побегу.

- Мало тебе одного-то?

- Знай нянчись, а ты, Марька, добавь пшена, там еще, кажись, двое. Потороплюсь, как бы воронье не растаскало.

Еще двоих принес Егор, а следом за ним шла жена его Настя, бледная, потная, с блаженностью и усталостью в глазах.

Позавидовала ее радости Марька, ласково сказала:

- Лежала бы, тетя Настя. Тяжело ведь.

- Тяжело было эту тройню таскать. Теперь легко, как бы ветром не унесло. Давай-ка их мне, они приземлят. Эх вы, крохи, как троих кормить буду? - говорила Настя, ложась к детям.

Марька отозвала Егора за бричку:

- Батюшка Кузьма Данилыч скончался... Около ржи покоится.

- Эх, братка Кузя, что же ты, а? не хворал... не дожил до рождения моей тройни, все бы удивился, пошутил...

На бричке, на мягком сене отвез Егор в Хлебовку тело своего брата, потом и свою Настю с новорожденными. Хоронила Кузьму Василиса в тихой скорби, а после поминок, взяв внука Гриньку, долго сидела с ним у могилки, глядела с той возвышенности на Хлебовку, молодость вспоминала, и казалось ей, что любила Кузьму не зря: умным и красивым представлялся он ей. И себя она чувствовала увереннее и спокойнее перед близким концом.

10

Марька работала в этот день дольше всех, осталась в степа с конями.

И вдруг озорство напало на нее, когда повела коней на водопой, чувствуя под собой сильные мышцы карего коня Антихриста. Он поигрывал, прося поводья. Дождавшись, когда все лошади напьются вдосталь, вылезут, вытаскивая из грязи ноги, она вдруг засвистела, взвивая над головой арапник. Антихрист, прижимая уши, вытягивая красивую голову, поскабливал зубом то одну лошадь за ляжку, то другую. Раскачался, размялся табун, даже приморенные, вспомнив ветер, некогда шумевший в молодых ушах, побежали, подсевая кривыми изработавшимися ногами.

В котловину на молодой пырей загнала Марька их той минутой, когда солнце, осветив ее на коне со спины, отчеканив на зеленом овале котловины ее тень, скрылось за березовым колком. И все-то малость темнилась эта тень, а Марьке запомнилось что-то смелое и вольное.

Выскакала на гору, уверенно поворачивая голову во все стороны, вдыхая тепло набегавший с поросшего кочетком пригорка ветерок. На таборе она надела штаны и пиджак конюха, сама опешив от удивления, что штаны довольно широкого

мужика едва сходились на ней.

"С горя плачем-кричим, а сами поперек толще", - подумала, уминая пышную упругость бедер.

Зеленый сумрак замешивал грядущую ночь, и огонек.

горел в окне Тимки Цевнева, когда Марька проехала по совхозной усадьбе, повернула коня за кусты сирени и, поравнявшись с окном, приподнялась на стременах.

Тимка стоял у стены, а за столом, приподняв загорелые плечи, сидела в коричневом сарафанчике нездешняя девчонка - лицо со вздернутым носиком и выкруглпвшимся подбородком вроде бы подростковое, а груди напружиненно натянули сарафан. И почему-то вспомнился Марьке всего-то раз в жизни виденный поезд - мчался по возвышенности куда-то в Азию, манил и угрожающе печалил окнами с чужими бледнолицыми людьми.

"Тнмка, знать, далеко ты уедешь... А как же я-то?

Нянчилась с тобой... аль забыл? - подумала Марька с упреком. Сама удивилась своему беспокойству и заторопилась объяснить его давней заботой о Тимке. - Я-то тебе няня, а эта беленькая не обидит?" И жалко ей стало то время, когда он всюду бегал за ней. Уезжала раз к тетке за речку, а он плакал и говорил, что умрет. Не бреши, кричала она на него. На днях услыхала, уезжает в город учиться... Горько стало Марьке. Рванула поводья...

Тревожно-мглистая темнилась ночь в степи на таборе, месяц, как глаз осерчавшего коня, кровенел над шумящими травами. Марька сидела в затишке под бричкой, пела вполголоса:

Сады мои, садочки, поздно расцвели вы,
Да и рано споваяли.
Любил меня милый, любил, да спокинул.
Уехал на часик.
А тот-то часок днем мне кажется,
Ой, да не днем, а неделюшкой,
Не неделюшкой, а годиком..

Она не удивилась появившемуся на свет луны человеку - людям никогда не удивлялась. Был он крепкого сложения, в сапогах, ватнике и кепке, сухощавое сильное лицо зарастало щетиной. Поклонившись Марьке, он сказал, что спасается от преследования.

- Вот тебе, дяденька, хлеба кусок, сала и иди спать вон в те кусты. На заре я тебя разбужу.

Он зашаркал во тьме ногами, но тут же вернулся.

- Почему ты пожалела меня? - спросил он.

- Кто знает, может, у тебя нет матери с отцом. Беда, знать, случилась. Человека жалеть надо.

- Ты меня знаешь? - спросил он строговато.

- Не знаю, добрый человек. Ты ешь сало-то, хоть сырпнкоп отдает, а есть можно. А то давай поджарю, а?

- Огня не надо, Марья Максимовна. Я ведь тебя запомнил вот такой, - он поднял руку в свой пояс. - Песня ты распевала, хоть и картавила смешно так, а складно получалось.

Он поел не спеша, вытер широкий и длинный нож пучком сена, сомкнул и сунул за голенище сапога. Закурил.

- Сядь поближе, тихонько расскажу тебе, - доверчиво попросил он.

Марька села у его ног, во все глаза глядя в красивое мужественное лицо его с рассеченной скулой.

- Скажи мне, Маша, откровенно, как сестра брату:

как она, новая жизнь?

- Легче прежней. Вот только люди все еще по-старому - кто в лес, кто по дрова. По-новому живем недолго, пока нет навычкн, а старая жизнь длинная. Отцов напшх учили старики, как жить по-старому, по-дедовски. А новой жизни кто научит? Самим думать приходится. Что там нп говори, а артелью веселее, и не болит душа за свою десятину. На народе и смерть красна. На народе вольготнее.

И хоть проку пока немного, лодыря часто гоняем, зато безбоязненно. Да ну его, богатство-то! Тяжело от жадности человеку. Не насытишь око зрением, сердце любовью, а ум познанием - давно сказано. Достаток нажить легче"

труднее любовь между людьми. У моей крестной матери Оли есть сын Тима. Он хоть на годок моложе меня, а я нянчилась с ним, и зовет он меня до сих пор няней Машей.

Говорю ему, пора прощать, что ли? Конец-то должен быть лютости? А он: всех их вышлем в пески да в леса. Ну, что же получится, Тима, говорю я, война бесконечная. А оя:

собачиться станут, намордники наденем.

Человек встал, обошел вокруг стана, снова сел на копну.

- Марья Максимовна, ты что-нибудь слыхала от своих о Власе?

- Как же не слыхать, перед нашей с Автономом свадьбой поминкп по нем справляли. И я потом молилась богу за него. Смирный, говорят, был человек. Батюшка Кузьма Данилыч, царствие ему небесное, хороший был человек, так вот он раз как-то Автоному сказал: не тебе бы Марьку в жены, а Власу... Да это он погорячился, мы ладили с мужем, хоть и необузданный он. А теперь бы и такому рала, да болен он. Может, он и побил Захара Осиповича... А не случись этого, жили бы не хуже других. Ума ему не занимать, гордостью бы мог и с другими поделиться.

- Да. Автоном подпортил и мне.

- Ты знаешь его?

- Старший я брат его. Влас.

- Царица небесная! Не верю я тебе, дяденька! Правда, батюшка Кузьма Данплыч перед самой смертью сказал мне, будто с омета видал Власа Кузьмича во ржи. Но я думала, он уже без памяти говорил.

- Нет, Маша, правда это. - И Влас рассказал ей, как однажды под Новый год заявился домой, как потом начал работать кузнецом в совхозе под чужой фамилией.

Что привело его сюда, он едва ли сознавал. Явиться к властям он давно намеревался, но мешали разные обстоятельства, и особенно извещение о смерти и что жпл он под чужим именем, Надо было бы послушать отца в ту новогоднюю ночь, заявиться в сельсовет к Острецову. Но мать умоляла его не делать этого. Жалость к ней и боязнь двойной расплаты - со стороны Халилова и властей взяли верх. Но и этот грех и боязнь эту он перемолол, пережил в самом себе с подлинно отцовской привычкой. Наградила их род природа размашистой страстью, для которой нужна ой как крепкая узда.

Совсем было собрался идти к властям, боясь и ненавидя их, а тут кто-то покусился на Острецова. Да сразу бы указали пальцем на Власа, потому что и сам он не раз и не два думал, не убрать ли Захара.

- Фиене я разрешил жить, как хочет. Да она, надеюсь, не особенно стеснялась и до того.

- Не вини ее, Влас Кузьмич, самовольство одолело слабую духом. Где поблажка себе, сладости да вино, какая уж там твердость? Грех один! Как бы про тебя не проговорилась.

- Разгульные трусливы, Маша. Пришел я к тебе посоветоваться, как мне дальше быть?

"Передай Власу мою волю: пусть властям объявится или умрет", вспомнила Марька наказ свекра перед смертью, но сказать Власу не могла, потому что было в поведении Кузьмы насилие. Живой человек сам должен решить, что делать ему. Без страха слушала она страшный рассказ Власа о его жизни.

- Илью Цевнева я не стрелял. Но я конвоировал его.

Видел, как стреляли другие. Помешать было не в моих силах. Захар Острецов тоже не мог помешать - лежал тайво в траве без оружия. Я знал это, но не сказал своему командиру. Командир жестокий человек, обид своих он не забудет до самой смерти. Твой Тимка прав, а ты неправа - опасны такие, как Уганов, мой погубитель и спаситель мой. Ему ведь ничего не стоит истребить весь род Цевневых. И он бы сделал это, если бы не я...

Марька встала.

- Меня не бойся, - сказал Влас. - Давай подумаем вместе: что будет с Автономом, если я объявлюсь сейчас?

Возможно, из-за меня всю душу его извертело, жил он в страхе и лжи. Я виноват - не погиб вовремя. А мог бы.

Теперь слаб. Волчью свою жизнь люблю. Эх, если бы твои хорошие слова сбылись, давно бы на земле был рай.

Но у человека хватает силы только говорить хорошие слова, делать же добро кишка у него тонка. И едет он на таких вот простодырых наивных и грехобоязных, как ты, Марья Максимовна. Я ведь все знаю, в каком аду жила ты.

- Знать, заслужила, Влас Кузьмич.

Влас засмеялся.

- Вот такой-то телячьей добротой и пользуется вся нечисть земная. А ведь ты сильная душой, только задави в себе Христову слабость. Ну, прощай, Марья. Многое твое запало мне в душу, спасибо. Зверь, собака и те понимают добро, а мы все же люди. Не забуду тебя. А над моими словами подумай. Влас легко сжал руками ее голову, поцеловал ее лоб.

В смятении она зажмурилась, а когда пришла в себя, его уже не было. Но через минуту он снова подошел к ней с другой стороны, и тень его густилась за ним.

- Знаешь что... если я надумаю сдаться, я приду к тебе, а ты меня сдашь властям. Не открещивайся... Я русский человек, на чужбине нету мне жизни. Тут, на своей земле, я оступился, душу вывихнул, тут и лечиться мне, вправлять суставы на место. Бегал я по кругу, как конь на длинном приколе, а поводок все укорачивался, а круг все сужался. Смерти я не боюсь, ее цикто не минет. Но каждый ручей добежать до своей реки должен, не пропасть в песках... Теперь знаю, на какой кочке спотыкнулся, сбился с ноги... Не один.

Влас ушел. Глубокой ночью сквозь сон Марька слышала, как до утра шумела трава.

Бывало, Влас часто следил за Тимкой украдчиво и зорко и, встречаясь с его вопрошающим взглядом, отводил глаза.

"Что же вы своих-то истребляете?" - кричал Илья Цевнев, когда связывали его в риге. Губы обметаны болячками, лоб был горячий, видно, Илья уже захворал тифом.

"Как же хворого сгубили? - допрашивал теперь Влас себя. - Тогда все били всех... Сын-то твой жиз, рослый, кучерявый, в себе уверенный, значит, род твой, Илья, не извелся. А вот у меня нету никого, не дали мне корня пустить. Кто виноват? - разжигал и оправдывал себя Влас.- Господи, помоги мне прийти в согласие с моей совестью...

прищемила сердце, не отпускает, измаяла к концу... Лучше тюрьма, смерть, чем задыхаться в петле - давит чужое имя", - решил Влас так же, как когда-то его отец Кузьма предпочел каторгу жизпп в нераскаянном грехе.

Глубоко, с облегчающей болью вздохнул Влас.

Угапова-Халплова Влас встретил в степной балке, как условились. Серый в яблоках конь Халнлова терся шеей об осинку. Халплов сидел на камне.

- Митрий Иннокентьич, почему не дозволяете открыться во всем?

- Подожди самую малость. Мне виднее... Как бы не пришлось нам бежать.

- Я отбегался. Повыматывал ты из меня жилы, Митрий. Водишь меня по бесконечным страданиям. А для чего? Я готов умереть хоть сейчас, но за дело. Не за то же, чтоб в три горла жрали Тютюевы, Ермолаи. Никакая сила ве вернет их оттуда. И хорошо. Настанет покой.

- Да я и не зову тебя к войне. Давай расстанемся подобру-поздорову.

- Митрий, правда меня не пугает, смерти я не боюсь.

Скажи мне, кто убил Илью Цевнева?

- Чаусов, командир Волчьей сотни. Ну и что?

- Хочу развязать узлы.

- Тогда расскажи вдове и детям Чаусова, как ты зарубил его, их отца.

- Мптрий, я выполнял решение твое, трибунала.

А ты? Признайся, я не донесу.

"Этот изработался. Идея не терпит раздвоенности душевной. - Уганов глянул в глаза Власа. - Все, кончился Влас, уговаривать бесполезно. Жизнь его потекла не туда.

Жизнь его не только не нужна делу, но даже вредна. Отжил Влас..."

- Я убил Цевнева, - сказал Халилов. И он затянул ту предсмертную песню, которую пели тюрки в подвале купеческого дома.

Влас пошел, разбивая коленями волны ковыля.

- Власушка!

Влас оглянулся. Тишина. Только хруст посохшей травы под ногой. Поднялся с куста кобчик, зачастил крыльями над сурчиной.

Спиной Влас почувствовал опасность, резко обернулся.

В нескольких шагах из-за куста дикой вишни целился в него из нагана Халплов.

Озноб собрал мускулистое тело Власа в тугой комок, и, как

развернувшаяся в рывке кошка, Влас прыгнул на Халилова.

Огонь ударил з лицо, опрокинул Власа...

Синяя протока неба наливалась краснотой. Уганов плакал над судорожно вздрагивающим телом Власа.

Потом столкнул тело в выбитую вешними ручьями яму в овражке с тонким слоем чернозема по рваным окраинам, закидал землей.

Ночью зашумел дождь, мокрым гулом наполнился суходол. Песчаным наплывом залило могилу.

11

Когда Автоном спустя время встал на ноги, ему сказали о смерти Власа. И он горько удивился, что мать, когдато поминавшая за упокой живого Власа, теперь не хотела верить в его смерть, продолжая молиться за здравие своего первенца.

Автоном вышел в степь.

Пока хворал, отцеплялся душой от каких-то крючков.

В одну из тяжких ночей он почувствовал, что нельзя пошевелиться, чтобы не задеть что-то. Потянешь травинку - она корнями связана с другими.

Нельзя идти по жизни, размахивая руками. И постепенно отцеплялся, путы ослаблялись. Чем примиренное думал о людях, тем больше ослаблялись веревки незримые.

Как-то по-новому входил в жизнь людей. Повзрослел] что ли. он, поостыл лп.

"С Захаром вроде квиты, - подумал Автоном, - забыть все зло, работать молча, жнть в семье и радоваться что живешь... Ничего-то лучше жизни нет. И никакой должности мне не надо".

Оя тихо брел по выбитому утолоченному выгону, и тень его двигалась наискосок. Теперь ему казалось, что больше всех он сам себя запутывал по какой-то горячности и нетерпимости своей.

Потянуло Автонома глухое урчание машин за горой.

Откашливаясь, подошел к совхозным землям.

Косилки стрекотали на клеверном поле, от пахучего сока срезанной вянувшей травы кружило Автоному голову.

Исподлобья смотрел он на Колоскова - рукава засучены выше локтей, на груди рубаха распахнута, бритая башка пропечена зноем. Не по годам азартпо, вызывающе весело хлопал Автонома по плечу, смеялся. Неподалеку пахали на тракторах, вычернивали широкое поле.

- Никто не подымал на такую глубину. - сказал Кояосков, усмешливо глядя на Автонома: стоял тот на коленях, мял землю, просеивая меж пальцев. Медленно встал, глянул в лицо Колоскова запавшими после хвори глазами, будто вешней полыньей обдал.

- Вам что не ворочать тракторами... Да, вовремя подымаете пар, выгорят сорняки... Онисим Петрович, большую прибыль дает совхоз? - спросил впритайку.

Колосков вспыхнул, но сдержал себя:

- Нет пока прибыли.

- Без жадности работают ваши. Вон они косят и на солнце поглядывают: скорее бы обед! Потом коней в табун, забыли о них. А настоящий хозяин не ляжет дрыхнуть в холодке, пока не накормит коней али быков... От нас, колхозников, тоже невелика прибыль, Онисим Петрович... Знаете, что мне хочется? Сказать?

- Говори, не опасайся.

- Теперь я ничего не боюсь, окромя глупости, - она опаснее всего... Дайте мне широту. Хочу быть хозяином жизни... не только своей. Пусть не гоношатся, не висят надо мной. Кто хлебом кормит страну, у того и права большие.

- Переходи ко мне в совхоз, а?

- Охотно пошел бы, да судьба моя другая - жить вместе со своими хлебовцами.

В трещинах с разрывами кореньев томилась каленая за прогоном земля, знойный ветер гнал с ковыльных залежей горький прах отшумевшего пожара, и только чернобылинка держалась на пропеченном суглинке. По ней-то и гнал вверх вьюнок свою проволочную спираль с белыми раструбами цветов. Повыше на ковыльном склоне старчески индевела над осиротевшим после змеиного наползa гкавороныш гнездом духменная богородская травка на чьей-то потаенной могилке, затянутой сухими красно-бурыми натеками.